

584 (XII)

КОТТА
ЕРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОВЕТСКОЕ
1962

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНТА







ХОТТА ЁСИЭ

И (яп)
X 85

**ИЗ ГЛУБИНЫ
БУШУЮЩЕГО
МОРЯ**

Р О М А Н

Перевод с японского
И. ЛЬВОВОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1968

308358

И (Ип)
X 85

Издание осуществляется под общей редакцией
Л. Климовича, С. Мишинского, С. Петрова,
Б. Рейзова, Н. Томашевского, Е. Чельшова.

Предисловие
А. КУЗЬМИНСКОГО

Комментарии
В. САНОВИЧА

Художник
Р. ВОЛЬСКИЙ

7-3-4
227-68

ПРЕДИСЛОВИЕ

События, положенные в основу романа Хотта Ёсиэ «Из глубины бушующего моря», относятся к концу 30-х годов XVII века. Это был начальный период позднего феодализма в Японии, которому предшествовали годы объединительных войн.

Чтобы противостоять волне крестьянских восстаний, угрожавших самым основам феодального строя, необходимы были консолидация сил феодальных князей, прекращение разорительных междоусобных войн и распрей между ними. Это явилось главной и решающей причиной объединительных войн во второй половине XVI века. Ликвидация феодальной раздробленности отвечала интересам и торговой буржуазии, стремившейся к устранению препятствий в развитии товарно-денежных отношений.

Объединение Японии и создание централизованного феодального государства было начато Ода Нобунага (1534—1582), продолжено после его убийства Тоётоми Хидэёси (1536—1598) и завершено Токугава Иэясу (1542—1616).

Ода Нобунага был выходцем из мелких феодалов; в итоге предпринятых им походов большая часть страны была объединена.

Тоётоми Хидэёси, крестьянин по происхождению, проявил большие военные способности, стал одним из ближайших сподвижников Ода Нобунага, после его гибели захватил власть и продолжил создание централизованного феодального государства.

После смерти Тоётоми Хидэёси в сентябре 1598 года власть номинально перешла к его малолетнему сыну Хидэёри, но фактически сосредоточилась в руках регентского совета, из пяти членов которого наиболее influential и могущественным был Токугава Иэясу. Раскол и борьба среди регентов, а следовательно, и между князьями, поддерживавшими их, закончились битвой при Сэкига-

явля (1600 г.), Токугава Иэясу разгромил своих противников; в 1603 году он объявил себя сёгуном¹.

Противники Токугава Иэясу не примирились с этим. Они делали ставку на Хидэри, рассчитывая, что, когда он подрастет и выступит с претензиями на власть, им удастся свергнуть Токугава. Однако войска Токугава в 1614 году взяли замок Осака, где укрывались Тоётоми Хидэри и его приверженцы, а в 1615 году нанесли окончательное поражение своим противникам. В 1616 году Токугава Иэясу умер. (Еще в 1603 году он отрекся от власти в пользу своего сына Иэтада, но фактически продолжал управлять страной еще одиннадцать лет.) После Иэтада в 1632 году сёгуном стал впуск Иэясу, сын Иэтада — Иэмидзу.

При первых Токугава объединение страны, начатое Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, завершилось. В Японии было создано централизованное государство, вся политика которого была направлена на укрепление диктатуры класса феодалов и беспощадное подавление выступлений крестьянских, народных масс. Во главе государственного аппарата находилось сёгунское правительство — бакуфу. Дом Токугава владел примерно четвертой частью всей земельной площади Японии, остальная территория была поделена между феодалами, князьями — даймё, являвшимися полными хозяевами в своих владениях. Придя к власти, Токугава Иэясу назначил новых даймё в более чем половину княжеств; эти даймё, обязанные возвышенному новому сёгуну, поддерживали его. Все население делилось на четыре сословия — самураев², крестьян, ремесленников и купцов.

Стремясь к всемерной консервации существующих порядков, правители Японии проводили курс на изоляцию страны от внешнего мира и осуществляли строжайшую и всестороннюю регламен-

¹ Сёгун — дословно: полководец, фактический правитель феодальной Японии, в руках которого была сосредоточена верховная власть в стране; власть императора носила номинальный характер. Система сёгуната существовала в Японии с 1192 года; сёгунат Токугава продолжался с 1603 года и до незавершенной буржуазной революции 1868 года.

² Самураи — военно-феодальное сословие мелких дворян, составлявших подавляющую часть класса феодалов. Привилегированную верхушку самурайства образовывали *хатамото* — вассалы сёгуна. Основная же их масса являлась вассалами князей (даймё). Часть из них владели землей, полученной от своего сюзерена на ленных началах; но часто они земли не имели и получали от князя жалованье рисом. При Токугава значительно возросло число *роиню* — самураев без сюзерена, оставивших своего князя по различным причинам, но главным образом в силу ухудшения их экономического положения (см. комм. к стр. 26).

тацию в отношении всех классов и сословий. Регламентация эта охватывала все без исключения стороны жизни. Крестьянам, например, запрещалось употреблять в пищу рис, лишь по праздникам они могли добавлять его к отрубям или другой пище; они имели право носить одежду только из хлопчатобумажной ткани, причем расцветка ее и покрой точно определялись законом; театральные представления, борьбу и другие зрелища крестьянин не имел права смотреть; строжайше запрещалось ходить в гости и принимать гостей; в случае неурожая или бедствия запрещалось изготовление и продажа рисовой водки (саке), макарон (удон), пшеничной муки, лепешек и т. д. В деревнях была введена система пятндворок — система круговой поруки за внесение налогов, выполнение повинностей и соблюдение законов и регламентаций.

В целях предотвращения какой-либо крамолы в стране был создан разветвленный аппарат полицейского надзора и сыска. Специальные чиновники — маэко — в центре и на местах следили за всеми должностными лицами. Они должны были распознавать любую крамолу и беспощадно подавлять всякое недовольство. Далеко не случайно в исторической литературе токугавский режим нередко характеризуется как «полицейское государство».

Восстание в Симабара 1637—1638 годов, о котором пойдет речь в романе, было вызвано прежде всего тяжелым экономическим положением крестьян и бывших самураев, преследованиями и издевательствами со стороны местных властей. Немалую роль сыграли здесь и гонения против христиан, получившие большое распространение в Японии в начале XVII века. Восстание вспыхнуло не только на полуострове Симабара, но и на островах Амакуса.

Феодом Симабара владел князь Арима, который в 1614 году был переведен сёгунским правительством в Набэока (провинция Хюга). Владения Арима достались Хасэгава, тогдашнему правителю города Нагасаки, а после его смерти в 1617 году — князю Мацукура. Когда Арима был переведен в Хюга, за ним последовали лишь несколько его вассалов, остальные остались на месте. Когда же в 1617 году во владение Симабара вступил Мацукура, с ним приехали все его самураи. Бывшие же самураи Арима были лишены всех своих должностей, а с ними и доходов. Обеднев, они вынуждены были заняться в основной своей массе крестьянским трудом. Мало того — наряду с крестьянами и ремесленниками они должны были платить достаточно тяжелые налоги для содержания самураев, прибывших с новым даймё Мацукура, для содержания дома самого Мацукура, для регулярных подношений сёгуну и т. д.

В 1630 году Мацукура умер, и ему наследовал его сын, человек благодарный и жестокий, да к тому же отлгчавшийся низконоклпством. Большую часть времени молодой князь жил в столице — в Эдо (ныне Токио). (В силу действовавших при Токугава установлений, феодальные князья с многочисленной свитой должны были находиться при дворе сёгуна, причем соблюдение предписанного церемониала требовало очень больших средств; когда же они возвращались в свои феоды, то в столице в качестве заложников оставались члены их семей.)

В Эдо молодой Мацукура вел расточительную жизнь, и как результат — поборы с крестьян и горожан в Симабара усиливались. Еще в годы правления его отца налоговое обложение в Симабара было нелегким, но когда во владение вступил сын, положение крестьян стало невыносимым. К 1637 году налоги достигли небывалого уровня, практически крестьяне для их уплаты должны были отдавать все, что у них имелось. Они оказались перед лицом голодной смерти. Дело дошло до того, что даже военные дружины, находившиеся в бывшем владении Арима, вынуждены были (неслыханная в тогдашней Японии вещь!) заняться трудом, поскольку требовалось все больше и больше средств и для удовлетворения огромных расходов молодого князя, прожигавшего жизнь в Эдо, и для содержания войска (не случайно самуран часто дезертировали из войска Мацукура).

Аналогичным было и положение на островах Амакуса. После битвы при Сэкигахара, где понесли поражение войска князей — противников Токугава Иэясу, этот феодал был пожалован даймё Тэрадзава, который прежде был наместником в городе Нагасаки. В 1633 году он умер, и феодал перешел к его сыну. Еще в 1629 году управление феодалом отец Тэрадзава поручил Мивакэ, который остался на службе и у его сына. Мивакэ проявил себя как жестокий гонитель и своими действиями вызвал острое недовольство крестьян Амакуса. Здесь повторилась та же история: молодой Тэрадзава вел роскошную жизнь в Эдо, а Мивакэ усиливал налоги и поборы, чтобы удовлетворить непомерные требования молодого князя и другие нужды.

Огромные налоги и в целом тяжелое экономическое положение крестьян, а также бывших самураев-ронинпов, дополнялось гонениями на христиан.

Христианство в Японии стало распространяться в первой половине XVI века. В 1549 году на остров Кюсю прибыл иезуит Франсиск Ксавье¹, на Кагосима он направился на остров Хирадо (близ Кюсю), где уже находились португальские купцы, затем в Киото

¹ Подробнее о Ксавье см. комм. к стр. 298

(остров Хонсю) и, наконец, обосновался в провинции Буиго (Кюсю).

Некоторые феодальные князья сами принимали христианство и принудительно обращали в новую веру своих подданных, стремясь извлечь таким путем особые выгоды из развития торговли с европейскими купцами. Попросту говоря, в принятии христианства они видели путь к обогащению. Видимо, в тяге к христианству пахло слез выражения и подовольство определенной части феодальной знати, тяготившейся усилившимся деспотизмом и регламентациями со стороны центральной власти.

Принял христианство и князь Арима; есть сведения, что и князь Тэрадзава — владелец Амануса — также крестился.

В период объединительных войн Ода Нобунага, борясь с буддистскими монастырями, благосклонно относился к деятельности католических миссионеров и распространению христианства, тогда как буддистское духовенство требовало его полного и безоговорочного запрета.

При Тоётоми Хидэёси отношении к христианству изменилось и были изданы указы, сначала ограничивавшие, а затем и строго запрещающие его. Когда же был установлен сёгунат Токугана, официальной доктриной которого стало чжусианское конфуцианство¹, христианство было вновь запрещено (указ 1614 г.).

На христиан, которых в начале XVII века насчитывалось около трехсот тысяч человек, обрушились жестокие репрессии и казни. С 1614 по 1635 год преследованиям и наказаниям подверглось около двухсот восьмидесяти тысяч японцев-христиан. Многие из них принадлежали к низким социальным группам — *этá*², отверженным, нищим, прокаженным — к ним миссионеры, преследуя свои интересы, относились особенно внимательно. Основную же массу вновь обращенных составляли крестьяне, ремесленники, торговцы.

Запрет христианства, последовательно проводившийся токугавскими властями, подкреплялся относительно самураев весьма действенной угрозой: в случае неповиновения они лишались своих доходов.

В некоторых крупных феодах указы применялись со всей строгостью, и многие самураи отрекались от христианства, но на землях князей Уэсуги, Дата, Хосокава, Курода и Фукусима до 1618—1623 годов христиан-самураев фактически не тревожили. Позднее всех их лишили доходов, и они были вынуждены запя-

¹ Ч ж у С и (1131—1200) — крупнейший китайский философ, комментатор и толкователь древних конфуцианских текстов.

² Этá — каста парней в феодальной Японии, занимались «воровскими» — по тогдашним понятиям — профессиями (убой скота, выделка шкур и т. п.).

ся торговлей или земледелием плл стали ронинами — самураями без сюзерена; многие направились на Кюсю, в район Нагасаки, где в начале 20-х годов большинство населения было еще христианским.

Из Нагасаки опп, голпмые, лишенные средств, направлялись в район Симабара, уезжали на острова Амакуса, население которых было тогда почти сплошь христианским. Этот район, видимо, превратился в пристанище беглых самураев-христиан. Так, еще раньше на земель одного из сподвижников Хидэеси — Юкинага Кописи (Северная Хига), на которых в 1600 году проживало 100 тысяч христиан, когда этот феоде перешел в 1601 году под управление Кнёмаса Като¹ — другого сподвижника Хидэеси, — многие самуран ушли в Симабара и на Амакуса. К началу восстания в Симабара оставшиеся в живых ронины или их потомки занимались земледелием, но им не чуждо было знание военного дела, столь пригодившееся во время восстания.

За неуплату налогов, за неповедание христианства и другие провинности крестьяне и ремесленники подвергались самым изощренным пыткам и издевательствам. Если кто-либо был по в состоянии уплатить налог, то обычно его жену и детей захватывали как заложников и подвергали пыткам.

Одним из распространенных видов наказания была пытка огнем, получившая издевательское наименование мино-одори (пляски мино): по приказу даймё Мацукура, должников облачали в соломенные накидки, которые в этих краях изготовляли из длинных и широких листьев травы мино и которыми крестьяне и рыбаки обычно укрывались от дождя. Эти плащи прикручивались веревками к туловищу, руки жертвы привязывались к спине, накидка поджигалась. Люди получали ожоги, многие сгорали заживо.

Такова была обстановка, в которой развернулись события 1637—1638 годов, вызванные к жизни экономическими причинами и притеснениями властей и принявшие форму религиозного выступления.

В городе Симабара дочь одного должника была взята заложницей; ее раздели донага и выставили напоказ, причем по всему телу ей выжгли клейма раскаленным железом. Отец полагал, что дочь будет под арестом лишь до тех пор, пока он не погасит долг, но когда он узнал, что с ней сделали, то вместе со своими товарищами, такими же бедняками, напал на местного управителя и убил его; было убито еще 30 человек из числа самураев, главным образом чиновников и стражников.

Это событие, случившееся 17 декабря 1637 года (по японскому

¹ Подробнее о Юкинага Кописи и Кнёмаса Като см. комм. к стр. 39.

календарю — в первый день одиннадцатой луны), и послужило сигналом к общему восстанию в Симабара. Дома самураев и богатых торговцев были преданы огню, войска князя вместе с местной знатью оказались осажденными в замке Симабара.

Когда известие о восстании в Симабара достигло островов Амакуса, тамошние крестьяне и бывшие самураи, превратившиеся в крестьян, восстали, убили непавиетного управителя Тэрадзава — Мивакэ — и стали хозяевами положения, хотя княжеским замком Томпока им овладеть так и не удалось. Вызванный местными властями на помощь карательный отряд из Хирадо был наголову разбит повстанцами, большинство отряда погибло, остатки его попали в плен; почти все джонки, на которых прибыли каратели, были сожжены. Лишь одной-единственной джонке с двумя ранеными самураями удалось вернуться в Хирадо.

Подобная участь постигла карательный отряд в четыреста человек, посланный против восставших в Симабара, — он попал в засаду, и большая часть карателей была убита. Преследуя остатки отряда, восставшие предприняли штурм замка Симабара; им удалось захватить оружие, боеприпасы и продовольствие. В это время весь бывший феодал Арима находился в руках повстанцев. Число их день ото дня росло и достигло восемнадцати тысяч человек.

Восстание вызвало большое беспокойство не только местных властей, но и центрального правительства, справедливо увидевшего в нем серьезную угрозу всему существующему строю.

Известия о восстании достигли Эдо лишь 25 декабря 1637 года. В тот же вечер сёгунское правительство назначило специального уполномоченного Итакура Сигэмаса, поручив ему командовать войсками местных князей и подавить восстание.

Когда руководители восстания¹ (главой его стал Сиро Масуда — юноша семнадцати или восемнадцати лет) столкнулись с объединенными силами местных феодалов, на помощь которым двинулся отряд Итакура, они решили вывести отряды повстанцев с Амакуса, объединить их и занять полуразрушенный и необитаемый замок Хара, примерно в тридцати километрах к югу от города Симабара. Роман «Из глубины бушующего моря» посвящен в основном именно этому периоду восстания.

В замке Хара восставшие в спешном порядке восстановили крепостные стены и другие укрепления и приготовились к обороне. Там укрылось около тридцати семи тысяч человек, в том числе около семнадцати тысяч женщин и детей.

¹ Их насчитывалось шесть человек — все они были прежде самураями князя Юкинага Коиси.

Из феодалов Сага и Кумамото, которые принадлежали князьям Набэсима и Хосокэва (оба они в это время находились в Эдо), были посланы войска численностью соответственно в три тысячи и четыре тысячи человек, однако они расположились на границе владений Мацукура и не принимали участия в борьбе против восставших: по законам токугавских властей войскам одного князя строжайше запрещалось вступать на землю другого. Это право принадлежало лишь специально назначенному уполномоченному центрального правительства и подчиненным ему войскам.

Пятнадцатого января 1638 года Итакура, который вначале не придавал восстанию крестьян сколько-нибудь серьезного значения, прибыл наконец в Симабара, потратив три недели на путешествие к месту событий. Он не торопился, осуществлению возложенной на него миссии представлялось ему легким делом. Поэтому Итакура хотел поручить подавление восстания силам местных князей Мацукура и Тэрадзава, на землях которых оно началось и которые, следовательно, несли за это ответственность. Однако центральное правительство, расценив сложившуюся ситуацию как весьма серьезную, приказало князьям острова Кюсю, находившимся в столице, спешно возвратиться в свои владения, возглавить войска и, объединивши свои силы, подавить восстание в Симабара.

Прибыв в Симабара, Итакура предпринял несколько штурмов замка Хара, но успеха не имел. Повстанцы сражались мужественно и самоотверженно. Они отбили все атаки карателей и нанесли им большой урон. Тогда Итакура, опасаясь за свою карьеру, приказал готовить новый штурм.

Штурм состоялся в каден июлевого Нового года — 14 февраля 1638 года. Итог этого штурма был еще более плачевным: потери повстанцев составили около девяноста человек, войска, осаждавшие замок, потеряли около пяти тысяч человек, а сам Итакура был убит.

Вскоре после этого в Симабара прибыл новый уполномоченный правительства Нобуцуна Мацудайра, князь Идзу (видимо, известно о назначении Мацудайра и скором его прибытии явилось главной причиной, побудившей Итакура поспешить с новым штурмом).

К середине марта под командованием Мацудайра оказалась объединенная армия двадцати шести даймё острова Кюсю, которая насчитывала свыше ста тысяч человек.

Мацудайра не спешил повторять тщетных попыток Итакура взять замок приступом. Расчет был сделан на блокаду. Было организовано патрулирование морского побережья близ крепости. В бомбардировках крепости приняли участие голландцы, приславшие корабль и пушки. За пятнадцать дней, с 24 февраля до 12 марта 1638 года, они вынудили по замку четыреста двадцать шесть ядер.

В крепости же положение постепенно ухудшалось, начался голод. Патроны и порох были на исходе, силы повстанцев убывали. Предпринятая в этих условиях вылазка с целью захватить у неприятеля продовольствие и боеприпасы успеха не имела. Не обошлось без дезертирства и предательства. Так, один из руководителей обороны Хара, известный японский художник Эмосаку Ямада, командовавший отрядом в посемьсот человек, установил связь с врагами и пытался облегчить им захват замка; его предательство было раскрыто (его жена и дети были казнены, а он сам, находившийся под арестом, был освобожден после того, как замок пал).

Войска карателей готовились к решительному бою. Князья стремились выслужиться, испытывали друг к другу зависть и подражительность.

Одиннадцатого — двенадцатого апреля состоялся последний штурм. Войскам Набэсима, Хосокава и Курода удалось преодолеть внешний крепостной вал и вторгнуться в крепость. Окруженные со всех сторон повстанцы, голодные, без пуль, отбивались камнями, палками, всем, что попадало под руку, но сделать уже ничего не могли, слишком неравными были силы. Захватив замок, войска феодалов устроили настоящую резню: из тридцати семи тысяч повстанцев в плен было взято лишь сто пять человек.

Победа далась карателям нелегко. Даже по тем сведениям, которые даймё, принимавшие участие в кампании против повстанцев, сочли возможным сообщить в Эдо, их потери составили тринадцать тысяч человек убитыми и ранеными. Данные эти были, вероятно, сильно занижены. По данным Кукебеккера, управляющего голландской факторией в Хирадо, они достигали сорока тысяч человек. В иных источниках называются и большие цифры.

После разгрома восстания сёгун издал указ о полном закрытии страны: въезд в Японию иностранцев запрещался под страхом смертной казни; японцам, которые каким-либо образом очутились за пределами Японии, также под страхом смерти запрещалось возвращаться на родину. Только для голландцев, помогавших подавлять восстание в Симабара, а также для китайцев было сделано исключение: они могли вести торговлю под строгим контролем японских чиновников на островке Дэдзима близ Нагасаки.

Другим результатом разгрома восстания 1637—1638 годов было фактическое искоренение христианства в Японии: последние его приверженцы погибли при обороне замка Хара. Об этом, кстати, свидетельствует и статистика преследований по причине вероисповедания: между 1639 и 1658 годами репрессии коснулись не более тысячи человек, тогда как в период 1614—1635 годов их жертвами, как уже говорилось, стало около двухсот восьмидесяти тысяч человек.

* * *

В романе Есэн Хотта дана живая и исторически правдивая картина борьбы повстанцев Симабара за свободу, справедливость, равенство, за лучшее будущее.

Роман в основе своей строго документален, автор его стремится скрупулезно следовать действительным событиям, и в этом смысле произведение Хотта представляет собой историческую хронику.

Документальность романа не означает, конечно, что автор ограничивается только изложением событий; сохраняя верность исторической правде, автор вместе с тем широко прибегает к художественному вымыслу и домыслу. И следует специально отметить, что это сочетание исторической достоверности и литературного вымысла сделано с большим тактом, с тем чтобы авторские втрузии не исказили и не заслонили подлинную историю.

Достоверность составляет сильную сторону произведения, но эта же достоверность, искреннее стремление автора воссоздать историческую правду, оборачивается в отдельных частях романа некоторой схематичностью в обрисовке образов, и прежде всего исторических личностей. Автору не всегда удается изобразить исторические личности как живых людей, порой действия тех или иных персонажей психологически не мотивированы, а ширм и вовсе не позволено — их внутренний мир и переживания остаются за рамками повествования. Возможно, что автор сознательно избегал чрезмерных импровизаций, связанных с реконструкцией психологических портретов деятелей прошлого. Но в ряде случаев это привело к обеднению образов.

Стремление к достоверности проявляется и в нарочито документальной манере повествования в отдельных главах.

Роман написан современным языком, автор избегает архаизмов стиля и лексики, ибо чрезмерное употребление старинных оборотов речи и исторических терминов той эпохи сделало бы его недоступным широкому читателю.

В произведении Хотта несколько сюжетных линий, одни проходят через весь роман, другие разработаны недостаточно, третьи намечены как бы пунктиром, но при всем том все они объединены главной темой и подчинены основной цели: показать народный подъем — восстание Симабара и его апогей — защиту крепости Хара, осмыслить ряд социальных и морально-этических проблем, представляющих первостепенный интерес и в наши дни.

В романе восставшие предстают перед нами как люди мужественные, находчивые, изобретательные. Кивсаку «Попади в иглу»

и Собэй Модрежъя Шкура, Наокити и Асидзука, о-Соно и Гэнъямоп Оа,— они и другие персонажи олицетворяют народный ум, смекалку и решимость в борьбе. Испытывая острую пехватку оружия, защитники Хара широко используют против карателей камни и бровна, горячую золу и нечистоты; они умело укрепляют полуразрушенный замок; Асидзука придумывает новый вариант митральезы, которая изготовляется тут же, в осажденном замке; они покидают у противника фашны, они осуществляют встречный подкоп и в подземном бою вынуждают карателей отступить.

Вместе с тем Хотта показывает повстанцев людьми сугубо мирными, людьми труда, которые, очутившись в замке и будучи оторваны от своих привычных занятий, не находят себе места, поскольку «убивать людей и выращивать хлеб — как бесконечно далеки друг от друга эти два дела!». В этой связи весьма характерен образ крестьянина Наокити, который после ожесточенного боя трудится на заброшенном поле. Он весь уходит в это мирное занятие, пытаясь «вновь обрести прежнее состояние духа, забыть, как он колот, рубил, давил камнями людей, изгнать из памяти зрелище убийства...». В осажденном замке крестьяне-повстанцы тоскуют по труду, по земле, выпрашивают у кладовщиков горстку семян; в замке появились крошечные возделанные участки земли. Жажда труда неистребима у этих людей, всю жизнь не разгибавших спины на полях.

В восстании участвовали люди разного толка, разных сословий, разных характеров, и это довольно удачно показано в романе. Например, Кисаку «Попади в иглу» предстает перед нами как один из мужественных и стойких участников восстания, он сражается до конца, он непримирим к врагу. Но, в отличие от крестьян-земледельцев, чувствует себя во время осады как в родной стихии. Он давно привык к оружию, в бою к нему приходит азарт охотника. Правда, его поведение нередко омрачает неосознанная жестокость. Когда Кисаку случайно застрелил одного из землекопов, обслуживавших войско карателей, повстанцы очень сожалели об этом, и самому Кисаку тоже было неприятно от сознания, что другие могут заподозрить, «будто ему по душе убивать».

А вот еще один участник восстания — Дзюдаю Курахати, бывший самурай и любимец князя Курода, изгнанник, «обойденный судьбой» человек. Он жесток, держится особняком, отмщение за поруганную честь воина — главный мотив его перехода к восставшим. Война — его профессия, между штурмами он не знает, куда себя девать; несмотря на осуждение товарищей по восставию, он заставляет одну из пленниц стать его наложницей.

Олицетворением японской женщины — героини восстания —

является образ старой о-Соно, умудренной жизнью, сильной духом, доброй и смелой женщины.

В соответствии с исторической правдой в романе показано, что в восстании участвовали не только христиане. В рядах повстанцев насчитывалось несколько тысяч буддистов. Да и социальный их состав был неоднороден: помимо крестьян и горожан, ремесленников, в нем участвовали многочисленные бывшие самураи-ронины, представители тогдашней интеллигенции, а это порождало и определенные трения, и даже подозрения и неприязнь.

Однако повстанцы в описании Хотта — люди веротерпимые; христиане, составлявшие подавляющую часть защитников крепости, хорошо, доброжелательно относились к буддистам — участникам восстания; один из героев романа Гинъэмон Оэ говорит о том, что не следует насильно требовать от являющихся переходя в христианство; христиане принимают участие в похоронах иноплеменни-буддистки и т. п. В нескольких местах романа говорится о том духе сплочения и единения, который в целом характеризовал обстановку в осажденном замке. Лишь в результате блокады, когда запасы продовольствия и боеприпасов у повстанцев истощились, когда они по все большей мере страдали от голода и болезней и несли потери в результате усилившихся бомбардировок замка, — и сознании, и настроении осажденных постепенно произошел падлом, но они продолжали стойко сражаться.

Восстание отличала прекрасная организованность и порядок, весьма четкое разграничение функций; его характерной чертой явилось достаточно широкое использование огнестрельного оружия.

Феодалыые князья и правительственные чиновники характеризуются в романе как люди жестокие и бесчеловечные. Это по их приказам отправляли на казнь тысячи невинных людей, подвергали издевательствам и пыткам крестьян, их жен и детей. Это они перед решительным штурмом замка Хара велели перебить всех, не жалея ни женщин, ни детей, ни даже грудных младенцев. Тээмон Минаэси, один из участников восстания, называет сбгуна Токугава Иэмицу «большим безумцем с душой дикой и огрубелой».

В войсках карателей царя дикие нравы: самураи и доказательство своих «подвигов» должны были принести голову убитого врага. Но нередко случалось так, что добывший голову самурай не находил ее у крепостной стены, куда он ее бросил перед тем, как выбраться из замка: ее успевали украсть другие; у труюна отрезали носы, а то и перепредавали их потом самураям, ибо отрезанный у врага нос служил свидетельством «подвига».

Вместе с тем и оишь-таки в соответствии с исторической правдой автор показывает умных и дальновидных деятелей в среде

правительственных чиновников, феодальных вельмож и самураев. Ведь нашлись же среди них такие, кто оказался способным (например, старший самурай Арима) воздать должное боевому духу и храбрости повстанцев.

В главе III романа приведены леденящие душу описания различных издевательств, грабежей, жутких пыток и казней, которым подвергались крестьяне и ремесленники; это дает возможность хотя бы приблизительно представить себе ту страшную обстановку, в которой жили простые труженики в тогдашней Японии, тот режим неограниченного произвола и насилий, который царил в стране, те причины, которые привели, в частности, к возникновению восстания в Симабара.

Хотта показывает беспомощность правительственных чиновников, медлительность и бестолковость их действий, неразбериху, распри в лагере карателей, что, конечно, в известной мере и на определенном этапе облегчало положение восставших.

В романе освещена гнусная роль, которую сыграл голландцы при подавлении восстания в Симабара, послан для обстрела замка Хара свой корабль, пушки и боеприпасы. Демонстрируя лояльность к властям, голландцы во главе с управляющим факторией в Хирадо Кукебеккером, разумеется, стремились сохранить и упрочить свои торгово-экономические привилегии в Японии.

Автор стремится честно и объективно разобраться во всем — в причинах восстания, в его характере, составе участников, противоречиях христианского мировоззрения подавляющей массы его участников и т. п.

В трудах буржуазных историков восстание в Симабара нередко характеризуется как религиозное выступление. Разумеется, никому не придет в голову отрицать религиозный характер событий в Симабара. Однако делать акцент только на религиозной форме и мотивах восстания было бы неверным, поскольку в этом случае остались бы в забвении его социально-экономические корни. И следует отметить, что позиция автора «Из глубины бушующего моря» в этом вопросе правильна. «Получается, — читаем мы в романе, — что не стремление свободно исповедовать новую веру породило смуту. Просто в ходе времени, особенно с той поры, как повстанцы заперлись в осажденной крепости, когда они вошли во вкус общих действий и у них появилась организация, как бы сама собой возникла потребность в некоторых идеях, духовных основах, способных объединить людей, и естественно и закономерно, что крестьяне обрели их в христианстве. Но главной причиной смуты были произвол и жестокость в княжествах Мацуккура и Тарадзава. Это было яснее ясного».

Проникновение и распространение христианства в Японии явилось одним из следствий острых социальных противоречий в недрах японского феодального общества. В нем, в частности, находило свое выражение и недовольство крестьянских масс и городской бедноты, которые искали в христианстве утешения и которым imponировали положения христианского вероучения о равенстве всех смертных перед судом всевышнего, о грядущем «царстве божьем» и т. п. Но при всем том христианские идеи о смирении, о бессловесном повиновении земным властям, о благодетельности человеческого страдания в конечном счете находились в непротиворечии с образом действий повстанцев и их бунтарским духом. И хотя, с точки зрения участников восстания, они подвигались на борьбу за святое, божье дело (если ограничиться только религиозной стороной событий 1637—1638 годов) и, казалось, вполне могли рассчитывать на поддержку и защиту всевышнего, однако чуда не произошло и восстание закончилось неудачей. В этой связи как бы случайно обретенные в нескольких местах высказывания героев романа, содержащие неприкрытое сомнение в поддержке свыше, представляются современному читателю вполне понятными и уместными.

Много внимания в романе уделяется Эмосаку Ямада — художнику, одному из руководителей восстания. Ямада — историческая личность. Распространение христианства в Японии сопровождалось и проникновением в страну европейской культуры. Европейская живопись нашла себе последователей в Японии, одним из видных их представителей был Эмосаку Ямада. Автор рисует сложный, противоречивый образ Ямада. С одной стороны, это художник, стремящийся писать по-новому, ищущий новые, впечатляющие формы и методы выражения; с другой — это бывший вассал князя Арима, в плоть и кровь которого вошел дух традиций, повиновения и преклонения перед своим сюзереном. Эмосаку предстает в романе как человек, которому в конечном итоге, несмотря на сочувствие к повстанцам, дело их чуждо, им движет плохо замаскированный эгоизм, он индивидуалист, он хочет жить и делать только то, что ему хочется, и чуждость интересов окружающих его людей составляет основу его поведения. Умному, трезво мыслящему человеку, рационалисту, Эмосаку претит религиозный фанатизм и обман. Он не верит в молитву, его мучают противоречия христианства, он понимает сначала трудное, а потом — безвыходное положение повстанцев. И если учесть при этом, что сам Эмосаку, как его рисует Хогта, оказался человеком нестойким, слабохарактерным, трусоватым, что главным в его натуре было стремление заниматься только своим делом, оставаясь вне развернув-

шейся борьбы,— то становится понятно, почему его желание выжить во что бы то ни стало, спастись, не разделить с остальными повстанцами ожидающей их участи — обернулось предательством.

Индивидуализм Эмосаку, в общем-то сознающего безправность, омерзительность своего поведения и ищущего различия оправдания своему предательству, безразличия к интересам простых людей, какая-то духовная замкнутость, черствость, ограниченность, не позволяющая понять величия народа, подвизавшегося на борьбу,— все это не могло не сказаться на нем как на художнике. Не один раз Гэпэмон Оэ и другие герои говорят об Эмосаку как о художнике посредственном, не понимающем, да и беспособном уловить и передать внутреннюю суть изображаемого, то есть заурядном кописте, ремесленнике. Нам не дано судить, насколько такой образ Эмосаку Ямада исторически достоверен (в романе есть указания на то, что сам Ямада стремился «работать по-новому», писать «живую природу»), но с точки зрения логики развития образа такая его трактовка вполне допустима.

Эмосаку в романе противопоставлен один из руководителей восстания — роини Гэпэмон Оэ, который, так же как и художник, является лицом историческим. Оэ не хуже Эмосаку понимает всю сложность положения, в котором оказались повстанцы, запертые в замке Хара, он не обманывается и относительно ожидающей их судьбы. Но, в отличие от Эмосаку, он остается до конца верен своему долгу, он до последней минуты вместе с защитниками замка. Он не отдоляет себя от массы простых людей, одним из руководителей которых он является, и потому готов делить с ними все — и победы и поражения.

Это столкновение двух образов — Ямада и Оэ — является не просто одним из обычных эпизодов романа, а несет большую социальную и моральную нагрузку.

В творчестве Хотта большое место занимает проблема человека и общества, проблема выбора пути, проблема нравственного долга интеллигенции перед народом. Решение этих проблем имеет первостепенное значение в современных условиях, в обстановке обостряющейся классовой борьбы.

Исходные суждения Эмосаку и Гэпэмона часто похожи, но выводы они делают разные; спор, открытый или подспудный, происходит между ними на протяжении всего романа. И побеждает в этом споре Гэпэмон Оэ. Хотя после разгрома восставших Эмосаку удается остаться в живых, судьба его незавидна: он запятнал себя позором, на нем клеймо предателя, и, как думает увидевший его Кипсаку «Попади в иглу», «все равно когда-нибудь он погибнет позорной смертью». Автор полностью солидаризируется

с Гэнгэмом, когда пишет, что «предание об этой крестьянской битве будет передаваться из уст в уста, и об оставшемся в живых Эмосаку станут, пожалуй, говорить больше, чем о тех, чьим уделом стала гибель. И чем шире будет разноситься молва, тем труднее будет ему смотреть людям в лицо...».

Гэнгэмон Оэ, питающий подозрение к Ямада и думающий о том, что нельзя допустить, чтобы тот стал Иудой, размышляет об обстоятельствах, в которых Иуда предал Христа: возможно, Иуда жестоко страдал, терзаясь предчувствием грозившей Христу опасности, и, будучи человеком трезвым, практическим, живущим в реальном мире, испытывал большую тревогу; так Гэнгэмон Оэ приходит к выводу, что идеи христианства чужды понятиям о реальных земных делах человека, что христианство несет человеку безнадежность, обреченность. А для другого героя романа, бесстрашного Кинсаку, о котором уже упоминалось выше, поступок Ямада представлялся скорее даже чем-то закономерным: он, бывший вассал Арима, художник, был чужим среди посставшей крестьянской голытьбы.

Главу восстания Сиро Масуда читатель в значительной мере воспринимает глазами Ямада, которому претят измышления и небывальщицы, рассказываемые о Сиро и возводящие его чуть ли не в ранг святого. Вместе с тем в романе есть упоминания о том, что, несмотря на молодость, Сиро отличался острым умом и ученостью. В исторических исследованиях есть указания на то, что он был широко образован для своих лет и обнаружил большие способности в военном деле. Правда, в романе Сиро выстучает лишь номинальным главой восставших, и, поскольку исторические сведения о нем достаточно скудны и даже противоречивы, то вряд ли такую трактовку автором роли Сиро Масуда можно безапелляционно поставить ему в упрек. О Сиро распространялись различные легенды, в том числе и преднамеренно сочиненные, с целью возвысить вожди восставших, создать ему ореол чудотворца.

В работах по истории Японии есть упоминания и о том, что Сиро был сыном Тойтоми Хидэоэри, то есть внуком Хидэоэси. Видимо, эти слухи распространялись с целью привлечь в стан восставших побольше бывших самураев, служивших у Тойтоми или его военачальников. По другим сведениям, Сиро Масуда был сыном одного из деревенских старейшин. Каких из этих сведений соответствуют действительности — судить трудно. Скорее всего, Сиро не был потомком Тойтоми.

Равным образом существуют разноречивые сведения о его судьбе: по одной версии, Сиро Масуда отрубили голову, которая была на семь дней выставлена в Нагасаки (отец его был распят). Согласно другой, он и его ближайшие сподвижники ночью добра-

лись до берега моря и, пользуясь темнотой, на трех джонках бежали в Сагума. Тамопиний князь Симадзу¹ укрыл их в дальней деревне. Чтобы скрыть исчезновение Сиро, его сподвижник Норюки Акаси выдал себя за него. Акаси погиб в бою, и его голова была выставлена напоказ в Нагасаки.

Уроки Симабара весьма поучительны. Восставшие не имели, по существу, программы действий, неясно и бессвязно представляли себе перспективы борьбы, и в этом смысле восстание было стихийным, хотя сами действия повстанцев отличала достаточно высокая степень организованности. Восставшие оказались в одиночестве, их не поддерживали крестьяне соседних кланов, на что они надеялись, а между тем против повстанцев выступила объединенная сила феодальных князей юго-западной Японии, опиравшихся на поддержку центрального токугавского правительства. Видимо, и оборонительная тактика повстанцев также способствовала быстрому поражению, поскольку в условиях блокады истощение ресурсов защитников Хара было неизбежно.

Герои Симабара не имели, да и не могли иметь никакой сколько-нибудь ясной осознанной перспективы борьбы. Их замыслы были обращены к религии. Один из руководителей восставших — Има несколько раз говорит о «всеобщей республике», но он и сам признает, что она возможна лишь на небесах: как создать ее на земле — ни он, ни другие не знают. И когда другой участник восстания, старый Тэмон Минаёси, вспоминает о знаменитом крестьянском восстании второй половины XV века в провинции Ямасиро, где была создана просуществовавшая целых семь лет самоуправляющаяся крестьянская республика, он, отвечая на вопрос заинтересованных крестьян, говорит, что и она также погибла, будучи удушена войсками феодальных князей.

Развязка романа трагична, как трагичны были описываемые в нем события. Восстание разгромлено, защитники Хара гибнут, деспотизм и насилие торжествуют. Но, как говорит один из персонажей романа о крестьянском выступлении в Ямасиро во второй половине XV века, «дело восставших засияло, подобно звезде в глубине небосвода», и эти слова в полной мере могут быть отнесены и к восстанию в Симабара.

В историю освободительной борьбы японского народа восстание в Симабара вошло как одна из ее самых ярких и незабываемых страниц. И в политической обстановке современной Японии далекие события первой половины XVII века приобрели особое звучание.

¹ О князе С и м а д з у см. комм. к стр. 35

Последованный период ознаменовался для Японии беспрецедентным подъемом рабочего и общедемократического движения, ростом демократических и прогрессивных сил при укреплении руководящей роли рабочего класса в борьбе народных масс. Классовое самосознание и организационная сплоченность рабочего класса и всех трудящихся неизмеримо возросли. Они превратились в мощную политическую силу, не считаться с которой реакция не может. И в этих условиях подвиг героев Симабара служит своего рода призывом к нынешнему поколению японских трудящихся: вспомните об этих смельчаках, их было относительно немного, но они не побоялись подняться против всей токугавской системы; вас же теперь миллионы, вы организованы, вы представляете огромную силу, способную на великие дела, и история дала вам запас целой и средств борьбы.

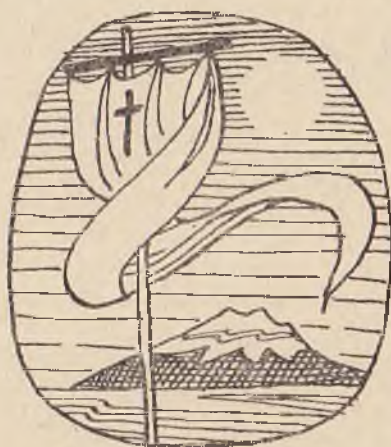
Бесчеловечные условия труда и жизни — вот коренная причина, вынудившая десятки тысяч людей к восстанию. С этими бесчеловечными условиями нельзя мириться, с ними надо бороться — вот урок, который преподала трудящимся массам история героев Симабара.

И ныне, на вопрос одного из руководителей восстания — Гэнъэмона Оэ — что скажут о них, восставших, люди когда-нибудь, через десятки и сотни лет, — трудящиеся современной Японии могут ответить, что дело, за которое боролись восставшие в Симабара, не погибло, что теперь за свободу и счастье борются десятки миллионов японских трудящихся, что память и пример героев Симабара вдохновляли и будут вдохновлять грядущие поколения борцов за народное дело.

В заключение, несколько слов об авторе этой книги. Ёспэ Хотта родился в 1918 году. Литературную деятельность начал как поэт. В 1951 году опубликовал роман «Одиночество на площади», за который был удостоен премии Акутагава. Хотта — автор многих книг. Его романы «Время», «Памятник» и повесть «Шестерни» были изданы в СССР. «Из глубины бушующего моря» — единственный пока исторический роман Хотта — был издан в Японии в 1961 году.

А. Кузьмичский

**ИЗ ГЛУБИНЫ
БУШУЮЩЕГО
МОРЯ**







Г. Строительство крепости

Крестьяне ломали свои лодки. Это было удивительно и непонятно. Многие сотни лет жители Симабара и Амакуса кормились не только землей, но и морем. И вот теперь они — собралось их на берегу никак не менее тысячи — сами ломали свои лодки. Выбрасывали доски бортов, разбирали остовы лодок.

Грохот деревянных кувалд далеко разнесся над заливом Ариакэ.

Сухой зимний ветер срывался с края Симабара, с его главной першины — Ундзэн, и метался по увядшей равнине, которая круто, с трех сторон, сбегала к заливу.

Там наверху, над берегом, крестьяне занимались делом столь же удивительным и столь же непонятным. Они уже больше не были земледельцами и теперь никогда не возвратятся к земле. Привычный крестьянский труд, казалось, совершенно забыт ими.

Вернемся, однако, на берег, к которому пригнали свои лодки жители бесчисленных островов Амакуса: почти четырнадцать тысяч человек, многие с семьями. Это — не считая крестьян из четырнадцати деревень Симабара, пришедших ранее. Грохот ударов, отраженный стеной обрыва, гулко прокатывался над мирным заливом Ариака...

Работали спешно, но с толком. Доски отделяли бережно, по одной, и тут же уносили куда-то. Вдоль берега тянулись вереницы носильщиков... Нет, это и впрямь было удивительно и непонятно! Куда и зачем крестьяне несли эти доски?

Дочерна загорелые люди в лохмотьях неумоимо шли на юго-запад, к холмистой возвышенности, которая с запада на восток переходила в длинную гряду скал, а к морю обрывалась невысокой, но крутой стеной.

Люди шли туда не только с побережья, но и из глубины полуострова: из деревень Накакиба, Антоку, Фуказ, Фуцу, Додзакки, Оэ, из Западной и Южной Арима, из Кутиноцу, Кацуса, Кусиняма, Кохама.

Они шли туда, где происходила удивительная и непонятная, на первый взгляд, работа, и где теперь, на небольшом клочке земли, на возвышенности, которую вряд ли назовешь неприступной, собралось уже более тридцати семи тысяч человек — мужчины, женщины, дети и старики. Зачем они пришли сюда? Что у них на уме? Отчего у некоторых окровавлена одежда?

В прежние годы здесь высился замок Хара. Потом он был разрушен, крепостная стена обвалилась, чудом уцелел только внутренний обвод. Сейчас бреши в стене засыпают землей, закрывают принесенными досками, вбивают бамбуковые колья, возводят бамбуковые и бревенчатые частоты. Крестьяне восстанавливают крепость. И все-таки это пока еще крепостные развалины, а не крепость.

Среди строителей не только простые крестьяне. Есть здесь и роины *, и деревенские старейшины. Однако напрасно вы стали бы искать здесь истинных самураев — их не было здесь ни одного. На развалинах крепости расположился крестьянский лагерь, который с первого взгляда мог показаться разбойничьим станом. «Разбойники» возводили собственную крепость. Они расчищали развалины, копали рвы, а выпутую землю высоко насыпали по краю. Они рыли многочисленные длинные ямы, страшные ямы, какле можно было увидеть только в этой странной крепо-

сти. На ямы укладывали толстые бревна, а затем стелили дощатую крышу. Здесь будут жить жепицины с детьми.

На скорую руку было сколочено несколько хижин, и над одной — там, где высился некогда Главный бастион замка — водрузили большое белое знамя. На знамени была дароносица, на которую умиленно взирали два колена преклоненных отрока, и надпись по-португальски: «*Lovadad sciao sanctissimo sacramento!*», что означает: «Восславим священное тело господне!» Ни единого иероглифа, ни единой японской буквы * не было на боевом знамени тех, кто привел сюда крестьян: знамя имело прямое и непосредственное общение с *дзусом* — богом и *парайсо* — раем господним.

Разрушением лодок на берегу руководил Кюэмон, один из старейшин Арима. Сейчас все восемьсот двадцать семь дворов его деревни пришли вместе с ним в замок Хара — все пять тысяч сто семьдесят два человека.

— Дальше отступать некуда, — ни к кому не обращаясь, внезапно сказал Кюэмон. — Да, дальше отступать некуда...

Лодки были разломаны все, кроме одной, самой быстrophодной, которая раньше предназначена была для охраны от пиратов: ведь отсюда до островов Амакуса, хотя бы до Коцуура — самой ближней деревни, — ни много, ни мало пять рп¹ с лишком.

Примерно на полпути сюда, среди плоской морской равнины лежит островок Юсима, окутанный сейчас зимним туманом. Впрочем, теперь для Кюэмона в тумане был не только Юсима, но и все, что было связано с ним. Ведь он приезжал туда не однажды, особенно в нынешнем, тысяча шестьсот тридцать седьмом году. Не однажды тайно совещался там с Дзимбэем Масуда из Ояносима, с Кодзаэмом Ватанабэ, старейшиной той же деревни.

— Дальше отступать некуда... — повторил он.

Ветер унес обрывки слов в море.

Покончив с лодками и взвалив на плечи последние доски, крестьяне двинулись к замку.

К замку шли крестьяне Кацуса и Кутиноцу. Гремели повозки с тяжелой кладью. В деревнях не осталось никого, ушли все и увезли с собой все, что можно было увести.

¹ Р п — мера длины, равная 3,927 км.

Опустошили княжеские склады в Кутшоцу. Захватили тысячи мешков риса, сотни мушкетов, захватили порох — не меньше трех с половиной тысяч кэн¹, и хлопчатобумажные и бамбуковые фитили — богатство для повстанцев неслыханное.

Кинсаку, охотник из деревни Мпэ, проверял исправность оружия. Ему уже приходилось стрелять в людей — в самураев. Глаза у него сверкали. Он был почти счастлив. Спрыгивал с одной повозки, тут же забирался на следующую...

В Симабара знали толк в оружейном деле. В самых дальних землях гремели имена Дайдзэна из Китаока, славного ружейного мастера, и Садамаса, которому не было равных в отливке мортир. При осаде Осацкого замка именно мортиры прислали жители Симабара в дар осаждавшим. Они умели делать хороший порох и надежные фитили. Оттого и огненным оружием они владели лучше других.

Особенной меткостью выделялся этот Кинсаку. Он бил без промаха с любого места, из сотни пуль ни одной не тратил зря. С десяти шагов перешивал блестящую на солнце иглу, подвешенную на нитке, за что и прозван был Кинсаку «Попади в иглу».

За поясом у Кинсаку висела связка шнурков из соломы; проверяя мушкеты, он привязывал шнурок к неисправным, требовавшим починки. Он открывал ящики и нюхал — не отсырел ли порох. Затем спрыгивал на землю, бежал вперед, догонял новую повозку и забирался на нее. «Попади в иглу» был невысок, двигался проворно и ловко, будто дикий горный зверь. И люди невольно следили за каждым его движением. Многие окликали его. Но Кинсаку был скуп на слова.

— Эй, Кинсаку, в самурая, говорят, полечче попасть, чем в иголку?!

— Эге!

— Эй, Кинсаку, а ведь ты отроду не видал столько мушкетов сразу?

Тот, кто задал вопрос, как видно, очень гордился их общим богатством — этими мушкетами.

— Угу!

¹ Кэн — мера веса, равная 600 г.

Вместе с крестьянами шла деревенская знать, старейшины, ронины. Это были вожаки, нечто вроде штаба оставших. Крестьяне с жадным вниманием следили за проворным Киссаку. Он всегда был неутомим и ловок, по сей час они видели его как будто впервые. Это было понятно — наступало иное время.

Ведь до сих пор они словно бы и не жили. Налоги с них брали за все — за новое жилье, за устройство очага, за каждое прорезанное в стене окошко, за каждую полку, каждую новую циновку в доме... Рождается ребенок — плати подать, умирает — снова раскошелиться — побор на могилу...

Для людей, всю жизнь глядевших себе под ноги, видевших только свою бедную землю да море, темное и бездонное, как опрокинутое зимнее небо, — для этих людей ловкость и точность движений Киссаку и впрямь были инове, будили какое-то горячее, бурное чувство, долго таившееся под спудом.

Повозки сильно раскачивались. Киссаку уверенно держал равновесие и неутомимо проверял мушкеты и порох.

Шли ронины — «мужики-самурай», или деревенские старейшины вместе с женами и детьми. В их облике не произошло никаких видимых перемен, но они шли сейчас вместе с крестьянами, вместе тянули повозки, вместе двигались навстречу грядущему. Каждый понимал, что с этого времени их участь будет общей, всех ожидает одна судьба — и старейшин, и ронинов, и крестьян...

Среди них был человек, непохожий ни на рыбака, ни на крестьянина. По одежде его, скорее, можно было счесть за старейшину. Он был мрачен, шел понуро, бросая по временам взгляд на тусклое, отливавшее свинцом море или на пальмы, растущие вдоль дороги. Иногда он тоже следил за «Понади в иглу», смотрел, как тот выбегал из рядов, хватался за край повозки, прыгал в нее, быстро проверял оружие и порох, так же быстро соскакивал на землю, договаривал следующую повозку... Но все же большую часть пути человек этот не поднимал глаз от земли.

У всех, кто шагал рядом с ним, было смутно на сердце, но у него к тревоге применялось еще и страдание.

Эмосаку Ямада из деревни Кутиноцу было сорок пять лет. Он был художником и писал картины на шелку и на бумаге. Он знал, что такое перспектива и светотень, краски

размешивая на ореховом масле или на яичном белке, стремился сообщить картинам искусный блеск и передать в них не только внешний облик, но и внутреннюю суть предметов. Он старательно изучал манеру далеких заморских живописцев *. В его мастерской можно было увидеть такое, чего не увидишь у его собратьев, — котелки, в которых варились клеи, склянки с ореховым маслом, ступки для растирания красок. Там осталось множество начатых, но еще незавершенных работ. Ширмы, заказанные его светлостью князем Мацукура, были расписаны только наполовину.

Близ деревни Оэ, от которой рукой подать до развалин крепости, навстречу им вышли крестьяне во главе со старейшиной Гэньэмоном.

Они приветствовали друг друга. Затем помолились. Прозвучала общая клятва «Возвращения» — возвращения в христианскую веру, от которой им некогда пришлось отречься.

Переговорив со старейшинами Кацуса и Кутипоцу, Гэньэмон подошел к Эмосаку. Поверх обычного кимоно Гэньэмон носил белое одеяние.

— Мастер Эмосаку, ткани заготовлено вдоволь. Ваши получат такую же белую одежду, как только придут на место.

— Да, да, конечно...

— Спасибо тебе, мастер, за знамя. Великолепная работа.

— В самом деле? — равнодушно отозвался художник.

— Ты нездоров?

— Спасибо, я здоров.

Эмосаку оглянулся на жену и детей. В его взгляде была тревога. Но смотрел он сейчас не столько на внешний мир, на людей, озабоченно спящих вокруг, сколько вовнутрь, в глубину своей смятенной души. То, что открывалось ему там, с прихотливой игрой тени и света, с уходящей в безграничную даль перспективой, было, пожалуй, замысловатее любой из его картин и вряд ли уместилось бы и на самом большом холсте — в границах, обведенных рамой. Одни причудливые образы сменялись другими, — отыщет ли в мире художник, способный схватить и запечатлеть их?

...Я стараюсь работать по-новому, я порываю с традицией: старая японская живопись или рисунки тушью в китайском стиле, которые украшают раздвижные стены и двери в домах и замках, — они мертвы, жизнь покинула их, устав от бесконечного повторения; они стали привычной частью домашнего обихода. Я же хочу написать мир, который окружает меня, природу, — словом, все, что пожелаю, — людей, пейзажи, предметы, все! Маслом и кистью я навечно запечатлею облик мира. И я сумею сделать это, я уже начал!

...Я взял за образец картины, привезенные *надре* из-за моря. Теперь они хранятся в великой тайне. И еще я видел многие изображения святых, напечатанные в Коллегии и в Семинарии в Арима и Амакуса. Им подражал я, по ним учился. Я побывал в Нагасаки — стремился узнать и увидеть побольше. Я и сам выполнял заказы: писал святые лики для князя Наодзуми Арима — прежнего, еще до Мацукура, владателя здешней земли. Мои работы ценят и знатоки и невежды, но меня не радует это. Я хочу писать по новым, еще никому здесь не постигнутым законам искусства, и кто знает, может быть, мне не суждено до самого смертного часа испытать радостное чувство свершения, и это в порядке вещей... И все же... все же...

Гэпъэмон пытливо заглянул в глаза художника — уж не сомневается ли он? Лицо его омрачилось.

— Не волнуйся, господин Гэпъэмон! — пытался уверить его Эмосаку.

Но Гэпъэмон педаром целый год бродил от деревни к деревне, объезжал остров за островом. Он перевидал множество лиц — они выражали то восторг, то испуг или сомнение как сейчас. Проницательный взор его устремился на Эмосаку.

— Мастер! Только что ты молился здесь вместе со всеми и давал клятву. Знай же, изменить этой клятве...

— Не волнуйся, прошу тебя, господин Гэпъэмон. Даже если ты прочел на моем лице нечто иное, чем у остальных, это вовсе не значит, будто я...

— Пожалуй... Ведь ты художник, а не простой землепашец... Значит, и сомнения твои должны быть иными... Что ж, я понимаю тебя.

— Конечно, господин Гэпъэмон! — Это восклицание вырвалось из самого сердца Эмосаку.

Только теперь, когда он шагал по дороге вместе с крестьянами, ему — кажется, впервые — все стало ясно.

...Я и не мог ощутить радость от искусства, дела всей моей жизни. Я думал только о том, чтобы писать по-новому внешний мир. И забыл о своем сердце, а ведь переменялось и оно — ибо и в нем теперь живут новые законы искусства, законы светотени и перспективы.

— Твое зная надолго останется в мире, если, конечно, мы все не погибнем...

— Погибнем?!

— Да...

Так вот, значит, как?! Он не верит в успех? Но во что же он тогда верит?

— Да, да, конечно... — Эмосаку был растерян.

— Доберетесь до крепости — приходи на совет, будем разбивать ваших людей на отряды. А пока прощай! — Гэнъэмоп побежал вперед, его белое одеяние развевалось по ветру.

В сравнения с Гэнъэмопом Эмосаку мог бы быть назван человеком нового склада. Он смотрел на мир по-новому, как бы стремясь определить расположение предметов в пространстве, постичь их такими, какими они существуют на самом деле.

Но именно потому, что Эмосаку обрел этот новый взгляд, он не мог, подобно «Попади в яглу» или другим крестьянам или даже подобно Гэнъэмопу, возвести в душе крепость слепой веры. Ему ненавистна всякая крепость, если она стесняет его свободу. Он хотел одного — писать картины, оставаясь свободным, писать все, что просилось на полотно.

«Но, — подумал Эмосаку, — именно христианство, в возвращении к которому я только что искренне клялся, дало мне новое знание и породило новые желания. Отчего же я сомневаюсь и чего мне недостает?!»

Его жена о-Тиё искоса поглядела на мужа. А он не любил, когда на него смотрели. Это его дело — смотреть, смотреть и писать, а его самого разглядывать нечего.

Громче закричали тяжело груженные повозки, впереди показались развалины крепости. Перед крепостью тянулся пологий склон.

II. Память

Шли и шли вереницы людей, несущих доски.

Шли и шли вереницы людей, несущих землю и камни на носилках.

И еще несли древесные и бамбуковые стволы, добытые в лесах, которые опоясывали пик Уидзэп. Его мрачная вершина, подобно зловещему привидению, нависала над всей округой.

Шли и шли вереницы людей с котлами, сковородками, подпорками для крыш, раздвижными стенами, всяким домашним скарбом.

Шли и шли вереницы людей, несущих мешки с рисом и просом.

И еще несли они мушкеты, луки, ядра и прочую военную снасть.

Они шли тяжелым шагом, и чем ближе подходили к замку, тем стройнее становились их колонны. Одни громко ободряли товарищей, другие молчали, сгибаясь под тяжестью ноши. Молчавших было больше. Первые говорили о конечной цели пути,— хотя и не пришло еще время говорить о ней. Вторые, молчавшие, вспоминали о прошлом, и воспоминания, еще тяжелее клади, пригибали плечи и сдавливали грудь.

На вершине холма, на развалинах замка, продолжалась работа. Насыпали земляные валы, обкладывали их камнем, фаншинами из бамбука и толстых древесных сучьев.

Дзиэмон, один из старейшин Южной Арима (он наблюдал за восстановлением Главного бастиона), внезапно обернулся к Наокити:

— Помнишь? Лихая была година!

— Еще бы не помнить!

Восемнадцать лет назад им обоим пришлось не строить, не восстанавливать, а разрушать этот же замок Хара.

Здесьшний князь и господин, Харуобу Арима*, за его христианскую веру был сослан в дальнюю область Каи, а там ему велели совершить самоубийство. Его сын и наследник Наодзуми от веры отпал и сам стал безмерно жесток к бывшим единоверцам. Но хотя молодому князю и удалось замучить или убить многих, однако всех истребить он не сумел.

Тогда Наодзуми и получил от сёгуна Иэясу письмо: «Подданные твои давно погрязли в ереси. Ты юн годами, Наодзуми, и мы тревожимся, что не устоишь ты перед сим идовитым соблазном. А посему порешили мы ныне пожаловать тебе новые владения в Хюга, прибавив против прежнего тринадцать тысяч коку риса*. Итак, даруем тебе пятьдесят три тысячи коку. Ответствуй, будешь ли рад отправиться в Хюга?»

Казалось бы, в письме испрашивалось его согласие — на самом деле, это был приказ, и подчиниться ему следовало без возражений. Однако же люди, что испокон веков жили на земле Арима, и не подумали тронуться с места, так как здесь они впервые узнали учение господина, владыки небес, вознесенного падшей грешной юдолью.

Было на то немало других причин. Причины возникали ежедневно, ежечасно в смрадном запахе человеческих тел, сторовших на кострах, в зловещем стуке топоров, отсекавших головы, ноги, руки, в хрусте дробимых палачами костей...

Целых пять месяцев Наодзуми не мог уехать из Арима. Иэясу пришлось послать к нему Ямагучи, владетеля Суруга, с угрозой: ежели подданные откажутся следовать за своим господином, он, Иэясу, «призовет войско князя



Симадзу из Сацума *, дабы схватить всех до единого». Что было делать?! Наодзуми со свитой и челядью двинулся в Хюга, но то была лишь малая горсть его подданных.

А остальные? Они припали к земле. Вера в господя, во владыку небес тоже припала к земле, а точнее сказать, ушла под землю; коллегии, семинарии, церкви ветшали, пустели. Но то, что исчезало с поверхности, затаилось, ушло глубоко под землю, пропитало ее насквозь.

Самурай и деревенские старейшины превратились в простых землепашцев. Приходилось жертвовать многим, по иного выхода не было.

Речь шла о жизни и смерти, выбор был прост и ясен — отречься или сохранить веру; и вот почему выбора не было: нужно было ступаться, припасть к земле, превратиться в простых крестьян.

Делалось все, чтобы столкнуть упорных с пути истинного. Смутить, заставить отступить, изменить новой веро. Князь Наодзуми даже пригласил из Эдо ученых проповедников, чтобы они убедили его подданных, так сказать, в теоретическом плане. Среди них был и красноречивый Бандзуй. Он объездил весь Симабара. Его слушали. Слушали внимательно и настороженно, — серьезные речи в устах бонзы были здесь в диковину.



Бандзуй выступал каждый день, семнадцать дней кряду. Но, поскольку «не нашлось ни одного, кто внимал бы с усердием и верой», бонза отбыл в Эдо ни с чем, заявив напоследок, что «любая проповедь здесь бесполезна, ибо не могут силы человеческие одолеть заморские чары». Таким образом, меры властей пользы не принесли, наоборот — земля была распахана еще глубже, и семена, тапшися во мраке, начали прорастать.

— Так не забыл, говоришь? — повторил Дзиэмон.

— Такое разве забудешь! — отрывисто бросил Наокити.

Воспоминания переставали быть прошлым — они тесно смыкались с настоящим. Да и нынешняя их работа — восстановление разрушенной крепости — пробуждала все новые воспоминания. Все их прошлое оживало в эти минуты. Дзиэмон говорил, и, казалось, воспоминания сочились кровью.

Наокити прервал его:

— Я думал, будто у меня и спина, и плечи, и руки сломаны и больше никогда не срастутся...

Относились друг к другу Дзиэмон и Наокити не совсем так, как это принято обычно между деревенским старейшиной и простым крестьянином, — это были, скорее, отношения цехового мастера и подмастерья. Вообще военная организация крестьян существовала независимо от отношений внутри деревенской общины; руководство восстания состояло большей частью из бывших самураев, осевших на земле, — рониннов, которых называли «мужики-самуран».

После того как князь Наотада уехал в Хюга, замок Хара оказался в ведении сёгуна, а наместником был назначен князь Набэсима. Но тут начались Осакекие кампании*, и замок целых три года оставался без призора. Наконец прибыл новый владетель, князь Мацукура из Ямато, с немалой свитой.

К тому времени многие самуран, из тех, что не последовали за своим князем в Хюга, успели преобразиться в простых землепашцев.

Мацукура начал с того, с чего начинают все, — с укрепления власти. Снова поднялась волна говений на хри-

страш, гонения были чрезвычайно жестоки — любая жестокость была заранее оправдана законом. Истинная вера затаплась еще глубже, бывшим самураям пришлось с удвоенным усердием заняться земледелием.

Мало того, что новый господин явился сюда с целой сворой чужаков, — на беду своих подданных, он оказался превеликим любителем и знатоком фортификации. И когда спустя два года правительство издало указ, запрещающий иметь в княжествах больше одного замка, князь Мацукура решил старый замок Хара уничтожить и возвести новый — на горе Мори.

Пришлось возить камень и все строительные снаряды из старого замка в такую даль. Земли Симабара никогда не отличались богатством и плодородием, а строительство требовало огромных расходов, оно стоило крестьянам семи лет изнурительного труда.

— Мы-то ведь ломали этот самый замок Хара, а потом строили новый, на горе Мори. Тебе не смешно?

Дзиэмон удивленно уставился на Наокити.

— Чему же тут смеяться? — строго спросил он.

— Как чему? — Наокити был поражен непонятливостью собеседника, но Дзиэмон, сообразив, наконец, что тот имел в виду, пробормотал:

— Ты прав, смейся. Семь лет нас гоняли, ровню скотину, семь лет мы таскали камни, строили новый замок, а потом его же взяли приступом... Что ж! Теперь мы все посмеемся...

Воспоминания давних лет незаметно сливались с памятью о недавнем событии — всего месяц назад крестьяне овладели замком на горе Мори, который считался дотоле неприступным. Для Дзиэмона и Наокити этот замок был не просто плодом их долгих трудов — он воплощал весь гнев и всю скорбь их родных и товарищей.

Младший брат Дзиэмона — Какудзо и старший брат Наокити — Санкити отправились вместе с Гэпэмоном Оэ на острова Амакуса, где повели переговоры с тамошними крестьянами. В конце октября оба вернулись в родные деревни. Здесь Какудзо собрал крестьян и рассказал им о «Последнем зеркале». В книге под названием «Последнее зеркало» предвещался близкий конец света.

Какудзо говорил:

— Двадцать шесть лет назад — все вы помните об этом — в деревне Коцуура, на острове Увадзима, жил мудрый учитель Мамакос, *падре*, преследуемый властями. Он предсказывал, что ровно через двадцать шесть лет непременно наступит *дзуйсо*, конец света, и начнется Страшный суд...

Для слушателей Какудзо конец света уже приближался. Три года подряд земля не давала урожая, и голод терзал их сильнее отступничества.

— Разве не об этом говорит «Последнее зеркало»? Но прежде к нам явится великий праведник, *мессия*... И ныне он среди нас — этот отрок Сиро...

Какудзо и Санкити смело развернули перед ними заперченный свиток, изображавший распятого Иисуса и деву Марию. Отрока Сиро никому из них видеть еще не приходилось, однако в изображениях на свитке всем чудился его облик...

Если б тем дело и кончилось, местные власти, быть может, посмотрели бы на все сквозь пальцы. Но крестьяне собрались снова; к ним приходили жители соседних деревень, такие же изможденные, с такими же худыми, бронзовыми лицами.

Полицейские Хомма и Хаяси донесли об этом в Симабара. Из города спешно, морем, прибыла стража. Какудзо и Санкити были схвачены вместе с родными, а всего взяли шестнадцать человек. Дзизэмоу и Наокити удалось бежать.

Арестованных казнили в замке на горе Мори. Казнь была жестокой.

Крестьяне поймали Хаяси и расправились с ним. Хомма сумел унести ноги — вовремя перебрался через Ундзэп.

Вера в то, что в октябре наступит конец света, день ото дня все сильнее овладевала людьми...

Наокити опять засмеялся, на этот раз тихо, многозначительно, и повторил уже громче:

— Такое только во сне бывает... Из камней старого замка соорудили новый, а потом его же и разнесли по камешку. Теперь вот строим замок Хара, который сами когда-то разбили.

Казалось, что прошлое и то, чем они сейчас занимаются, Наокити воспринимает словно какую-то увлекательную, потешную игру.

Несколько человек подхватили его смех. К ним присоединились другие, даже не знавшие толком причины веселья. Смех передавался по рядам, и что-то бесконечно холодное, леденящее душу звучало в этом внезапном смехе.

И все-таки смех успокаивал, избавлял на время душу от сомнений; непривычная для крестьянина работа постепенно начинала обретать черты привычного, обыденного.

Да, это наша крепость — с особой силой ощутил каждый. Она будет защищать нас, а мы будем защищать ее. Крики сейчас кто-нибудь: «Это наша крепость, наша!» — в тех словах выразилось бы общее чувство.

Но время еще не пришло, и слова не успели родиться. Всем владела память о прошлом, вытесняя собой другие мысли и чувства...

В сосновой роще на западном склоне холма работали женщины с Амакуса. Они плели бамбуковые корзины. Руководила здесь старуха о-Соно.

Корзины плели большие, так как предназначались они для дозорных. Корзины эти подвешивали к высоким ветвям деревьев или спускали на веревках с обрыва.

Вожди восстания собрались на совет: тридцать четыре старейшины, пять членов штаба и тринадцать советников.

Один из советников, Дзэнэмон Яма, говорил:

— Не все еще тверды и веры. А ведь дэус — всемогущий владыка небес. Пусть ополчится на нас вся великая Япония, все японское государство, нам, защитникам веры, нечего страшиться.

Ветер порывами палетал на вершины Ундзэн и шумел в соснах. Старая о-Соно тихо рассказывала:

— Давно это было, тому уж лет пятьдесят. Великий Хидзэси повелел искоренить веру папу, и тогда господин Джованни Танэмото на острове Амакуса вместе с господином Протаззо Харупобу, князем Арима, встали на защиту святой веры. А началось все с того, что воин Сяги не исполнил приказа своего господина Юкинага Агустино Коиэя *, потому что тот захотел строить новый замок, и обложил крестьян своих в Амакуса большим налогом. Войны господина Коиэси бросились на непокорных, тут

еще подоспел господин Киёмаса Като*, да и другие, с отрядами... Худо пришлось Сиги, побежал он сюда, и Арима, и заверся в замке Хара. А друг и единомышленник его, господин Такамото из Амакуса, тоже не смог устоять перед ними — замок его в Хоцдо был взят, и войско разбито.

...В те времена господин Юкинага сам был христианином, так что сперва все-таки пал из тех, что в Хоцдо. Зато господин Киёмаса ненавидел их лютой ненавистью и не давал пощады. Воины в замке уже все полегли, а кто не был убит, тот был ранен. Тогда женщины, — а в замке Хоцдо их было триста, — порешили: все равно, мол, всею смертью, и стали биться, кто мечом, кто копьём, а иные кидали с крепостных стен большие камни. Все они одолись в мужское платье. Копья и мечи так и купались в крови по самую рукоятку... Тут-то воины господина Коиниси смекнули, что в обороне остались одни женщины, а ведь это великий позор — уступить женщине в бою... Тогда ударили они заодно с войском Киёмаса. Две женщины, хоть и получили тяжелые раны, а выжили; остальных Коиниси и Като порубили насмерть... Трупы горами лежали... Долго смотрел на эти трупы господин Киёмаса Като, а потом говорит: «Природой заведено, что женщина до последнего часа за жизнь держится, даже если уже никакой надежды нет. Но на сей раз женщины приняли бой и не уступили отвагой мужчинам. Потому и раны наши не могут уронить чести воина. А все же это всего только женщины, а женская храбрость никогда не сравнится с честью мужчины. Выходит, что и победа наша навряд ли прибавит нам славы...» Так и сказал господин Киёмаса.

— Значит, ты, бабушка, тоже... — спросила вдруг о-Киё.

Старая о-Соно — ей было уже без малого восемьдесят — наклонила голову.

— Верно, ты угадала. Из тех двух одна была я... Вот, выжила...

— А что, бабушка, наверное, трудное это дело — война? — снова спросила о-Киё.

* Некоторое время о-Соно молчала. Ветер переменился. Теперь он дул с моря, со стороны Амакуса.

— Нет, не трудное... — тихо проговорила о-Соно, — не трудное... Легче, чем думают. Мы бились копьями и мечами. Поднимали и бросали вниз огромные камни. Тогда



люди в первый раз за веру воевали. Оттого-то и господин Юкипага, поначалу, как стал владеть Амакуса, очень был добр к нам, христианам, это было хорошее время, счастливое...

Старая жепница хотела сказать, что тогда был истинный рай на земле. Тридцать тысяч христиан свободно жили на острове Амакуса. До сих пор люди помнили о множестве церквей, о семинариях и коллегиях, о школах, где обучали латинскому и живописи, о ремесленных школах, где изготовляли часы, органы и еще многое.

Рассказы об этом времени передавались из уст в уста.

Но вот пришла битва у Сэкигахара, господин Аугустин Конииси погиб в сражении, и земли Амакуса перешли сперва во владение Като, потом — Тэрадзана, владельца замка Карацу, что в области Бидзэн. И точно так же, как на Симабара, где слуги Арима, которые исповедовали новую веру, осели на земле и стали крестьянствовать, бывшие слуги Конииси сделали землевладельцами. Одним из них был Дзэмбэй Масуда, отец Сиро, что исправлял некогда должность писмоводителя при Конииси.

Женщины продолжали молча работать. Умолкла и старуха о-Соно, погрузившись в воспоминания. Потом опять заговорила медленно, тихо:

— Среди тех, кто осаждал замок в городе Симабара, видели жепниц... Они вместе с мужчинами карабкались на стены и забрасывали в замок горящую паклю...

Женщинами быстрыми ловкими движениями плели корзины.

Неужели воевать так нетрудно, как уверяют о-Соно? Неужели и прямо легко?..

III. Голод

— Погляди-ка, Собэй, вишня расцвела, — сказал Капэ-эмол, старейшина из деревни Фукаэ.

— Чудеса! — откликнулся тот, которого звали Собэй Медвежья Шкура.

Собаю уже перевалило за пятьдесят, одет был он престранно — в медвежью шкуру, а на голове у него красовался колпак, напоминавший шапку сокольника. Колпак был сплетен из травы карамуси. Поверх колпака он

посыл повязку из грубой хлопчатой ткани. Ростом Медвежья Шкура был добрых шести сяку¹.

На Главном бастионе устроили подземный склад — для хранения продовольствия и всякого добра. Сейчас туда сносили корзины с фруктами, а Канъэмон и Собэй Медвежья Шкура укладывали их рядами.

— Ну, точь-в-точь как сказано в «Последнем зеркале»: «И расцветут зимой вишни...» Все как по-писаному, а? — Низкий голос Канъэмона гулко отдавался под земляными сводами.

— Правильно, а если пока и не все, то остальное — в нашей власти... — засмеялся Собэй. У правого плеча качнулась медвежья морда с белыми оскаленными зубами.

— Это ты насчет рисовых колобков? — весело подхватил Канъэмон.

Он намекал на те строки в «Последнем зеркале», где говорилось, что будет знамение, — на деревьях сами собой вырастут рисовые колобки, над горами и долами заплещутся белые стяги и над головой у каждого воссияет священный крест; в неурочный час расцветут цветы на деревьях, багровым пламенем запылают облака, и сгорят дотла все жилища, огонь пожрет и поля, и все злаки...

Для нынешних обитателей замка Хара пророчество уже сбывалось.

Над Главным бастионом замка, над всеми его башнями развевались десятки белых, с крестами, знамен. Самое большое знамя, разрисованное Эмосаку, реяло над Главным бастионом.

В замке вдруг оказалось немало ропицов — крестьяне и не заметили, когда и как они успели здесь появиться, — на голове у них были выбриты две полосы крест-накрест.

И жилища их уже сгорели. Крестьяне уходили в замок, бросали свои деревни, и огонь пожирал дома, деревенские храмы и улицы в городе Симабара. Весь свой скарб, перегородки в домах и раздвижные двери, даже столбы, подпиравшие крышу, они унесли с собой. Все, что пользы было унести, продали огню.

Люди уже привыкли к странным багровым сумеркам и к заревам пожаров на рассвете. Так было уже почти год. Осенью пожаров стало особенно много. Освященные заревом небеса алели столь ярко, что казалось, еще немного —

¹ Сяку — мера длины 30,03 см.

и вспыхнет и загорится весь белый свет. Море такое привычное, тихие побережья и зеленые мирные острова, все как будто изменилось под этим зловещим небом — знаменем великих событий. Явления природы, собственные поступки воспринимались теперь людьми как новые доказательства грядущего светопреставления. Пророчество сбывалось!

— Надо бы нам позаботиться, чтобы поскорее выросли колобки на деревьях, а, Собэй?

Носильщики усердно подтаскивали корзины с хурмой, мандаринами, сахарным тростником, рисовыми колобками, бататом. И все это богатство шло не в уплату налога очередному наместнику или князю, а — о, чудо! — принадлежало им. Поначалу это было удивительно и непонятно, словно все здесь приготовлено к какому-то пиршеству или празднику.

Ведь они голодали. Три года подряд был недород, а налоги брали еще больше прежнего. Князь Мацукура и его свита были для крестьян чужаками в полном смысле слова — ничто не связывало подданных с их новым владетелем ни в прошлом, ни в настоящем. Край был горист, заливных полей было немного, но князь требовал не только риса и зерно. Если крестьянин сеял табак, половина шла князю, и при этом непременно самые лучшие, самые крупные листья. Чиновники записали в реестр каждый зрелый на дереве мандарин, каждый падаец считался украденным.

У Собэй Медвежьей Шкуры не было ни жены, ни детей. В отчаянии от голода и безденежья, он убил их несколько лет назад собственными руками.

Страшные дела творились на свете! В деревню, не уплатившую налога сполна, приходил отряд. Хватали самых злостных должников, то есть самых голодных, пятачивали на них соломенные плащи, связывали за спиной руки и поджигали плащ. Люди корчились в муках и умирали. Казнь называлась «пьяской в плащах».

Крестьянских жен, дочерей брали в залог, всячески над ними глумились, увозили в Нагасаки и там продавали в рабство в заморские страны. А Собэй жену и детей пожалел...

Когда у крестьянина — ни рисинки, подати даже пыткой не выбьешь. Но чтобы неповадно было остальным, наказания должников становилось год от года все

изощренной. Беременных жепцин бросали в ледяную воду, девушек раздевали донага и прижигали тело раскаленным железом.

Два месяца назад, в августе, у Ёдзэмома, у старейшины Кутиноцу, пододавшего нескольких мешков риса, взяли беременную жену; ее загнали в «водяную темницу», устроенную в реке. Там она и родила по пояс в холодной воде и скончалась в муках. А ведь христианкой жепцина не была и никакого отношения к христианам не имела. Когда-то, правда, приняла крещение вместе с другими, по давным-давно отреклась.

Некоторые крестьяне и вовсе перестали сеять рис — не было зерна для посева. Ранней весной, — в самое трудное для крестьянина время, — лица их принимали землистый оттенок, потом покрывались каким-то белесым налетом, и они умирали. Но не один только голод мучил их...

Заключив работу, Кангэмом и Собэй Медвежья Шкура присели у дверей склада.

— Будь что будет, а уж с Мондо Тага я рассчитаюсь, — пообещал Кангэмом.

— Не ты один желаешь ему смерти, — отозвался Собэй; у правого плеча качнулась медвежья морда с ослепшими белыми клыками.

Мондо Тага, приближенный князя Мацукура, отличался изобретательностью в нитках. Сам Мацукура вначале не проявлял особенной жестокости к христианам, скорее, даже был снисходителен. Однако по время очередного пребывания в Эдо он получил строгое указание на сей счет от самого Иэмицу и принял решительные меры. Всеми казнями руководил Мондо Тага.

Морозной ночью с жепцины сорвали одежду, привязали к дереву и стали обливать ледяной водой. Трехлетнюю девочку привязали к коленям матери. Мондо Тага пригрозил, что разрубит девочку в куски.

— Господни, вы свернули с праведного пути, — сказала ему жепцина. — Жепцина родила вас, и вы творите великий грех, мучая жепцину...

Ей надели железную колодку на шею и бросили в плетеную хижину. Пригрозили, что отдадут распутникам, и те осквернят ее тело.

— Душу осквернить нельзя, — отвечала жепцина.



Моидо Тага сам изнасиловал ее.

По его приказу людям рубили пальцы, отпиливали бамбуковой пилой головы, подолгу держали в холодной воде, топили в «Адской долине», поджаривали на огне в «огненном паланкине».

...Мужчину и женщину, раздетых догола, сначала по самый рот погружали в воду, потом вытаскивали и кололи тело раскаленными железными прутьями. Снова погружали в воду, снова вытаскивали и наконец выжгли на лбу клеймо «христианин». пытка повторялась много раз, пока палачам не надоело. Тогда жертвам привязывали на шею камни и сталкивали в море.

...Мужчину приговорили к сожжению. На доске перед ним лежали в ряд четыре отрубленные головы — его жены и детей: девочки и двух мальчиков. К хворосту подпесли огонь, но сучья были пропитаны морской водой. Долго стелились по ветру клубы черного дыма. Костер горел медленно, много часов.



...Дзимпэя, отца Канъэмона, казнили в «огненном паланкине» двенадцать лет назад. «Огненный паланкин» напоминал устройством бамбуковую решетку для просушивания одежды над очагом или железное сито для поджаривания рисовых колбков.

Поначалу Дзимпэя, вместе с матерью и женой, приговорили к смерти в «Адской долине». Кроме семьи Дзимпэя, казни подлежало еще шесть человек, не согласившихся отречься от христианства. Но для устрашения остальных Дзимпэя посадили в паланкин. Огонь горел жарко, Дзимпэя умер.

Канъэмоц, которому тогда было тридцать пять лет, видел, как казнили отца. И в «Адскую долину» он тоже пошел — вслед за остальными приговоренными, и видел, как его бабушку погрузили в кипящую воду, над которой курился удушливый серный дым.

Сперва ее подтащили к обрыву и заставляли нагнуться над пропастью. Надышавшись серы, старуха потеряла

сознание. Ее облили водой, потом, обвязав веревкой, сбросили вниз, — в жидкую клокочущую грязь. Вытащили и снова сбросили. Вытащили опять, и так много раз. Наконец, на шею ей привязали камень...

Кагэмон видел все это, потом вернулся в деревню.

...Мужчины вырывали ногти на пальцах, по одному каждый день. Потом, через день, сдирали с каждого пальца кожу. Потом — мясо. Наконец, отрубили суставы. На это ушло восемьдесят дней. Потом наступил черед пальцев на ногах. Ноги терзали больше двух месяцев.

В 1617 году по европейскому календарю, а по японскому летоисчислению — в третий год Гэмпэ, папа римский Павел V обратился с энцикликой к верующим японцам. Через три года его послание дошло до Японии и тайно разошлось среди христиан. Для католиков всего мира это было вполне обычное послание. Но в Японии оно означало нечто вроде призыва к действию и, еще точнее, наставления для подпольного союза. В одной из ячеек этого союза, в *концларии* — общине Симабара, составили ответ на обращение папы. Письмо скрепили печатями посланцы деревень Арима, Ариэ и города Симабара. Еще через три года его отправили в Рим, вместе с письмами христиан Кюто, Осака, Нагасаки, Центральной Японии, острова Сикоку, области Оу...

Среди подписавших был и Сакуэмон Утибори из Симабары, в крещении — Паоло. Ему отсекали пальцы на руках и на ногах, завезли в безлюдную горную местность, где и оставили на голодную смерть, но каким-то чудом он уцелел и снова пошел от деревни к деревне. Он призывал тех, кто отрекся, вновь обратиться к истинной вере.

Тогда его схватили и утопили в «Адской долине». Перед смертью ему рассекали спину и поливали рану кипящей сернистой водой.

Тэскэ и Рокудзо, плотники из Ариэ, возводили башню в Главном бастионе замка. Кроваво-красный закат заливал алым светом и небо, и черневшую на фоне неба башню, и фигуры обоих плотников. Сейчас они крепили башенный сруб, сложенный из толстых сосновых бревен. Сверху им была видна не только вся крепость, но и близ-

ние деревни Фуказ и Сиохама на морском берегу; дальше, направо и влево от них, раскинулась ровная низменность, которую в часы прилива затопляло морем, потом она опять становилась мелкой, заболоченной лагуной. Вдали виднелись холмы Южной Арима... Вскоре их займут бесчисленные войска усмирителей плк, говоря словам Дзэнъэмона, войска «всего великого японского государства».

Тэскэ орудовал пилой, Рокудзо забивал в бревна железные скобы.

— Скоро я этой пилой не так поработаю, слышишь, Рокудзо...

— Пилой не повоюешь. Сломается.

— А я ее к поясу привяжу. Сначала уложу гада мечом, потом пилой голову отпилю...

Рокудзо даже крикнул, всем видом выражая крайнее отвращение, однако он хорошо понимал, почему Тэскэ так говорил. Не только Рокудзо — любой житель Аримэ тотчас появля бы его!

...Ровно десять лет назад, в самый разгар гошений на христиан, двести семь крестьян Аримэ неожиданно явились в город Симабара. Они подошли к усадьбе княжеского старейшины Мондо Тага и уселись перед домом на землю. Они попросили вернуть им письменное отречение от христианства, которое незадолго перед тем подписали. Крестьянин Кэндаэмон сказал за всех:

— Осмелываемся почтительно доложить — все мы раскаиваемся ныне, что приложили наши печатки к той бумаге, где написано отречение от веры. И желательно нам получить эту бумагу назад.

В числе просителей находился и плотник Тэскэ. Ни он, ни другие крестьяне никогда не были великими храбрцами. Просто они не могли поступить иначе... Не удивительно, что Мондо Тага рассвирепел.

Четверых мужчин и троих женщин схватили и осудили на смерть — им медленно отпилили голову бамбуковой пилой. Когда показалась кровь, рану присыпали солью и продолжали пилить...

Тэскэ отрекся во второй раз и был прощен.

Арестовали и казнили еще шесть человек вместе со старейшиней Аримэ. Они не были христианами, но были виновны в том, что посеяли смуту в деревне. Всех шестерых зарыли по шею в землю, а некоторое время спустя отпилили головы бамбуковой пилой...

Солнце уже закатилось, когда сруб был наконец закончен. Тэскэ и Рокудзо сидели на самом верху башни. Внизу, псевдалеке, была их родная деревня. Сейчас она топила в багрово-черном тумане. Там и сям к небу поднимались столбы огня. Крестьяне сами подожгли дома три дня назад, когда уходили.

— Хватит валяться в погах — довольно! Больше ничего просить не станем, как ту бумагу с отречением, — сказал Рокудзо.

В лицо им дул холодный порывистый ветер, но оба глядели весело.

У подножия башни продолжали совещаться руководители восстания — ронины, врачи, деревенские старейшины, богатые крестьяне, художник; почти все были старше пятидесяти. Добрую половину составляли ронины. Плотники ясно различали сверху головы собравшихся: у многих блестел выбритый в волосах крест.

Итак, на развалинах старого замка внезапно выросло удивительное стаповище, маленький город с немалым населением.

Сгущались сумерки, по повсюду продолжалась спешная работа. Все нужно было возводить заново — жилища, башни, крепостные стены...

Внешний обвод состоял из толстых, переплетенных между собой бамбуковых стволов высотой в семь сяку и бревен, которые вбивали в землю. С внутренней стороны это мощное ограждение плотно обшивали досками — остатками разломанных лодок. Получалась сплошная стена. Через каждые два кэна¹ в досках прорезали амбразуры для мушкетов, через каждые четыре — наваливали крупные камни, а щели между камнями засыпали щебнем. Тут же были сложены луки, копья, сделанные из заостренного бамбука, боевые топоры, трезубцы, секиры...

На некотором удалении возводили вторую, внутреннюю стену. Когда возведение степ было почти закончено, припились за траншею. Сейчас устраивали настил из ветвей и травы над глубокой и широкой траншеей, опоясавшей Главный бастион.

¹ Кэп — мера длины 1,81 м.

Над Вторым и Третьим бастионами, над сосновой роццей бастиона Амакуса поднимались тонкие струйки дыма — там варили пищу.

Таскэ и Рокудзо загляделись на дымки. Кажется, сегодня им доведется поесть риса. А риса они не ели уже давным-давно... Но надолго ли хватит еды для тридцати семи тысяч человек? Надолго ли хватит стрел, ядер и пуль?..

В Кутиноцу, на княжеских складах, было захвачено пять тысяч коку отборного риса, вся годовая подать, да несколько тысяч мешков темного, низших сортов; бобы и круцу доставили другие деревени. На княжеских же складах было добыто пятьсот тридцать мушкетов португальской работы и несколько тысяч ящичков с порохом. Более сотни мушкетов имелось у крестьян-охотников.

А пока все это заботливо размещалось и укрывалось: строили хранилища для оружия, пороховой погреб, а также *госпитале*, сторожевые вышки и помещения для дозорных, множество легких хижин...

На складах в Кутиноцу вместе с оружием и рисом крестьяне захватили заодно и стражника. Они привели его в крепость вместе с семьей. Пришлось для него и для других заложников строить отдельный барак.

Вдруг, прямо под башней, где сидели плотники, словно из-под земли появились двое. Это вышли из порохового погреба Капъэмон и Собэй Медвежья Шкура.

— Ну что, закончили работу? — крикнул Собэй плотникам.

Рокудзо, не отвечая, следил взглядом за тем, что происходило внизу. Там продолжался совет. Вот они рассматривают большой бумажный лист, натянутый на дверную раму. На листе вычерчен крупный план замка и прилегающей местности, указано расположение каждого отряда, каждой деревни. Эмосаку спешно подготовил его.

Но вот отрок Сиро осенил себя знаком креста. За ним перекрестились и остальные, почти все. Кажется, совещание закончилось. Участники его начали расходиться.

Когда Таскэ и Рокудзо спустились вниз, к ним подошел Тюбэй Асидзука и поздравил их с завершением работы.

С Тюбэем рядом шел Эмосаку, беседуя с Гэпъэмоном. На совещании Гэпъэмон, точно приклеенный, сидел возле художника.

Под начало Эмосаку отдали один из отрядов Главного бастиона. В отряде было пятьсот человек. Отплыл он ве-

дал также продовольственным складом и еще при необходимости должен был сноситься с противником с помощью писем, привязанных к боевым стрелам, — «письмами-стрелами». Гэнъэмон стал начальником отряда в Третьем бастионе.

— Ну, Эмосаку! Скоро будет, я думаю, настоящая войша... — сказал Гэнъэмон.

Художник что-то невнятно пробормотал.

— А ты, как всегда, невесел...

— Нет, просто я... Ведь я — художник, понимаешь! Даже и здесь, сейчас, я прежде всего художник. Мне заказывают картину, и я пишу. Для кого — не важно. У меня были почти готовы картины для князя Мацукура и Моудо Тага... Не могу объяснить проще, по...

— Понимаю. Ты хочешь сказать, что если искусство, твоя живопись, к примеру, свободно и ничем не может быть ограничено, отчего же вера не может быть столь же свободна...

— Нет, не совсем так, по...

Впереди них шли Канъэмон и Медвежья Шкура, сзади — Тэскэ и Рокудзо. Они прислушивались к беседе, хотели узнать, что было решено на совещании.

— Мастер, ты помнишь, копейно, Сказдаю Минэ и Санъэмопа Баба из Кутипоцу? — продолжал Гэнъэмон. — Десять лет назад, когда их вели в «Адскую долину», оба они, перед смертью, сложили стихи... Вот стихотворение Минэ:

Так далека была
Страна побес высоких
Для взгляда моего.
Теперь конец дороги
Все ближе, ближе...

А Баба сложил:

Прощай, этот мир!
Чацоба страданий,
Прощай!
Обернулся. Гляжу
Туда, где родные места.

— Я помню...

— Значит, и для них поэзия была так же свободна, и в то же время...

— Может быть, ты и прав...

Он певольно понизил голос. Ни Тэскэ, ни Рокудзо, ни Канъэмон с Собзэем не поняли бы их, да и не захотели бы понять. Им не терпелось схватиться с врагом.

IV. Круги по воде

Над сосновой рощей бастиона Амакуса стоял закат.

Старая о-Соно разрешила окончить работу. Женщины уже раскладывали хворост для костров, несли воду (в крепости было четыре колодца).

По двое, по трое начали возвращаться мужчины, воздвигшие стены, строившие хижины, рывшие подземелья.

Шум работ постепенно стихал, только из кузниц по-прежнему доносился звонкий перестук молотов, еще сильнее выделяясь среди глухого ропота моря. Во всех бастионах замка — в Главном, Втором, Третьем, в бастионе Амакуса — ковали боевые секеры. Каждый кузнец должен был выковать по семидесяти секир, поэтому работа не кончалась и ночью.

Холм погружался во мрак, и оттого еще ярче светилось пламя в кузнечных горнах; то здесь, то там вспыхивали новые огни — крестьяне разводили костры и варили пищу. Холодный ветер уносил дым костров к морю.

Деревни Оэ, Арима и Ариэз были почти неразличимы во мраке.

Море словно затаилось, только шум волн, набегавших на берег, выдавал его близость.

Вверх и вниз по холму разгорались костры. Наверное, их было видно не только с островов Амакуса, но даже с дальнего побережья Хаго. Вокруг костров теснились повстанцы. Они оживленно переговаривались.

— Эй, о-Соно! — снимая крышку с котла, позвала о-Киё.

— Да...

— Погляди, хорош ли огонь.

— Сейчас.

К костру подошел Буинго, муж о-Киё.

— Все! Хижины готовы. Теперь мы будем почивать под крышей.

Наконец они расселись вокруг костров и приступили к ужину, прищелкивая языком от удовольствия. Ни разу, казалось им, они не ели ничего более вкусного, ибо могли есть, не боясь и не оглядываясь. Они ели свой рис без прикуса палого на очаг или котел.

Возле о-Соно сидел деревенский старейшина, носивший христианское имя Адриано.

— Скажите, господин Адриано, как она пойдет, наша война?

— Нужно продержаться месяца три. А там наверняка народ поднимется повсюду — и в Нагасаки, и в Тёсю, и в Сацума, и на Сикоку...

— Хорошо, если бы так.

Люди внимательно смотрели ему в лицо, боялись проронить хоть слово.

К костру подошли Тюбэй Асидзука и врач Гэйсацу Аидзу из Ояно — с ними был знакомый рослый человек лет пятидесяти в белой одежде. Тюбэй и Гэйсацу представили незнакомца — бывший самурай дома Курода по имени Дзюдаю Курахати. Назначен в охрану этого бастиона... Затем они распрощались: ну, господин Дзюдаю, до завтра...

Сидящие у костра недоумевали. Незнакомец в белой одежде, по которой прыгали блики огня, чем-то настораживал их. Кто такой? Неужели самурай?.. Тогда что ему здесь надо?

Ко всему, голова у незнакомца была обрита наголо, как у монаха. Если он буддийский монах, то с какой стати забрел к христианам? Но за поясом у него — меч, а за спиной — копье.

Незнакомец отрывисто заговорил:

— Меня зовут Дзюдаю Курахати. Прошу вас принять мою помощь. Хочу оставить по себе хотя бы малую память, прежде чем покончу счеты с жизнью. Я бежал из монастыря Коясан *, чтобы сражаться рядом с вами.

...Ну-ну, оставь по себе память, это твоя забота, а что бежал из монастыря и добрался к нам, в дальнюю даль, — что ж, за то спасибо... Потеснившись, они освободили ему место поближе к огню.

И все-таки они не доверяли словам этого человека. Не мог же он только ради них бросить свой монастырь! Они слишком хорошо помнили проделки буддийских святош, которые всегда были заодно с властями, пользовались их поддержкой и уж ни разу не пропустили случая урвать себе кус — и все они были такими, эти монахи.

Правда, от монастыря Коясан, главного в секте Сингон, им приходилось терпеть немного меньше, чем от монастырей других сект, — например, Икко или Хокэ *, монахи которых отличались высокомерием и жестокостью. Впрочем, по учению *дзуса*, все буддисты — язычники...

Для чего же этот бонза вырядился в белое, точно повстанец? Пронзительный взгляд его глубоко ввалившихся глаз, мрачная злость, горевшая в них, — влипли неприятно и даже невольный страх.

Всего две-три недели назад они беспощадно расправились со многими односельчанами, которые некогда отреклись от христианства, а теперь отказались вернуться в лоно веры, или же всегда были буддистами и не желали обращаться в христианство. Некоторых взяли в заложники и привели сюда. Здесь их заставляли принять христианство и нередко угрожали смертью, так что военачальникам или руководителям восстания, проходящим мимо барака для заложников, не раз приходилось вмешиваться и охлаждать спокойным словом горячие головы...

— Вы правы, не доверяя мне... — вновь заговорил припелец. — По виду я монах, а за поясом ношу меч. В его речи слышался легкий акцент, свойственный уроженцам Хаката.

О-Соно вдруг подняла голову.

— Так, значит... — Она загнулась. Припелец повернулся к о-Соно; запавшие глаза его ярко блеснули в свете костра. — Так, значит, вы тот самый Дзюдаю, что поссорился с Дайдзэном Курияма, когда Курода ввалил в немилость у сёгуна в Эдо?.. Вы и есть тот самый Дзюдаю Курахата?..

Великан сгорбился, бритая шипиковатая голова его попикла.

— Да, это я.

— Вот оно что! — О-Соно кивнула, как бы отвечая самой себе.

Большинству этот короткий разговор остался непонятен. Да и откуда было понять его людям, не знавшим всю свою жизнь ничего, кроме изнуряющего труда на тонких, отвоеванных у горных склонов, полях. Однако даже и среди них нашлись такие, кто знал, о чем речь, и повторили вслед за о-Соно: «Вот оно что!»

— Значит, вы и есть тот самый господин Дзюдаю. Очень вы изменились, даже и не узнать.

Но, хотя старая о-Соно признала незнакомца, остальные продолжали напряженно молчать.

Много лет назад Дзюдаю Курахати был самураем князя Курода, его отец начальствовал отрядом княжеских пехотинцев — асигару. Князя Курода были христиане.

Князя Симопа Ёситака сменил князь Дамиано Нагамаса, но к этому времени их вера начала ослабевать, и сын князя Дамиано — Тадаюки уже не был христианином. Дзюдаю приглянулся молодому князю — человеку хотя и не глупому, но беспутному, падкому на дерзкие выходки, и вскоре сделался его любимцем.

Тадаюки вовсе не был темным и тупым самодуром; он любил красивую одежду и утварь, хорошую еду, изящные искусства. Но религиозные церемонии он предал забвению, а порядок и дисциплина среди его слуг постепенно пришли в упадок.

Теперь никто более не слушал старшего самурая и советника Дайдзэна Курияма — и сам князь, и его любимец предпочитали оказывать старшему самураю, как говорится, «почтенье на расстоянии»... Дзюдаю дважды допустил несправедливые решения, и Дайдзэн представил князю доклад, состоявший из двадцати пяти разделов, в котором порицались действия Дзюдаю.

Однако князь оставил доклад без внимания. Дайдзэн подал и отставку, и на его место был назначен княжеский любимец. Когда же в Кумамото прибыл полномочный посол сёгуна Иэмцу, князь послал на встречу ему Дзюдаю. Посол, однако, не принял Дзюдаю, по недостаточной его знатности.

Разгневанный Тадаюки насмерть зарубил какого-то невежу, болтавшего об этой неприятной истории на городских улицах. Вскоре Дайдзэн Курияма направил жалобу правительственному маэкаэ в Кумамото. Он утверждал, что князь замыслил измену.

Тадаюки вызвали в Эдо, Дайдзэна тоже. Началось расследование. В конце концов выяснилось, что измены князь Курода не замышлял, но поскольку против него возникло обвинение, и к тому имелись некоторые основания, князя Курода следовало бы лишить его владений; однако, помня о ратных подвигах его предков, а также в надежде, что молодой князь возьмется за ум, ему оставили его поместья.

Жалобу Дайдзэна сочли отчаянно смелым поступком, на который он решился однако же единственно для блага дома Курода, а потому дело для него кончилось приказом навсегда уехать в Морнока. Что же до Дзюдаю Курахати, то ему повелели постричься в монахи.

Такова была история «Смуты в доме Курода».

— Господин Дзюдаю был раньше христианином? — спросил старейшина Адриано.

— Нет. Правда, я хотел как-то, чтобы меня называли Грегорио Дзюдаю, но потом...

— Отреклись?

— Да.

— Ну что же! Здесь мы все, как говорят, семь раз падали и восемь — вставали... Таплись, кто как мог и как умел. Зарывались в землю... Выходит, теперь у нас буит кротов, да и только! — Адриано засмеялся.

Остальные подхватили его смех. Раскаты смеха отдавались в сосновой роще, а оттуда точно падали с обрыва в море.

— И все-таки, господин Дзюдаю, — проговорила о-Соно, поправив огонь, — с чего это вам вздумалось уйти из монастыря и забраться в такую даль, на самый край Японии? И для чего, спрашивается? Помогать в бою голодным крестьянам?

Люди у костра снова насторожились. Они никак не хотели принять в товарищи этого человека, который был столь похож на буддийского монаха. В их общину — *конфларию* — на равных правах входили и старейшины, и бывшие самураи, и простые крестьяне. Как бы ни был знатен человек, двери *конфлории* не откроются перед ним так просто: привычка долгих лет — защищаться от преследований властей — сдерживала всех.

— В монастыре очень быстро узнали о вашем восстании.

— Видно, что быстро!

— В Кюсан знают обо всем, что происходит в стране, так как у них есть почтовая конная связь...

— Еще бы! Монахи узнают обо всем даже раньше самураев; у тех ведь на уме только одна забота — чести не уронить... — подхватил Адриано.

О-Соно прервала его:

— Вы так и не объяснили нам, господин, для чего покинули монастырь?

— Князь Нагамаса Курода был человек великой души. Своего отца, князя Симона Ёситака, он похоронил весьма достойно, заупокойную службу правили христианские *падре*, а в память об усопшем воздвигли большую церковь в Хаката... Князь и вассалам своим не раз советовал приять христианскую веру, но при том он умел по

обидеть и буддийских монахов. Но всему приходит конец, и однажды наш князь приказал *надре* удалиться на остров Амакуса, а церковь была разрушена...

О-Соно кивала головой, как бы подтверждая его слова.

— Вот так и случилось... — Дзюдаю замолчал и опустил голову.

«Какой мутный у него взгляд!» — подумала старуха о-Соно.

Случилось так, что, когда минуло время Нагамаса, князем стал Тадаюки, и Дзюдаю очертя голову кинулся в водоворот интриг. Но твердый и решительный Дайдзэн Курияма разгадал его. Одним прыжком Дзюдаю был выброшен из игры и обречен на затворничество в монастыре; тягаться с Дайдзэном по части интриг ему оказалось не по силе.

— Так что же случилось? — допытывалась о-Соно.

— А то, что я подумал: чем против воли закончить жизнь в дурацких словопрениях с бонзами, лучше уж сложу свою голову здесь... Тогда я тайком спустился с горы, и вот — пришел к вам.

— Пришел — и удивился, разве не так? — засмеялся Адриано.

— Да, очень удивился... — подтвердил Дзюдаю, и вместе с языками пламени к небу взметнулся громкий смех. В представлении Дзюдаю, крестьяне и впрямь всегда были угрюмыми, забитыми существами.

— Все это хорошо, господин Дзюдаю, но только если вы надеетесь с нашей помощью пролезть в большие люди, то это напрасно — ничего у вас не выйдет! — резко проговорила о-Соно.

— Я понял тебя. Но и ты пойми меня. В монастыре я был простым отшельником, а сейчас я — дважды отшельник, я отказываюсь от жизни впотьам и навсегда.

— Вот, значит, что у вас на уме...

Старая о-Соно пропикала в самую глубь его мыслей. Теперь Дзюдаю понял, почему Тюбэй почти не расспрашивал его и быстро ушел, поручив заботам о-Соно и Адриано.

— Возвращаешься к вере молодых лет, хочешь умереть вместе с нами? — пробормотала о-Соно. — Может быть, может быть... Недаром из-за тебя чуть не вышла смута в доме Курода.

В последних словах прозвучала язвительная насмешка

ка, однако на этом дознание закончилось. Люди снова принялись за ужин, и Дзюдаю ел паровне со всеми.

Пройдет время, и Дзюдаю, возможно, сойдется лицом к лицу со слугами прежнего своего господина, князя Тадаюки Курода.

В тот же час *конфлария* деревни Ариэ также принимала нежданных гостей.

Старик лет шестидесяти и с ним несколько молодых людей приплыли в сопровождении Дзимбэй Масуда и Кюи из Ариэ, одного из пяти верхних воепачальников. Тэскэ и Рокудзо, сидя чуть в стороне от костра на большом плоском камне, издали наблюдали за ними.

Услышав, откуда прибыл старик, оба вытаращили глаза от удивления. Оказалось, что он и его спутники приплыли в крепость с острова Танэгасима на небольшой посудине. Правда, сегодня к ним прибыло несколько лодок, но ведь то были лодки с островов Амакуса!

— С Танэгасима! Вот это молодцы! Вот это здорово! — восклицал Тэскэ, победно глядя на Рокудзо, но тот онемел от удивления.

— Слушайте все! — закричал Дзимбэй. Он взобрался на деревянный ящик. — Слушайте хорошенько! Гость наш господин Тээмон Минаэси вместе со спутниками своими встал по воле *дэуса* под наше знамя.

Конфлария приветствовала его речь во всю мощь четырех с половиной тысяч голосов. Казалось, вместе с искрами костров к темному небу взметнулись потрясенные людские души. Так накануне решающей битвы воины взбадривают себя боевым кличем.

Дзимбэй и Кюи переходили от костра к костру, подробно рассказывая всем о вновь прибывших.

— Ведь не откуда-нибудь, а с Танэгасима! Из самых дальних краев... Даром что старик! — восхищался Тэскэ, но Рокудзо продолжал молчать — он слушал рассказ Кюи из Ариэ.

— В земле Сацума, в доме князей Симадзу, жила благородная госпожа по имени Катарина Эсюнни. Приходилась она родною дочерью князю Юкинага Аугустипо Коиси...

Вот их история. Обе дочери госпожи Эсюнни вышли замуж за тамошних самураев. Но десять лет назад, когда

в Эдо стало известно, что Эсюини — христианка, ей приказали вернуться на родину, в селенье Катано, отвести там небольшую усадьбу и запретили общаться с кем бы то ни было. Бывшие христиане, жители Осака, вопреки запрету, стали навещать госпожу Эсюини, и тогда, три года назад, ее сослали на дальний остров Танэгасима, разрешив взять с собой двадцать слуг. Там она жила в хижине, среди поросшей дикими травами равнины, неподалеку от городка при замке Ниси-но омота. В числе ее слуг находились и Тёэмон Минаёси и все пять его нынешних спутников. Они-то и заметили, что этой зимой охрана острова была усилена.

«К чему бы это?» — подумали они.

В ту пору из Амакуса на остров вернулось рыбацье судно. Рыбаки принесли весть о разгроме замка Томюка на острове Амакуса.

Тогда Тёэмон с товарищами распрощались с госпожой Эсюини, похитили небольшую лодку и пересекли бурное зимнее море. (Тёэмон Минаёси был когда-то самураем Коппси. После того, как род Коппси прекратился, он уехал на юг, где служил дому Симадау.)

Удивительный монах из Коясаи и старый Тёэмон, приплывший сюда с далекого Танэгасима, были не единственными, кто пришел на помощь восставшим, к ним уже присоединилось свыше пятидесяти роншинов.

Ничто не распространяется с такой быстротой, как весть о возмущении против властей.

В крепость стали стекаться люди. Многие самураи после битвы Сэкигахара потеряли своих господ: многие владения, большие и малые, перестали существовать или же были сильно уменьшены, а господ выслали в другие края.

Крепостью руководили почти одни только бывшие самураи Коппси или Арима.

Сидя на деревянном ящике, Тёэмон слушал, как тысяча человек на португальском и латинском языках молится о нем и его госпоже — Катарине Эсюини. Люди молились безбоязненно и открыто: такого не было со времени появления в Японии христианства.

«О, госпожа моя, какой успех, какое торжество! — думал старик. — Нет, подобное не повторится больше до конца света! Просто не верится, что свершилось это чудо».

Но не одна только *конфлория* Арима, — все *конфлории* творили в этот час вечернюю молитву: повсюду, в Глав-

ном, Втором, Третьем, в бастиипе Амакуса, у внутренних и внешних ворот, в каждом форте и рavelине молчались тысячи людей. Голоса их ликують и скорбят вместе: ликуют — приветствуя обновление мира, скорбят — в предчувствии близкого конца света, скорбят, желая, чтобы этим предчувствием прониклись все. Голоса расходились и сливались, как круги на воде, они папиливали всю землю, и море, и небеса. Истосковавший в долгой ссылке и ко всему еще измученный морским переходом, старый Тээмон Минаэси плакал. И никто не удивлялся этому.

Дзюдаю Курахати был растерян, пожалуй, даже ошеломлен. Но и этому не приходилось удивляться; он, проживший лучшие годы жизни на неравную борьбу с Дайдзэном, этим интриганом и негодием, — таким, во всяком случае, считал его сам Дзюдаю, угодивший, но его милости, в монастырское заточение, увидел теперь такое, чего и не подозревал в этих людях. Он оказался среди расходящихся кругов. А старая о-Соно, и о-Киё, и ее муж Бунго, и Андриано, и художник, и Кинсаку «Попади в плу», и крестьяне Дзизэмон и Наокити, и Собэй Медвежья Шкура, и плотники Рокудао и Тэёка — были средоточиями этих кругов, и каждый из них по-своему ощущал мощь собственного голоса, когда эти круги, набегая друг на друга, обращались в мощные волны... Скоро, очень скоро волны прихлынут к стенам, которые Дзизэмон Яма нарек всем великим японским государством.

*V. «И малая искра может зажечь равнину...» **

Ночь. Густые тучи сплошь закрыли небо. В доме, обведенном земляной насыпью, в центре Главного бастиипа, шло совещание военного штаба и совета старейшин. Эмосаку Ямада не был членом совета старейшин, но и он присутствовал на совещании — как начальник отряда, — правда, покамест его отряд состоял всего лишь из безоружных крестьян. Пять военачальников и одиннадцать старейшин, почти все — ровни, сыновья вассалов, служивших некогда «христианским князьям» Арима и Юппен. Многие из них, войдя к крестьянам в доверие, заняли постепенно видное положение в деревенских общинах. Почти всем им уже перовалило за пятьдесят.

Для участников совещания религиозные тонкости особого значения не имели — во всяком случае, пока восстание только готовилось. Тогда вера служила, скорее, средством, с помощью которого они рассчитывали поднять людей. Но вот эти люди пришли в крепость Хара, и старейшины вспомнили, как в свои молодые годы приняли они христианство и какое удивительное действие оказала на них новая вера, — ибо исконным японским верованиям * христианство нанесло удар более осязаемый, нежели явившийся некогда из-за моря буддизм. Забытые, казалось, времена и события вновь приходили на память.

Когда совещание окончилось, и все принялись вспоминать недавнее сражение в городе Симабара и взятие замка Томпока, Эмосаку встал и тихонько выбрался наружу.

Шагнув за дверь, он остановился, пораженный.

По черному небу проносился холодный ветер. Темные холмы, за которыми угадывалось холодное, угольно-черное море, были усеяны сотнями огней. Он вспомнил изречение: «И малая искра может зажечь равнину...» Каким бы слабым ни был огонь, пусть это всего лишь луч крохотной звездочки — от него может вспыхнуть и запылать равнина; какой бы слабой и беззащитной ни казалась степь, она может покорить своей властью весь мир, если только это не поддельная истина — вот что означают эти слова. Их смысл равно относится и к искусству, которому он служит, и к вере христианской, в чье лоно он слова вернул. Ведь и Христос, и святая Мария были простыми людьми, а Христос принял смерть на кресте, чтобы завоевать для людей весь мир...

Что такое «завоевать весь мир», Эмосаку начал сознавать также благодаря своей работе. Японцы понятия не имели о новой живописи. А он уже знал, какая трудная борьба неизбежно предстоит всему новому, небывалому, пока оно разовьется и пустит прочные корни в сознании людей, пока не станет привычным, само собой разумеющимся. Но он еще не знал — смогут ли эти огни, вокруг которых сейчас толпятся тысячи людей, — огни, пылающие так ярко, что еще миг — и, кажется, от них, вспыхнет и запылает все окрест — смогут ли они когда-нибудь завоевать весь мир?

Он шел ссутулившись, охваченный непонятным полнением.

— Уловая на чудеса, творимые перой и господа нашего... — то и дело слышал он на совете.

Подобными заклинаниями его не уедишь. Он чувствовал, что вожди восстания просто-напросто используют веру, как средство в борьбе. Что для них люди? Безгласные, безвольные, слепые существа. А ведь каждый — да, именно каждый человек, — и есть та самая малая искра, которая способна зажечь равнину! Что до Сиро, то он вовсе не казался Эмосаку мудрым вождем. Да, он готов признать за этим Сиро недюжинные способности. Но, что бы там ни говорили, Сиро всего лишь семнадцатилетний юноца! Вот и сегодня, на совете он не проронил почти ни словечка.

Еще в Нагасаки Эмосаку приходилось немало слышать о нынешнем их вожде. Ребенком Сиро пребывал в пажках у господина Ханводзэ Сусами, самурай князя Хосокава, потом отправился на учебу в Нагасаки — ему было тогда лет двенадцать или тринадцать. В Нагасаки Сиро служил в торговой фактории у китайских купцов. Он и там выделялся способностями, прекрасно умел писать; сказывали, что хозяева-китайцы не могли нахвалиться им.

Все это так, но чтобы возглавить крестьянскую войну... Правда, Эмосаку слышал, будто на просьбу принять обязанности верховного вождя, Сиро ответил, что слишком несведущ в военном искусстве и вряд ли сможет слотить и повести за собой столь многочисленные отряды, а главное — сомневается, что крестьяне и рыбаки, люди бывалые, станут слушать советы не умудренного жизнью отрока...

Но более всего Эмосаку не нравился ореол сверхъестественности, которым остальные вожди восстания окружили имя Сиро.

В «Последнем зеркале» говорилось, что незадолго до Страшного суда придет в мир посланец божий, благодатью отмеченный отрок; сей отрок, не учась, превзойдет все науки и сможет творить чудеса... И — пополнили удивительные слухи. Будто однажды Сиро прочел молитву над куриным яйцом, и в яйцо оказался свиток Священного писания, что как-то раз он переломил ветку, на которой сидел воробей, и тот даже не шелохнулся. Его, Эмосаку, который стремился запечатлеть мир таким, каким он его видел, этот обман раздражал.

Сиро приписывали разные чудеса из евангельских

историй об Иисусе Христе, едва не уподобляя его Христу или даже деве Марии. Красное, несмотря на следы оспы, лицо юноши и приятные, мягкие маперы, неожиданные для сына провинциального роншиа, способствовали этому.

Среди повстанцев выбрали около двух десятков красивейших юношей и девушек и назначили в свиту Сиро. В их числе была и единственная дочь Эмосаку — о-Кики; художник не сделал высшей для себя честью подобное назначение.

Спору нет, Сиро был и вправду хорош собой. Все кругом ходили в белой одежде — белые куртки, штаны, накидки. Только Сиро всегда носил черную куртку и безусловно белые хакама;* сочетание белого с черным, красное лицо и короткий меч за поясом производили сильное впечатление. Его наряд стоил любого, самого пышного облачения. Эмосаку ясно понимал — чем безнадежнее станет положение восставших, тем больше упований будут возлагать люди на этого красивого юношу. Пока, однако, и сам Сиро, и остальные начальники выглядели в глазах Эмосаку чуть-чуть смелше; и сколько ни старался художник прогнать от себя это чувство, ничего не выходило. Не мог он увидеть в Сиро ни Иисуса, ни Ямато Такэру*, ни святую Марию... Вождь! Ни у одного нет пристойных доспехов — ни лат, ни плема...

Эмосаку шел, изредка обмениваясь короткими приветствиями с людьми у костров. Вот и его хижина.

Как начальник отряда, Эмосаку жил в отдельной хижине.

У входа, возле небольшого, тускло горевшего костра, прямо на земле сидела его семья. Впрочем, не вся — Гопноска, младшего сына, не было. У огня сидели старший сын Васаку, дочь о-Кики, только что вернувшаяся, и жена о-Тиё.

Он молча остановился возле костра. О-Тиё удивленно на него поглядела. На голове Эмосаку красовалось нечто невообразимое, некое подобие плема, сплетенного из грубой соломы; держалось это сооружение с помощью тонко расщепленных бамбуковых палочек и завязывалось шнурами под подбородком. Впереди торчало традиционное украшение — рогатый полумесяц, но не из металла, а из дерева.

Эмосаку пошел плем с некоторой неловкостью. Копенпо, повстанцы старались изо всех сил, положили все свое

умение, только вряд ли деревянный этот полумесяц способен устранить врага. Шлем ему выдали сегодня на совете, так же как и всем другим воспачальникам. Чтобы изготовить эти шлемы, крестьяне не спали ночи: скольких трудов стоили одни только злополучные полумесяцы — сперва нужно расщепить дерево на пластины, а потом долго, с помощью крошечных ножей, вырезать из этих пластин полумесяц.

Хотя Эмосаку поставили во главе пятисот повстанцев, положению его оставалось неопределенным. Оттого-то и хижину он получил на отшибе, и семья его сидела у одинокого, едва тлеющего костра.

В начале событий Эмосаку, неуверенный в успехе, отказался присоединиться к повстанцам. Слова вернуться в христианскую веру — извольте, на это он готов. Однако принять участие в восстании... Он колебался. Для крестьян — причина и следствие находились в прямо противоположной зависимости. Чтобы не умереть голодной смертью, нужно поднять восстание, а начать его надо с возвращения в заморскую веру. Так возникло то, что вскоре назвали христианским бунтом.

Между тем первой и главной причиной восстания послужил голод. Были, правда, среди повстанцев случайные люди, которые присоединились к ним в общей неразберихе и смуте либо под угрозой меча или копья.

Однако, очутившись в крепости, среди множества себе подобных, каждый внезапно почувствовал себя неотъемлемой частицей этой огромной общины, и каждый, подчас и сам, не отдавая себе в этом отчета, стал искать, в чем же причина всеобщего единства и его собственного участия; тогда-то соотношение причины и следствия изменилось для них коренным образом — стало прямо противоположным изначальному.

Когда крестьяне нагрянули в дом Эмосаку, он пытался протестовать. Крестьяне настаивали: раз он возвратился в христианскую веру, стало быть, он должен участвовать в восстании. Иначе ему не искупить греха отступничества. Вернуться к христианству и участвовать в восстании — одно и то же, доказывали они.

— А если это восстание приведет нас к гибели? — не сдавался Эмосаку.

— Тогда мы все умрем,— наперебой отвечали ему.— Умрем вместе, и вновь возродимся к жизни в *парайсо*, где цветут сияющие лотосы *. Там мы все обречем вечное блаженство.

И еще они говорили:

— Отрок Сиро — новый Есицуна, а Тюбэй Асвдзука — его мудрый и храбрый оруженосец Бэйкэй *. С ними нам ничего не страшно. Пусть мы даже все погибнем, потому что сложат о нас такие же прекрасные сказания и песни, как о Есицуна. А ведь нет большего счастья, если после твоей смерти в твою честь поют песни.

Эмосаку никак не убеждала эта незамысловатая логика. Зато она вполне устраивала и крестьян, стоявших на грани голодной смерти, и рокинов, все более жестоко преследуемых набиравшей силу столичной властью.

Кончилось тем, что он услышал:

— Поджигай!

— Давай сюда огонь!

Но подошел Гэньэмон Оэ и успокоил их.

— Еще есть время для размышления,— сказал он.— Вот, взгляни-ка.— Он расстелил большой кусок белого атласа.

Ткань, украшенная хризантемами и свастиками *, была великолепна, настоящий заморский атлас. Гэньэмон хотел, чтобы Эмосаку нарисовал на нем картину. Тема — на усмотрение художника.

— За работой у тебя будет время подумать хорошенько...— добавил он.

— Что я должен рисовать?

— Я ведь сказал — все, что хочешь. Только чтобы это выразило нашу веру и дух нашего восстания.

Между тем крики и шум на улице не утихали.

— Берегись, мастер Эмосаку, сейчас все разнесем!

— Поджигай!

— Пали его дом!

— Смерть ему!

Крестьяне вооружены были дубинками, серпами, мотыгами, топорами, влами, у некоторых были даже мушкетеры.

— Хорошо,— спокойно проговорил Эмосаку.— На эту работу мне потребуется три дня.

— Отлично.

Трое суток Эмосаку работал не покладая рук и все это

премя думал, что может послужить для восставших убедительным символом их веры.

Быть может, чаша с изображением креста и святое облатки, пылыми словами — святыне дары, причащаясь которым, верующие как бы вкушают тело господне? Да, только это, и ничто другое. Ведь в этом воплощена главная идея римской католической церкви.

Чашу он изобразил бледно-золотой, применив тот же прием, какой употребляют, гравировав по меди; написал ее как бы скользящей кистью. Двух ангелов, преклоняющих колена, написал камышовой кистью, а чтобы усилить ощущение стремительного полета, оставил петропунтым первичный контур рисунка и ярко оттенил освещенные места. В этот раз он работал темперами.

Заключив картину, в верхней части полотнища сделал надпись по-португальски: «Восславим священное тело господне».

Он остался доволен. Картина вышла превосходной, хотя времени было мало. Однако чем совершеннее казалась ему работа, тем сильнее щемило сердце.

Увидев картину, Гэпэмон молча, с чувством, перекрестился, как бы благоговей перед тем, что было изображено на атласе.

— Это знамя поможет нам добиться единства, — решительно сказал он.

Так и было, знамя выразило главную идею, воодушевлявшую всех.

Создание Эмосаку внушало трепет. Трепет, который повольно охватывает каждого при виде произведения искусства, где идея нашла свое законченное выражение...

Между тем, в первый же из трех дней в доме не стало Васоку, его старшего сына. Он был взят заложником. Угнали и их лодку...

— Я должен спешить, поскорее отнесу твоё знамя в штаб. Желаю здравствовать.

Гэпэмон больше ничего не сказал, но после его ухода Эмосаку принялся молча собирать кисти. Рядом, так же молча, собирала пожитки жена, младший сын Гонносэ и дочь о-Кяку.

Эмосаку сложил пузырьки с ореховым маслом и другие рисовальные принадлежности в глиняный сосуд и зарыл его у пригорка за домом. Сверху для приметы положил

большой камень. Китайскую курильницу Танской эпохи он тоже зарыл. Шпрмы, заказанные Мондо Тага, вместе с другими шпрмами — их заказал один из самураев Мацукура — спрятал в каменный амбар, вход замуровал глиной...

Когда все это было сделано, Эмосаку, о-Тиё, Гоппоска и о-Кюку молча присоединились к повстанцам.

Итак, Эмосаку поставили во главе отряда; его приказам должны были подчиняться пятьсот человек, но положение его по-прежнему оставалось неопределенным. Правда, когда он с семьей прибыл в замок, Васаку освободили. Зато вместо него увели младшего сына: старейшины деревни Кацуса Скээмон и Самбэй все еще не доверяли художнику...

Огонь в костре то всыхивал, то слабел. О-Тиё с удивлением продолжала смотреть на страшный головной убор мужа.

При свете дрожащего пламени, пагнувшись над костром так близко, что огонь чуть не опалял ему брови, Васаку читал матери и сестре какую-то книгу.

— Читай, читай... — сказал Эмосаку.

Поодаль, у другого костра, несколько человек, назначенных на работу в склад провнанта, готовили рисовые лепешки. Эмосаку подошел к ним и распорядился отложить работу до завтра.

— Вот только закончим то, что осталось в котле...

Крестьяне вряд ли догадывались о том, что творилось в душе Эмосаку, но больше они не питали к нему враждебного чувства — ведь он пришел сюда вместе со всеми и поставлен над ними старшим. Многие даже сочувствовали ему.

Он снова вернулся к костру. Некоторое время Васаку продолжал читать вслух, потом оторвался от книги, взглянул на отца:

— Что означают слова «*контемпту мунди*», отец?.. Они встречаются очень часто.

Эмосаку веткой поправил огонь в костре.

— Говори по-ученому, это означает презрение к мирской суете... Слово «*мунди*» означает наш мир, нашу жизнь. Как тебе известно, эта книга * написана для того, чтобы люди учились у Иисуса Христа, брали с него

пример и во всем ему подражали. Попробуй-ка прочти еще раз с начала.

Васаку приблизил книгу к огню. Написанная почти сплошь одной азбукой, без перерывов, она была напечатана с деревянных досок.

— И сказал господь: «Возлюбившие меня не будут бродить во мраке, свет вечной жизни откроется пред ними...»

Эмосаку слушал, и в нем поднималось горделивое чувство. Не головоломный китайский, а настоящий японский язык, и какой великолепный! Книга эта была напечатана в 1603 году, в Нагасаки. Всякий раз он заново поражался высоте чувства и глубине страсти, выраженных столь простым, столь обычным японским языком. Что за сравнение с темными, непонятными подчас буддийскими сутрами! Как точно передает чужеземную священную книгу безыскусный японский язык, понятный на слух, легкий, простой и вместе с тем такой прекрасный.

Первая глава называлась «De Imitatione Christi et Contemptu Omnium Vanitatum Mundi»¹. Воображение живо представило ему автора, нашедшего эти полные чувства слова, это могла быть госпожа о-Тама Грация Хосокава, или кто-нибудь из ее приближенных. Разве не удивительно, что книга, пришедшая в Японию издалека, через моря и океаны, вызвала к жизни такой совершенный японский язык, — он был сродни прекрасной живописи. Эмосаку дорожил этой книгой и хранил ее в каменном амбаре, но перед самым уходом, повинуясь внезапному порыву, сузил ее за пазуху. Эту книгу читает теперь Васаку, недавно выпущенный из барака заложников. А между тем Эмосаку до сих пор ни разу не советовал жене или детям принять христианство.

К костру на голос Васаку постепенно подходили люди.

— Утром не надейся дожить до вечера. Вечером не хвались, что увидишь день завтрашний. Будь всегда готов к смерти в душе своей...

Некоторые опустили па колени, как при молитве, в лохмотьях, в заплатанной рабочей одежде, они даже не успели сменить ее. А ведь были, схватив вилы вместо колья и присоединившись к повстанцам, и не помыслили ни о чем, кроме сытной еды или даже хорошей выпивки.

¹ О подражании Христу и презрении ко всеобщей суете (лат.).

— О перазумыпы! День единый, и то певедомо, суждено ли прожить вам, как же надеетесь вы на жизнь вечную...

Певучие, полные сдержанной силы слова глубоко запали в смятенную душу Эмосаку.

— Мужи науки, в гордыню своей полагающие, будто они в силах постичь веления неба, — насколько же превосходят вас простые люди, не мудрствующе лукаво, верные слуги господа... Откажитесь же от дерзкого желанья постичь все сущее... Ибо желанье это порождает смятение духа...

Все больше людей подходило к костру. И Эмосаку, еще минуту назад полный пасмешливого чувства к вождям повстанцев, сейчас, при виде этих коленапреклоненных крестьян, был невольно взволнован. А Васаку, который не проявлял до сих пор ни малейшего интереса к христианству, яростно сопротивлявшийся, когда за ним пришли, чтобы забрать в заложники, — Васаку как будто преобразился. Глаза его мягко светлились, что-то новое появилось в его взгляде... Внезапно он прервал чтение.

— Отец, что означает слово «*натура*»? — тихо спросил он.

— *Натура*... Это все, что нас окружает, природа... — так же тихо ответил Эмосаку.

Но в это время слушатели, решив, что молитва окончена, стали дружно возглашать:

— Восславим великое таинство святого причастия... Иисус-Мария, Иисус-Мария...

VI. Сон

Люди спали вповалку под открытым небом, вокруг костров, или в хижинах, сколоченных на скорую руку.

Возле одной такой хижины, обнесенной землей, ибо под ней хранился порох, бодрствовали Киссаку «Попади в иглу» и Собэй Медвежья Шкура. Днем они вместе с кузнецами чинили неисправное оружие, а ночью должны были сторожить пороховой погреб.

Разговор шел о недавней осаде замка Симабара.

— Так где же ты разжился медвежьей шкурой? — с некоторой завистью спрашивал Киссаку.

— Шкурой-то? — Собэй пожал плечами, так что качнулась свисавшая с плеча медвежья морда с оскаленными клыками, и залился смехом — он вообще был человек смешливого нрава. — Как взяли мы город да как попли подряд по уллкам и усадьбам, я и забрался на подворье к одному самураю. А вышло, что это дом Томнока.

— Да пу?.. Того самого, что ты подстрелил тогда в Фуказ?

— Правильно. Гляжу — в доме одни жепщивы да дети. Попрятались все в дальнюю комнату, в кучу сбились и трясутся. Там и лежала она, эта медвежья шкура... И так она мне понравилась!.. Да нет, думаю, для нашего восстания пользы в ней никакой. Ладно, пусть себе лежит, а женщины как завонят — не губи нас, а бери, что хочешь, — хоть эту шкуру, хоть что другое — все забирай, только уходи. Ну, я все же для верности несколько раз хорошенько переспросил — точно, мол, можно ее забрать? Несколько раз спросил.

Кинсаку покотился со смеху.

— Несколько раз, говоришь, спросил?

— А как же, несколько раз... Они мне сами и разрешили взять. Да только потом, гляжу, этих женщин, со всеми их детьми, берут в заложники. Все здесь теперь...

— В хижине? — пахмурился Кинсаку.

— Здесь, — упавшим голосом подтвердил Собэй. — Как видно, это те, кто после пришел, — их работа...

— Незадно вышло...

— Куда как нехорошо...

Он застрелил отца этих детей — главу семьи. И сейчас от всей души соглашался с Кинсаку.

Оба приуменьшили. Им было жаль женщин и детей, которых держали в бараке для заложников. Человек, убивший мужа, жалеет его семью. Возможно, это противоречит понятиям, установленным в мире, возможно, именно это и заставило их умолкнуть. Обои владело сейчас смутное, трудно поддающееся определению чувство.

С тех пор как все они заперлись в крепости, их жизнь круто изменилась. Ни Собэй, ни Кинсаку не нужно было больше высаживать рис на тощих полях или охотиться на зайцев. Это невольно заставило их едва ли не впервые задуматься о жизни и смерти и о собственном существовании. Ибо то, что было потеряно ими там, за стенами крепости, они обрели теперь в своем сердце. Жизнь в крепо-

сти привнесла им неожиданную свободу. Свободу духа, во всяком случае.

Охотники заговорили слова. Повели беседу о недавних схватках с самураями в их родных деревнях Фукаэ и Миэ и о падении на замок Симабара.

Это было месяца иолтора назад, в ночь на двадцать пятый день десятой луны. Стояла темная, безлунная ночь. В деревнях Антоку, Фукаэ, Фуцу, Ариизэ и Арима повстанцы жгли буддийские и синтоистские храмы, в зареве бушевавшего пламени расправлялись со священниками и жрецами. Некоторые жрецы слезно клялись, что примут христианство. В треске пламени прозвучал грозный боевой клич восставших. Когда же огонь запылал в соседних деревнях, боевой клич раздался снова, и сами они были поражены грозной мощью своих голосов. Кажется, они впервые осознали, как устрашающе может звучать клич, когда люди с оружием в руках собираются вместе.

В тот самый час другие, глядя сквозь мрак на пламя пожаров, слушали боевой клич восставших и трепетали от страха.

Это был отряд усмирителей во главе с Ядзаэмоном Томпока и еще четырнадцатью самураями. Отряд пришел на пятнадцати быстроходных лодках, в каждой помещалось около сорока самураев. Из оружия усмирители не взяли ничего, кроме палок, да еще приготовили веревки, чтобы вязать смутьянов; им и в голову не приходило, что дело обернется так серьезно.

На берегу их поджидали сотни повстанцев, не успела первая лодка приблизиться к берегу, как одного самурая убили выстрелом из мушкета. Тогда Ядзаэмон Томпока причалил свою лодку в укромном месте, вылез на берег и пробрался к деревенскому старейшине, старому своему знакомому. Он пытался через него воздействовать на крестьян, однако потерпел неудачу.

На обратном пути Томпока окружили повстанцы. Он зарубил одного из них, но тут Собэй выстрелил, и Томпока был убит наповал.

В городе Симабара поднялась паника. Горожане просили оружия, но наместник не соглашался на их просьбу, опасаясь восстания. Лишь после того как горожане выставили сотню заложников, им дали оружие. Однако христиане вместе с семьями успели тем временем уйти в близлежащую Арима.

В Фукаэ и Миэ безоружные повстанцы наголову разбили самурайские отряды Мацукура.

Прямых столкновений с самураями крестьяне старались избегать. Они исчезали при первом появлении воинов Мацукура. Когда самураи подходили к деревне, жители покидали ее все до единого. Но стоило самураям расположиться на привал, повстанцы тотчас на них напали. Когда же самураи оказывали сопротивление, крестьяне немедленно спасались бегством. Самурай выбивались из сил под тяжестью панцирей и шлемов. Вот уже двадцать с лишним лет, как они не посади доспехов. У некоторых до недавних пор вообще не было ни панциря, ни шлема, ни меча, приходилось в спешке раздобывать все это у городских оружейников...

В опустевших деревнях оставались только дряхлые старики и старухи, не успевшие уйти со всеми; молитвенно сложив руки, они просили о пощаде, клялись, что отрекутся. Иной самурай с искаженным от ярости лицом воззал меч в какого-нибудь старика, а через минуту, потрясенный, опускался на землю возле убитого; кожа да кости, вот беда-то — неужели это я убил его? Как бы жестоко ни обходились самурай князя Мацукура с крестьянами, все же и среди них не все были палачами по призванию... И когда тело убитого окостенело, они отворачивались, и бледность их не уступала, пожалуй, смертельной бледности жертвы. Ведь многие из свирепых воинов давно превратились в мирных чиновников княжеской администрации.

Старшие самурай Мондо Тага и Окамото и наместник замка Сямбэй разослали гонцов по всем деревням. Прибыл гонец и в Фукаэ, к старейшине Капъэмоу.

Рядом с Капъэмоном стоял Собэй с мушкетом наизготовке.

— Помнишь ли, как отца твоего Дзимпэя посадили в «огненный паланкин» и ты со слезами клялся отречься от христианства, на коленях моля о пощаде? Разве не так было? — обратился гонец к Капъэмоу.

— Было, но давно. А сейчас все переменялось, — отвечал Капъэмоу.

Собэй едва не прыснул со смеху, а потом поразился в душе — так резка была краткая отповедь старейшины. Когда гонец вышел, Капъэмоу, человек суровый и строгий, встретился глазами с Собэем, и оба усмехнулись.

На подмогу восставшей деревне Фукаэ приплыли крестьяне других деревень. Бой был нелегким. Самураи, решив, что победа осталась за ними, спокойно возвращались в замок Симабара. Но крестьяне погнались за ними, гнали до самых ворот, и они едва успели укрыться за крепостными стенами. Тогда повстанцы подожгли городские храмы и дома.

Начались волнения и к северу от Симабара. Жители Миэ уже готовы были присоединиться к повстанцам, но часть мужчин силою послали на подкрепление княжеского войска.

Крестьяне отправились к замку, молча сжимая оружие. Впервые за долгое время они держали его в руках, и это делало их молчаливыми.

Так в молчании они достигли западных ворот замка и там лицом к лицу встретились с повстанцами из Фукаэ. Никто не стрелял. Все молчали. Молчал и Кинсаку, знаменитый стрелок; многие здесь знали его.

Кинсаку медленно поднял мушкет, прицелился и — о, ужас! — выстрелил в самурая из княжеского отряда. Его выстрел послужил как бы сигналом — крестьяне мгновенно соединились с повстанцами. Правда, кое-кто из крестьян с перепугу убежал обратно в деревню.

Самураи укрылись в замке, но и там были сочувствующие повстанцам. Еще немного — и замок пал бы. Однако он устоял.

Крестьянки карабкались вверх по каменным стенам и поджигали паклю. Но замок не загорался.

Повстанцы снова бросились в город. Хватали все подряд — оружие, продовольствие, женщин...

Собаю досталась медвежья шкура.

— Для нас, охотников, оружие — дело привычное... — сказал Кинсаку.

— Это ты к чему? — не понял Собэй.

— К тому, что кроме мужиков-самураев никто здесь ни мечом не владеет, ни копьём, ни мушкетом...

— Ясное дело! — Собэй весело рассмеялся, и снова закачалась медвежья морда у его плеча.

— Не такое уж оно ясное! — упрямо и многозначительно повторил Кинсаку.

— Это почему?

— Да ведь люди, непривычные ни к мечу, ни к копьё, коли берутся за оружие да ещё пускают его в ход, стано-

пятыя самі на сябе не пахожы, словна дупна у них панзанку выворачываецца.

— Будет тебе! — Собэй снова захохотал.

— Ну, просто другими людьми становятся. Страх перед сильными да великими будто и не бывало!

— Гм... — теперь уже Собэй не смеялся.

— Давным-давно, в старые времена, и у крестьян были копы и мечи.

— Это верно.

— Но тут с легкой руки господина Тайко пошла «охота за мечами» *, и обезоружили мужиков. Все отобрали.

— Верно.

— И оружие теперь посят одни только господа.

— Тоже верно.

— Что же, так и будет, что крестьяне и горожане останутся безоружными: словно без рук?

— ?.. — На этот раз Собэй не спешил поддержать товарища.

— Вот и сдается мне, что они раньше, до «охоты за мечами», совсем другими были...

— Пожалуй. Но у крестьян, например, есть серпы, вилы, мотыги есть...

— Есть-то есть. Да только это совсем для другого дела нужно. С серпом и мотыгой или, скажем, с пилой хорошо идти в поле или в лес. А с мечом и копьем хорошо на человека ходить...

— Правильно.

— Одно дело — когда ты вооружен, а другое — когда безоружен. Совсем по-другому думать начинаешь...

— Верно.

Оба помолчали.

— А мне, правду сказать, не нравятся христиане, — внезапно проговорил Кинсаку.

— Отчего?

— Слишком уж страшной смертью у них умирают. И мучают-то их, и пытаются, ужас!

— Ужас! Но слышал я, так уж у них заведено — как бы тебя ни мучили, а на господ руки не подними — грех. Им велено принимать муки и в муках умирать.

— Это мне не по душе, — заявил Кинсаку, привыкший оружием добывать себе пропитание.

— И еще у них, говорят, запрещено убивать...

— Слышал. Да только...

И снова оба умолкли. Много стояло за этим молчанием. Они думали и о жестоких притесненных властей, и о собственных жестоких поступках, совершенных в пылу борьбы, когда началось восстание.

Из основной рощи долетали слова латицких молитв.

— Пришли мы сюда... — начал Сэбэй, вступая в разговор.

— Вот-вот, оно самое... — громко подхватил Кинсаку. Люди бывалые, охотники, они понимали друг друга с полуслова. — Вот-вот, и про это и говорю...

— Угу... Держим оборону, а как пойдут на нас с мечом, все здесь головы сложим.

И снова наступило молчание, еще более глубокое в сгустившейся темноте ночи. Смокли молитвы, многочисленные костры начали угасать.

Если бы понадобилось, то и Сэбэй и Кинсаку были готовы на мученическую смерть, хотя, в сущности, сердца их восставали против этого; вера и верность не всегда закрывают от того, кто что любит и что ненавидит.



С каждым днем все больше людей в крепости обращалось в новую веру. Даже заложники, даже буддистские и синтоистские священники принимали христианство.

— Давай-ка спать...

— Что ж, поспим.

Они вошли в хижину и укрылись медвежьей шкурой Собэя.

Кюэмон, старейшина деревни Северная Арима, и Дзэнъэмон, староста Южной Арима, и крестьянин Иаокити, и плотники Таскэ и Рокудзо, и беглый монах Дзюдэю Курахати — все спали глубоким сном. Спал Тээмон Минайэси со спутниками, спали лекари Гэнсацу и Кюи, спали Тюбэй Асидзука, Дзимбэй Масуда и другие вожди повстанцев, спала в баштоне Амукуса старуха о-Соно вместе с о-Киё и Бунго. Более тысячи женщины с детьми спали в



длинных траншеях, обнявшись и привжавшись друг к другу.

Тридцать семь тысяч человек спали глубоким сном, оставив бодрствовать лишь немногочисленных часовых и дозорных. Спал и отрок Сиро.

Только Эмосаку не спалось. А в Главном бастеоне, в одной из ниш, с открытыми глазами лежал Гэньэмон Оэ.

Приутих на короткое время звон стали в кузнице. Но вот он снова поспея к ночному небу; ясный и прозрачный, он отчетливо слышался в ропоте морского прилива. Потом снова замолк.

Византо Гэньэмопу почудилось, будто сонное дыхание великого множества снятых в замке людей, похожее на отдаленный шум бушующего моря, надвигается на него, подобно какому-то огромному живому существу. И он в ответе за них, за этих снятых. Он поднял их и привел сюда, в эту крепость. Дрожь пробежала по телу. Ему стало холодно. Сонное дыхание тысяч людей давило на уши, билось, сжимая виски.

Снова громко зазвенела сталь под ударами молота. Издали было видно, как разлетаются искры. Гэньэмон приподнялся и сел на постели. Рядом крепко спали Дашмбэй Масуда и Тюбэй Асидзука — старики...

Тысячи людей спали, укрывшись за стенами крепости. Их упования, их мольбы, все, что таилось в этом всеобщем сне, — неужели они ни до кого не дойдут, неужели их никто не услышит? Нет, непременно кто-нибудь да услышит. Но кто и где?

Гэньэмопу вспомнилось море в сумерках. Он вглядывался в него сегодня вечером, когда спустился с обрыва набрать воды. Да! Только оно, это темное ночное небо, — единственное пристанище их надежд и упований, другого нет...

Говорят, там, в глубине этого темного неба, бездонного, словно море, обитает *дэус*.

Это означает, что удел их — отчаяние.

Дэус создал все сущее, создал Адама и Еву... Но никогда еще... нет, именно сейчас Гэньэмон Оэ впервые так остро ощутил, что христианский бог бесконечно далек от всего мирского, никогда еще так ясно не сознавал он все неумолимо грозное значение этого. *Дэус* превыше всего земного — пред ним все их распри ничто — правительство,

князя и народ, враги и друзья... И даже если дыхание тридцати семи тысяч достигнет неба, прислушаются ли к нему, отзовутся ли, поймут?.. Чем ответят там на их упования?

Этого Гангэмон не знал.

Но какой-то отклик непременно будет, он убежден в этом. Может быть, это та самая *грация*, благодать, в которую все они верят? Значит, *грация* не более чем воплощенные жестокой непреложности.

Гангэмон Оа уснул.

Да! Еще один человек в замке не смыкал глаз этой ночью — художник Эмосаку Ямада.

Что ожидает его впереди? Как должен он поступить? Он согласился примкнуть к оставшим не по легкомыслию, не из-за жалости к жене и детям и не ради спасения взятого в заложники сына. То три дня, что он писал картину, он неотступно, упорно думал, и, найдя наконец решение, пришел сюда.

Но здесь, где он стал равным среди равных да еще получил под свое начало отряд в пятьсот человек, правда, безоружных — все переменилось. Прежние его воззрения выглядели здесь чуждо, казались непужными, оторванными от земли, той, по которой ходят и на которой спят сейчас эти люди. Выстраданные мысли казались здесь пустой игрой воображения. Теперь, когда он очутился среди повстанцев, все вышло как-то уж слишком просто... Все здесь он представлял себе совершенно иначе.

Ему была мучительно дорога его мастерская в Кутиноцу, дорога до боли и сердце. Только там, в мастерской, жил он полной жизнью, только в творчестве — и более ни в чем — мог полностью проявить себя. Он оставил все это, чтобы прийти сюда. Он сирятал надежно все рисовальные принадлежности и почти готовые ширмы — свои творения, и пришел. Поистине, он пожертвовал всем ради восстания. И все же, и все же...

Правда, здесь он узнал и другое. Только здесь ему довелось впервые изведать то ни с чем не сравнимое волнение, которое он испытал, услышав, как Васаку читает «*Контингенту Мунди*».

VII. В глухую полночь

Гэнъэмон Оэ открыл глаза — его пробирал озноб. Ночь выдалась холодная. Между тем, у него, как и у других руководителей, было теплое одеяло, к тому же рядом спали Дзимбэй и Тюбэй, и тепло их тел должно было согревать его.

Отчего же этот внезапный озноб? Некоторое время он лежал неподвижно, глядя вверх, на невидимый в темноте потолок. Дзимбэй Масуда громко храпел. Глаза Гэнъэмона постепенно свыклись с мраком. Кажется, уже за полночь... Внезапная мысль заставила его вздрогнуть. Эмосаку Ямада! Можно ли было доверить ему почтовые стрелы?

Связным Эмосаку назначили на военном совете, где распределяли обязанности, и теперь менять что-либо было поздно. К тому же сомнение в соратнике казалось Гэнъэмону чем-то недопустимым. И все же, и все же, и все же... Гэнъэмон сомневался, вспоминая сейчас, в темноте, наполненной дышавшим сиящих, лицо Эмосаку. Как ни вспомнишь, как ни думай, а художник почти все это время выглядел мрачным. Был молчалив и угрюм... Впрочем, у него имелись на то причины.

Сперва в заложники взяли его старшего сына Васаку, а после прибытия в крепость вместо Васаку увели младшего — Гонноскаэ. Однако не станет же он утверждать, будто его как-то особенно утесняют. Вот и о-Кикю назначили в свиту Спро...

Поначалу решили поставить Эмосаку вместе с Дзэнъэмоном во главе «летучего» отряда. Этот отряд числом в две тысячи человек был создан на всякий непредвиденный случай. Однако Гэнъэмон воспротивился этому, и Эмосаку назначили на Главный бастион, отдав под его начало пятьсот крестьян. Но когда Эмосаку поручили вести еще и переписку с противником, Гэнъэмон внутренне содрогнулся. Он и сам не мог бы объяснить, почему. Однако снова протестовать не решился. Это было бы равносильно открытому обвинению. Именно потому, что обязанность вести почтовыми стрелами была столь важной и щекотливой, Гэнъэмон не чувствовал себя вправе протестовать.

Да, вчера он не мог поступить иначе. Зато теперь он размышлял об этом с таким напряжением, что кровь прилила к голове. Он и первому назначению Эмосаку воспротивился лишь потому, что не сумел избавиться от сомнений. А что теперь? В руки Эмосаку отдали ключ к успеху или поражению всего восстания. И если он изменит...

Но прежде чем ему, Гэцэмоцу, думать об измене соратника, надо признаться, что он сам, да, да, он, Гэцэмоц Оа, в глубине души не перит в победу.

Недавно стало известно, что для усмирения восставших из Эдо послано большое войско под началом Сигэмаса Итакура и Садакиё Ивай — посланников сёгуна. Весть о назначении Итакура получена лишь на днях, но еще месяц назад, после неудачного штурма замка в Симабара, стало ясно, что на повстанцев двинется мощное войско или, говоря словами Дзэитэмона Яма, все великое японское государство...

За перегородкой слышались голоса и шаги. Наверное, проснулись дозорные. (Был установлен временный порядок, по которому все члены совета по очереди сами обходили ночью весь замок.) Встали и ушли Тюбэй Асидзуки и Дзаймбэй Масуда.

Звуки их шагов замерли в отдалении, и снова отчетливо долетел не умолкавший всю ночь звон металла в кузницах.

Гэцэмоц откинул одеяло и сел на пол рядом с постелью. От рогож, устилавших землю, веяло холодом. Некоторое время он сидел неподвижно, опустив голову, погруженный в раздумье.

Нет, он не должен допустить, чтобы Эмосаку стал Иудой...

Он поднялся и вышел из хижины. Землю покрывал иней. До рассвета было еще не близко. Здесь, в осажденной крепости, он мог лучше попятить Иуду.

Иуда, наверно, жестоко страдал в предчувствии опасности, грозившей Христу: ведь если Христос, решив пройти свой путь до конца и принять крестную муку, умрет, то что станет с его учением и с молодыми учениками его? Какую тревогу, должно быть, испытывал Иуда — человек практический до мозга костей, трезвый человек в реальном мире, когда наблюдал за действиями Христа, на первый взгляд, совершенно безрассудными. И если дозво-

лено так сказать, — впрочем, это не может быть дозволено, — то вполне вероятно, что Иуда искренне, от всего сердца любил Христа. Именно поэтому, да, как раз поэтому он его предал. Недаром на последней пещере Христос упомянул о предательстве Иуды без малейшего гнева... Подобные тайны без счета погребены в бездонных глубинах душ человеческих... Тем более такое возможно сейчас здесь, ибо наше время — время предательства. Времена мученической смерти за веру давно прошли. Когда-то, в эпоху расцвета японского христианства, свыше сорока князей исповедовали учение господя, а сейчас среди сановников не найдется ни одного христианина, об этом и помыслить нельзя; все, за редким исключением, отвернулись от святой веры. А отступники преследуют веру куда более жестоко, чем те, которые никогда не были христианами...

Гэнъэмон сделал несколько шагов и остановился.

Повернул обратно и снова остановился.

Наконец, решительно ступая по скрипящему снегу, он двинулся вперед.

Он больше не смотрел на почное небо. Накопец-то он постиг все. *Дэус*, которого считают богом любви, бесконечно далек и совсем не похож на божество буддийской религии, гласящей, что все сущее, все живое является воплощением Будды. Христианская благодать, *грация*, также не имеет ничего общего с милосердием, которому учит религия Будды. Значит, обратная сторона всех догматов христианства — суровая немолчаливая безнадежность.

Впервые так отчетливо, до самой глубины своего существа, — Гэнъэмон осознал, насколько идеи христианства чужды реальным земным делам человека. Чувство безнадежности еще сильнее овладело им.

...Шло время, и крестьянское восстание все явственнее обретало характер религиозной войны. Гэнъэмон был одним из трех наиболее активных защитников этого восстания. Двое других — отец отрока Сиро, Дзимбэй Масуда, и Кодзаэмон Ватабаба, староста деревни Ояпо. Этот последний отиравился в город Удо, во владения князя Хосикава, чтобы проводить в крепость скрывавшихся на окраине Удо мать Сиро — Марту и его старшую сестру — Регину, и там был арестован...

...Гэнъэмон шагает по схваченной морозом земле. Куда он держит путь?

Полночь уже миновала, холод усилился, когда Эмосаку, проспавшись, вышел по малой нужде. Возвращаясь, он заметил человека, неуверенно бродившего возле хижины. Дозорный? Но в дозор всегда ходят по двое. Эмосаку внимательно разглядывал незнакомца.

Но вот человек решительно двинулся вперед и остановился перед угасшим костром, над которым едва курился дымок. Присел на корточки, поправил огонь. Эмосаку подошел ближе.

Гэнъэмон вздрогнул.

— Это ты, Эмосаку? — произнес он тихим сдавленным голосом. Эмосаку невольно отступил, но затем остановился.

— Это ты, в такой час?.. А я выходил по нужде...

— Присядь к огню, — позвал Гэнъэмон, но Эмосаку все еще продолжал стоять. Ему почудилось, будто на изборозженном морщинами лице Гэнъэмона, одиноко сидевшего в этот глухой почной час подле угасающего костра, виден выжженный крест.

— Хорошо... — произнес он, опускаясь на землю.

— Эмосаку, ведь я не принуждал тебя участвовать в нашем деле, не так ли?

— Разумеется. Правда, крестьяне угрожали мне, но пришел я сюда по своей воле, потому что так подсказали мне взгляды.

— Вот об этих взглядах... Не рассказал бы ты мне о них, если можно?

— Отчего же, пожалуйста...

Гэнъэмон почти ошеломленно посмотрел на него. Он никак не рассчитывал на такой простой, безыскусный ответ.

— Итак, говори же...

— Сперва я считал, что восстание начали крестьяне деревни Арима и островов Амакуса, возмущенные жестокостью господ, что причина их бунта — гнев. В таком случае это не мое дело, подумал я тогда. Однако, наблюдая за событиями, я все больше убеждался, что в движение пришли прежние *конфлации* и что внутри них разница между руководителями, старейшинами, между такими горе-самураями, как мы с тобой, и простыми крестьянами становится с каждым днем все меньше... И тогда я понял, что именно отсюда, из уничтожения различий, возрождается вновь христианство, и облик этого возро-

ждающегося христианства становится для меня все яснее...

— Понимаю, но сейчас здесь, в крепости, находится почти сорок тысяч человек, и несколько тысяч из них — буддисты...

— Ты прав. Но я не вижу здесь противоречия. Ведь изначально это поселяне крестьян... Так вот: христианство вновь возрождается, подумал я, когда расписывал знамя, и я увидел по-новому всех наших людей. Все они, старейшины, бывшие самураи, крестьяне, представлялись мне словно равнозначные фигуры, изображенные на одном полотне...

— Гм...— Это не приходило Гэнъэмоу в голову.

— Сейчас христианство уничтожают по всей Японии, оно исчезает,— продолжал Эмосаку.— Это не удивительно. Ведь оно проникло в Японию сверху, через князей и знатных самураев. И когда там, наверху, христианство было запрещено, ему наступил копец. Но, уничтоженная наверху вера сохранилась в низах. Так создавалось то, что мы видим с тобой сегодня. Нет больше *падре*, нет монахов. Теперь дошло дело до открытой борьбы. Вот что самое главное...

— Ты хочешь сказать, что в этом особенность японского христианства?

— Да. Но только боюсь, что...— Эмосаку умолк. Огонь в костре наконец разгорелся. «Вот оно, вот оно,— встрепетулел Гэнъэмоу.— Объяснить Эмосаку может все. Но... Одно дело объяснить, что происходит, другое — самому быть участником происходящего! Тут уже не может быть никаких «но» или «если». Каждый из них — участник борьбы, и каждому не просто было решиться на нее — все равно что перепрыгнуть через глубокую пропасть».

Беседа их подошла к опасному месту.

И первым дрогнул Гэнъэмоу. Человек твердой воли, он был великодушен; загонять в тупик собеседника было противно его натуре.

— Но только боюсь, что в Риме не признают наше восстание,— продолжил свою мысль Эмосаку.

— Это тебя тревожит?

— Нет, просто я...— Эмосаку вспомнил фразу из *«Контемпу Мунди»*: «На свете нет никого, кто избавлен от страданий и горя, будь то сам император или святейший папа...» И теперь уже Эмосаку задал вопрос Гэнъэмоу:

— Скажи, как ты мыслишь себе будущее восстания?

И Гэпэмон отчетливо произнес:

— Наш первый провал — штурм замка в Симабара. Мы так и не сумели завладеть им, хотя нужно было всего только одно последнее усилие... Потом выяснилось, что продовольствие в замке было на исходе, кончились сакаэ, и асигару * больше не желали воевать. Вторым провалом считаю то, что не удалось перетянуть на свою сторону жителей Нагасаки. А ведь город очень богат. И теперь неизвестно, что предпримет Хэдзо Суэцугу.

(Хэдзо Суэцугу был заместителем в Нагасаки.)

— И следовательно?

— погоди! А третий наш провал — враги схватили Кодзаэмома Ватапаба. Ведь мы собирались послать его вместе с матерью господина Сиро проповедовать в *конфулариях*, — в тех, что уцелели в глубине Кюсю.

«Но разве все это так важно?» — подумал Эмосаку. Он взгляделся в лицо Гэпэмона и прочел на нем безнадежность.

— Мне кажется, — я только здесь впервые понял, что он такое, наш *даус*... — продолжал Гэпэмон.

Вот лицо пожилрого мужчины, освещенное снизу пламенем, на фоне ночного мрака. И еще одно лицо, тоже немолодое, с тревогой вглядывающееся в собеседника — это он, Эмосаку. Если нарисовать оба эти лица на совершенно темном фоне, фигуры изобразить примерно до пояса, а сам он будет скрыт во мраке, показано будет только лицо, полное сомнений. Самому нарисовать свое лицо — такого еще не бывало в японской живописи. Впрочем, теперь уже поздно.

— И еще одно тревожит меня: риса и боевых припасов у нас хватит месяца на три, но нас окружают со всех сторон и вскоре может сказаться нехватка овощей.

— Но ведь мы можем продержаться три месяца!

— На божью помощь не надеюсь. — Гэпэмон хотел сказать, что даже если надеяться — одними надеждами сыт не будешь.

Эмосаку был потрясен, — не столько перспективой «продержаться три месяца», сколько тем, что Гэпэмон не надеется на божью помощь, — все, наверное, так и будет, и он понял, какую бездонную пропасть видит у своих ног Гэпэмон в эти минуты. Пожалуй, только он один из всех трезво оценивает положение. Эмосаку внезапно почувст-



повал к нему глубокую искреннюю симпатию. «Понимаю, понимаю!» — мысленно твердил Эмосаку, всей душой обращаясь к Гэнъэмону.

Случайно повернув голову, Гэнъэмон взглянул на Эмосаку. Он удивился, как просветлело лицо художника. «Пошли спать, поздно уже», — хотел было сказать Гэнъэмон, но неожиданно для себя выговорил:

— А ты, я слышал, спрятал в каменном амбаре ширмы, расписанные для Мондо Тага и Дзэиэмона Ёкояма. Ты успел закончить?

Как знать, быть может, именно сейчас Гэнъэмон сказал художнику то, что способно определить всю его дальнейшую судьбу. Эмосаку переменялся в лице, он даже вздрогнул.

— Я?

Гэнъэмон спохватился. Зачем он спросил?! Но было уже поздно.

— Почти... Можно сказать, что совсем были готовы.

Ничего не поделасшь — его картины словно приросли к его телу, они уже неотделимы от его существа. Это понятно. Что ж! Коли разговор их свернул в эту колею, не остается ничего другого, как гнать повозку дальше...

Если Эмосаку суждено сделаться Иудой, — внезапно скакнула мысль, — то предателем станет живущий в нем художник. Но пылешный Эмосаку — разве он только что не объяснил ему столь убедительно, столь прекрасно, почему он пришел в лагерь повстанцев?

— Ты позаботился, чтобы ширмы твои уцелели? Ведь ты не хочешь, наверное, чтобы они достались кому попало, невежде какому-нибудь?..

Как? Стало быть, Тага Мондо, первейший из палачей, беспощадный гонитель христиан, не «певежда» и не «кто попало»?

— Нет, никаких особых мер я не принял.

— Ну, да ладно! Вот что я хотел тебе посоветовать — почтовые стрелы... — Он не договорил. Заскрипел иней, послышались шаги, и из мрака показались двое в белых одеждах. Это были Тюбэй Асидзука и Дзэиэмон Яма. Опять, опять в решающую минуту появляются эти двое!

— А-а, Гэнъэмон и Эмосаку. Беседа среди ночи... Как нзысканно... — глубоким красивым басом проговорил Дзэнъэмон. — А в землянке у женщины только что мальчик родился. Ну и суматоха поднялась!

— Мальчик! Ребенок! — рассеянно повторил Эмосаку. Как будто не удивился и не обрадовался, почудилось Гэньэмоу.

И в самом деле, Эмосаку было теперь не до этого. Ведь Гэньэмоу, кажется, прямо намекал на связь между спрятавшим в амбаре ширмами, заказавшим их человеком и его должностью связного. Да ведь его толкают на предательство! Быть того не может! Эмосаку терзался сомнением. Вот досадно, что пришли эти двое — Тюбэй Асидзука и Дзэньэмоу Яма — со своей новостью.

Смятение чувств испытывал не один Эмосаку. Гэньэмоу был смущен еще сильнее. Он хотел было сказать Эмосаку, что нынешнее его положение особенно щекотливо, что, поскольку его назначили ведать почтой, он тем более не огражден от подозрений, и потому ему, Эмосаку, следует быть особенно внимательным и осторожным при составлении писем.

— Нет, вы вдумайтесь только! Может происходить что угодно: восстания, войны, что хотите, а дитя, всему наперекор, родится в положенный срок. Теперь население напе очень быстро начнет прибывать. Чудесно! — говорил Дзэньэмоу.

Гэньэмоу нравился этот иногда не улыбающийся, великодушный человек, и вместе достаточно мужественный, чтобы постичь истинную суть событий. Именно Дзэньэмоу Яма первым сказал, что пришло время восстания, он без усталости объезжал *конфлации* Амакуса и Симабара. После штурма Томюока и сейчас, когда они заняли оборону в крепости, именно он принципиально указал, что противник, с которым им предстоит иметь дело, — все великое японское государство.

Однако в том сложном душевном поединке, который разыгрался между Эмосаку и Гэньэмоу, такой человек не облегчал, а, напротив, усложнял положение. Дзэньэмоу Яма вообще не умел хитрить, говорить обиняками. Зато Тюбэй Асидзука был настоящим мастером по части догадок. Вот и сейчас он некоторое время переводил взгляд с одного на другого, потом вопросительно уставился на Гэньэмона.

Эмосаку чутко уловил этот недоуменный взгляд. Ему было не по себе и с Гэньэмоу, и с Асидзука.

— Надо, чтобы господин Сиро крестил младенца... — проговорил Тюбэй.

Эмосаку и Ганъамоя удивленно воззрились на него. Разве может Сиро — не монах и не *падре* — совершить священный обряд крещения? Сиро — вождь, он руководит молитвой, но крещение — не его дело. Иначе нарушится всякий порядок.

Раздался внезапный шум, и в ворота вбежали несколько человек с факелами.

— В Кодзиро прибыл начальник карателей Сигэmasа Итакура!

Селение Кодзиро подчинилось княжеству Набэсима и отстояло от крепости на четыре ри к северу.

Наступал рассвет четвертого дня одиннадцатой луны четырнадцатого года Канъэй*.

VIII. Последняя возможность

«Господишу Кэймоцу Нагаока

Господину Тапомо Ариёси

Господину Садо Нагаока

Настоящим письмом сообщаем, что здешние крестьяне внезапно объявили себя христианами, возбуривались, сожгли дома и деревни, а вчера осмелились поджечь город при нашем замке. Поскольку события эти происходят в соседнем с вами княжестве, срочно просим помощи. Бунтовщики сплошь подлый народ, и стало их уже несколько тысяч.

В отсутствие князя Мацукура, пребывающего в городе Эдо, с почтением и трепетом,

слуги его

Мондо Тага,

Симбэй Окамото,

Муэзо Танака.

27 дня 10 луны».

Из замка Симабара поскакали гонцы. Нарочный, в сумке которого лежало это письмо, спешил по дороге в княжество Хосогава и город Кумамото к обоим Нагаока и к Арёси, старшим самураям княжества. Сам князь нахо-

дился в Эдо, как ему и было положено. Другой гонец мчался к князю Мацукура, также пребывавшему в Эдо. И, наконец, третий — к представителям столичной власти в этих краях — маэксэ Макино и Хаяси. Оба маэксэ были присланы сюда для наблюдения за ссыльным князем Тададо Мацудайра. Женатый на дочери второго сёгуна Хидэ-тада, он был сослан на Кюсю за разврат и неумеренную жестокость.

Месяц назад в тот самый день, когда разъяренные крестьяне хлынули на улицы Симабара, Кэнмоцу Нагаока в своей усадьбе в Кумамото принимал гостя. Хозяин и гость играли в го*.

Внезапно Нагаока поднял взгляд от доски — слух у него был просто замечательный.

— Какой-то шум. Определенно. Ну-ка, погоди...

Не успел он договорить, как снова послышались странные звуки, глухие, низкие. Похоже, стреляют из пушек.

Посоветовавшись с Таномо Ариёси и с Садо Нагаока, он послал самурая узнать, в чем дело.

На следующей день пришла весть из деревни Кодзимакура: пад Симабара видно пламя, оттуда доносится ружейная пальба. Появились первые беженцы — они подтвердили, что Симабара объят огнем. Это было уже нечто из ряда воп выходящее.

В ту же ночь в Кумамото объявили особое положение. Из окрестных деревень в город начали свозить рис и прочий провиант для войск. Пригнали целые табуны коней. Самуран скунали воинские доспехи.

Вдоль побережья установили частые сторожевые посты, а в двух рю к югу расположили четырехтысячный отряд. В замок Симабара отбыл парочный для выражения сочувствия осажденным.

Увы! Когда самуран из Симабара обращались к соседям с мольбой о спасении, решившись на столь бесславный поступок единственно ради скорейшего усмирения восставших, они забыли, к несчастью, «Уложение о самурайских домах», запрещавшее «высылать военный отряд в соседний удел без ведома высших властей, какие бы события ни произошли».

Кэнмоцу Нагаока писал Хаяси и Макино, что над городом видно зарево, слышны мункетные выстрелы, и предлагал отиравить в Симабара войска, чтобы разом

покончить с бунтовщиками. Письмо было уже отправлено, когда вернулся нарочный из Симабара. Нагаока отправил мэцкэ новое письмо, где изложил все подробности.

На что решатся мэцкэ, он не знал, но войско продолжал готовить, охраняя спокойствие города, и ожидал гонца.

Чиновники из Эдо, однако, отнеслись к событиям, как и подобает чиновникам. Иными словами — никак не отнеслись. Они отвечали, что сообщение о пожарах в городе Симабара и многих деревнях и о мушкетной стрельбе «повидимому, полностью истине отвечает» и что, если смута поднята христианами, то Нагаока следует, «с наибольшей точностью расследовав свое дело, принять свое решение, сообразуясь с обстоятельствами...».

— Сообразуясь с обстоятельствами? Вот, значит, как? Свое решение! — раздраженно фыркнул Нагаока.

— Безответственность! — сказал Ариёси.

Это и впрямь была безответственность, истинно в чиновничьем духе. Ведь ни тот, ни другой не имели права решать самостоятельно — на то поставлены столичные мэцкэ.

Нагаока и Ариёси пребывали в растерянности.

Еще до получения этого туманного ответа, они успели отослать третье срочное письмо, приложив к нему письмо из Симабара.

«Самуран Мацукура просят о помощи, — писали они, — однако высылать войска в соседние княжества запрещено «Уложением о самурайских домах». Нельзя ли ввиду столь большой опасности сделать исключение из правил? К тому же известно, что христианские дела — особая статья...»

Но и на это мэцкэ отвечали невразумительно. Обещав переправить письма в Эдо, они велели дожидаться надлежащего приказа.

На следующий день старшие самуран княжества Хосокава, явно встревоженные тем, что в замке Симабара имеется чуть ли не сто сорок тайных христиан, слова предложили послать осажденным хотя бы немного мушкетов, а уж с посылкой войск, ничего не поделаешь, придется повременить до получения указаний.

Мэцкэ отписались с обычным безразличием: «...Желание свое весьма похвально, равно и стремление ваше

покончить со смутьянами прежде указаний из Эдо. Однако важно знать, нет ли там возможности усмирить бунтовщиков своей силой».

Нерешка продолжалась, но Макино и Хаяси держались стойко. «Возможности усмирить бунтовщиков» не находилось, да и пайтись не могло. Полномочия этих мэжэ истекали в октябре. Новые, должно быть, уже выехали из Эдо. Зачем же им спешить?!

Но Нагаока волновался и продолжал готовить войско. На границах княжества он поставил сторожевые отряды, распорядился выстроить при почтовых станциях крытые рогожей помещения для стражи. Передвижение по дорогам в ночное время было запрещено, пропускали только гонцов, обязанных предъявлять страже ящичек с почтой. Через каждое ри гонцов ожидала подетава. Жгли костры.

Правда, повяты Макино и Хаяси было нетрудно. Ведь и они не имели полномочий разрешать или запрещать князьям боевые действия. Кроме того, в главную обязанность им вменили наблюдение за опальным князем Тадаио Мацудайра.

Между тем от острова Кюсю до Осака было десять дней морского пути, а в непогоду — четырнадцать, а то и все пятнадцать. Расстояние от Осака до Эдо гонцы, сменяя друг друга, могли покрыть дней за десять. На совещание в эдоском замке тоже уйдет день-два. Итого, пройдет примерно месяц, пока известия с острова Кюсю достигнут столицы...

А огонь уже переметнулся на соседние острова Амакуса. Нагаока и Ариёси выходили из себя. Но их раздражение было косвенным признаком укрепления власти сёгуната: самовольные действия больше не допускались.

«Декабря семнадцатого...»

Поглядывая на освещенную заходящим солнцем бухту, Николас Кукебеккер*, начальник торговой фактории объединенной Ост-Индской компании в Хирадо*, взялся за перо, чтобы сделать очередную запись в дневнике.

В бухте были готовы к отправке два торговых голландских судна — «Беттен» и «Де-Лайф».

Но на этот раз Кукебеккер должен был сделать особенную запись, касавшуюся ни коммерческих операций,

ни грузов, ни платежей. Случилось важное событие, подробный отчет о котором нужно было отослать в Батавию, генерал-губернатору Ост-Индии Антону Ван-Деймену. Кукебеккер был, разумеется, не просто кунцом. Он быстро отзывался на любое, имеющее политическое значение событие, быстро разбирался в любой, самой неожиданной ситуации.

«Декабря семнадцатого дня, лета от рождения Христа одна тысяча шестьсот тридцать седьмого, а по японскому исчислению — в первый день одиннадцатой луны четырнадцатого года Канъэй... Погода ясная, ветер южный... — проворно выводил он большим гусиным пером. — Некто человек сегодня известил меня о том, что крестьяне области Арима в гневе на своего князя взяли за оружие, перебили высокопоставленных чиновников, а правительственные здания разгромили и сожгли дотла, так что справиться с бунтовщиками нет никакой возможности, и все должностные лица укрылись в княжеском замке. Об этом уже известно всем, в соседних княжествах приведены в готовность войска, а на дорогах установлены заставы и караулы. В Хирадо принимаются подобные же меры.

Хотел бы пояснить, что здешний князь Мацукура не всегда владел землями Арима. Когда вотчина Арима была пожалована его отцу, самураи и слуги прежнего владельца остались на родине. Этих людей новый князь лишил жалованья, отнял у них рисовый паек, а все блага щедрой рукой раздавал своим приближенным. У подданных его не нашлось иного выхода, как только сравняться с людьми низкого звания и стать крестьянами. Но хотя они и стали крестьянами, однако продолжали интересоваться исключительно воинским делом, земледелию же уделяли мало внимания.

Новый господин увеличил подати и налоги много против прежнего, не желая принять в рассуждение, что подобное бремя для людей непосильно, а тех, кто не сполна вносил подать, немедленно брали под стражу. Им связывали руки за спиной, надевали соломенные плащи и, поднеся к соломе огонь, сжигали. Приговоренные к этой казни не просто задыхались в огне, но заживо сгорали, а чтобы ускорить свой смертный час, нередко сами бросались со скалы вниз или же разбивали голову о камни, другие бросались в воду, чтоб утонуться. Подобной казни прежде не знали, здесь ее прозвали «пляской в плащах»,

сии слова употребляются ныне для обозначения лютой жестокости. Однако князь Мацукура не удовлетворился этим и приказал брать под стражу жен должников, раздевать догола и подвешивать за ноги. Я не видел казни более бесчеловечной.

И все же, надо полагать, подданные думали, что постепенно князь переменится к лучшему, и до поры до времени все сходилию ему с рук. Когда же, вслед за отцом, во владение землями Арима вступил нынешний князь Мацукура, пребывающий постоянно в Эдо, подданные вновь попадались на краткую передышку. Увы! Молодой князь слал из Эдо приказ за приказом и плчуть не домышлял хотя бы о некотором смягчении законов, установленных при жизни его отца. Он не щадил даже тех, коим поистине грозила голодная смерть. Наказания сделались еще ужаснее. Сама уплата подати означала отныне голодную смерть. У бедных крестьян не осталось более выбора. Поэтому они решили, что лучше умереть, отомстив за обиду... Так вспыхнул этот бунт. Говорят, некоторые были настолько тверды в своем решении, что прежде чем уйти к повстанцам, умертвили жен и детей. Об этом я слышал от одного человека.

На островах Амакуса происходит то же самое, тамошние жители, услышав о бунте в Арима, присоединились к восстанию и сейчас, по слухам, перебили всех чиновников, а оставшиеся в живых укрылись в замке. Говорят, что и там причиной бунта послужил произвол князя, который незаконно увеличивал налоги и жестоко притеснял подданных...»

Кукебеккер — человек сторонний. Он купец, он же дипломат, он же и высокопоставленный служащий колониальной торговой компании, непосредственно подчиненной генерал-губернатору голландской Ост-Индии. Кукебеккер находится в самой гуще борьбы за азиатские земли. Компании завоевала свои позиции в Японии не легко и не просто. И сохранить их было также не легким делом. Португалия и Испания изгнапы. Но сколько искусства понадобилось для достижения этой победы, сколько хладнокровия, сколько выдержки!

Сэгун Иэмицу — его драгоценный советник, можно сказать, его опекун! Он, Кукебеккер, должен быть мудрым. Как ему действовать в эту решительную минуту? Иными словами — что надо предпринять для защиты привилегий

компании? Решать необходимо быстро и безошибочно. А для этого нужны как можно более полные и точные сведения о происходящем.

Разные люди по всей стране чутко прислушивались к слухам и новостям.

В первый день одиннадцатой луны по дороге из Нагасаки в Омура вели человека со связанными за спиной руками. Родился он в Португалии, недалеко от Коимбры; когда подрос, стал солдатом, потом капитаном корабля, уехал в Макао и, наконец, добрался до далекой Японии. К этому времени он уже имел духовное звание и был членом священного трибунала. Звали его Дуальте Кореа.

В Нагасаки Дуальте Кореа услышал толки о восстании и увидел множество солдат; ему никогда еще не случалось видеть так много солдат в этом вольном торговом городе. Для защиты Нагасаки прибыло сорокатысячное войско.

Город Нагасаки подчинялся непосредственно сёгуну, власть в нем исполняли двое советников городской управы и наместник правительства Хэдзо Суэцугу. Хэдзо же ведал торговлей и переговорами с чужеземцами. По сведениям из Симабара и Амакуса, причиной бунта была жестокость князей. О том, что восстание начали христиане (на что Дуальте Кореа возлагал в душе некоторые надежды), вначале слышно не было. Лишь несколько дней спустя один самурай рассказал ему, что крестьяне громили деревенских богачей и самураев с криком «Иисус-Мария!» и вместо обычного «Банзай!» восклицали по-испански «Сант-Його!».

Дуальте Кореа подозревал, что причина восстания — вовсе не вора. Просто владельцы Симабара и Амакуса, боясь уронить себя в глазах остальных князей и сёгуна и чтобы избежать упреков в излишней жестокости, пустили слух, будто восстание — дело рук христиан. Необходимо найти случай и сообщить об этом в Макао падре Антонио Франческо Кардена из ордена Иисуса.

Теперь его вези в тюрьму, в замок, что возле деревни Омура. Тюрьма пользовалась мрачной известностью. Многие *падре* и японские христиане побывали в этой тюрьме — здесь они в конце концов все погибли по славу христианской веры. Дуальте Кореа также приготовился к худшему. В городской управе Нагасаки его не стали ни допрашивать, ни судить. Все эти процедуры стали теперь излишними.

В вечерний час тринадцатого дня десятой луны в бухту Коноури близ города Удо, что и княжество Хосокава, вошла лодка. На берег высадились несколько человек (на шес у них, ничем не прикрытые, висели четки и образки с изображением Христа) и направились к дому старейшины, богатого крестьянина Хикодзаэмона. Хозяина дома не было, по его пятнадцатилетний сын пригласил неожиданных гостей войти, — все они были тотчас же схвачены и взяты под стражу; сказались и неосторожность, и чрезмерная уверенность в себе. Одним из арестованных был Кодзаэмон Ватанабэ, другим — его шурии Кохэй Сэто. Кодзаэмон Ватанабэ был в числе главнейших деятелей восстания. Оба приехали в город Удо, где тайно проживали жена и дети Дзюмбэй Масуда — мать и сестры Сиро. Их-то и должны были увести с собой Ватанабэ и Сэто. Теперь вместе с ними арестовали Марту, мать Сиро, и Регину, его старшую сестру.

В Кокура, во флигеле для почетных гостей, изпивал от безделья Миямото Мусаси *. Старый воин, переживший на своем веку не одну смуту, свидетель деиций и гибели многих выдающихся современников, он не верил в устойчивость нынешней власти. Не верил и в преданность ей, о которой твердили здесь. Сейчас он гостил в доме князей



Осакавара. Вести о бунте усугубили его мрачность и молчаливость.

А вести эти с устрашающей быстротой катились к востоку и к югу, пропикая во все уголки страны.

Из монастыря на горе Коя бежал Дзюдаю Курахати. Сердце его трепетало, в нем бродили темные страсти. Лишь бы началась смута, все равно какая, лишь бы смута!

Тёмон Минаёси последовал за своей госпожой, благородной женщиной из города Кагосима, в селлку на затерянный в море остров Танэгасима, но там, узнав о восстании, похитил утлую лодочку и бежал через бурное зимнее море в далекий край Симабара.

Шел двадцать третий год после окончания Осацких кампаний и тридцать восьмой — со времени битвы при Сэкигахара. Долгие междоусобные войны сменились эпохой относительно устойчивой и мирной. Однако в стране еще оставалось много самураев, либо потерявших своего господина в бою, либо насильственно разлученных с ним; небольшой просчет, совершенный некогда в прошлом, обрек их на скитание по свету, лишил права на место в жизни.



Немало осталось в живых и попов-христиан, сражавшихся во время осады Осаки на стороне Хидёёси. И отречение, пусть даже в свое время они приняли поную веру без особых раздумий и потом столь же бездумно отвергли ее, все же наложило печать на всю их дальнейшую жизнь. Ибо как бы легкомысленно ни принималось вероучение, оно все же затрагивает душу человека.

Некоторые пероотступники с особенной яростью ненавидели христиан, и тех, кто упорно держался веры, почитали хуже зверей. Другие же, не переставая смутно желать какой-то новизны, все же без особых угрызений совести возвратились к прежнему образу мыслей. Впрочем, они и раньше не испытывали потребности со всем пылом утверждать или возглашать непривычные заповеди новой веры, вроде спасения души и прочего. Теперь они мирно жили и умирали так же мирно.

Но были и те, кто в заморском учении, столь стройном и совершенном, ощущал великие гуманистические идеи, непохожие на все японские идеи, приобщиться к которым можно было через португальский или латинский языки, и это смутное чувство было трудно изгнать из сердца.

В эпоху относительного спокойствия, наступившего после долгих междоусобиц, в потоке мирно текущей жизни затаилось еще одно, подводное течение: так текло время для тех, кто сполна познал горечь этого видимого спокойствия.

События в Симабара вначале и им показались не более чем обыкновенным крестьянским бунтом. Князь же Мацукура был для них личностью, достойной презрения, и только.

— Этот Мацукура — человек копченый. Вот и все, что можно сказать, — повторяли они. Они считали, что рано или поздно князь сломает себе шею.

В особенности громок был голос пребывавшего тогда в столице старого Хосокава, соседа Мацукура.

С запада тем временем приходили все новые вести о восстании, и многочисленные неудачники, долгими бессоциальными почвами ворошившие в уме обиды и неудачи, привычно стискивали зубы. Было ли это восстание христиан или просто мужицкая смута, сочувствовали они христианам или ненавидели их, уверены были, что мужиков следует убивать, или же, напротив, жалели их, все они — во власти неостыпших честолюбивых стремлений — не могли справиться с искушением еще разок заглянуть к себе в душу и прошептать:

«Кто знает, может быть, это моя последняя возможность...»

IX. Власть государственная

На пятый день одиннадцатой луны задул сильный западный ветер. Теперь он не спадет до самой весны. Лишь изредка его будет сменять северный ветер.

Получив срочное донесение с Кюсю, помещик Осацкого замка Масадзи Абэ подумал прежде всего об этом ветре. Он вызвал начальника флотилии и долго совещался с ним. В такую погоду донесения попадут в столицу не раньше, чем через десять дней, а то и через две недели. И не менее месяца пройдет, пока придут указания из Эдо. Месяц — срок немалый; резкий поворот событий способен, чего доброго, вызвать даже там, в столице, некоторые изменения, ну, а здесь, в провинции, за это время разыграется настоящая буря... Опасность тем более велика, что восставшие держатся идей, откровенно враждебных правительству.

Абэ немедленно вызвал городских советников Кугай и Сога, заместника в Киото Сигэмуэ Итакура, а также советника Инагаки. Большинство предлагало возможно быстрее отослать донесение в Эдо и дожидаться указаний, однако Абэ сумел навязать им свое решение.

В седьмой день одиннадцатой луны он направил в княжества острова Кюсю — Хосокава, Набэима, Арима, Татибана, Тэрадзава, Мацукура и Омура — повеление разослать по дорогам стражу и запретить торговлю оружием. Поскольку указания из столицы навряд ли поступят раньше семнадцатого — восемнадцатого дня, он приказал, в случае необходимости, закрыть границу вовсе.

На следующий день он отдал приказ строго следить, чтобы продовольствие и оружие никоим образом в замок бунтовщиков не попадало; бывшие христиане способны присоединиться к восставшим, а потому, требовал он, границы княжеств надлежит охранять особо бдительно.

Наконец, в девятый день одиннадцатой луны был издан указ о христианах. «Тайное сношение с мятежниками, — гласил указ, — карается немедленной смертью; отрубленные головы следует выставлять на проезжих улицах и в других людных местах; обо всех виновных докладывать мне лично, ибо, если каждый раз ожидать решения столичных властей, это может лишь повредить делу. В случае необходимости решайте все сами, по личному усмотрению.

К прискорбию, нередко еще случается, что в отсутствие господина, находящегося при дворе сёгуна, слуги его не решаются действовать на свой страх и риск и проявляют недопустимую медлительность. Отправка вооруженных отрядов за пределы княжества должна быть согласована с находящимися в княжествах маэка...»

Теперь следовало подумать о безопасности Нагасаки. В княжество Набэсима было послано указание: как только наместник в Нагасаки Хэдзо Суэцугу сообщит, что восстание подступило к самому городу, — незамедлительно выслать туда войска. Абэ вспомнил восстание христиан, которое произошло несколько лет назад в селении Микава, и подумал, что ему неминуемо придется держать ответ за то, что он упреждает решения правительства.

Поистине, как предсказывал Дзэнъэмю Яма, все великое японское государство начало приходить в движение.

Первое сообщение из Симабара достигло наконец Эдо. Это было письмо Мондо Тага и Симбэя Окамото своему господину князю Мацукура. Известие потрясло князя. Не ровен час, смута причинит беспокойство всему великому японскому государству, а это означает его, князя, гибель. Погибнуть из-за мужицкого бунта, из-за крестьянской гольтыбы?! Это не укладывалось в голове! И тем не менее дела обстояли именно так. Князю вспомнился замок Симабара — прочный, надежный замок, запово отстроенный его отцом Сигамаса. Говорят, замки — не более, чем кладовые для хранения продовольствия и оружия в смутные времена, как амбары у крестьян или купцов. Знаменитые полководцы не придают-де большого значения замкам, верные слуги — вот их настоящая крепость... В преданных вассалах у Мацукура недостатка не было; по оказалось, что народ и вассалы — увы, не одно и то же...

В девятый день одиннадцатой луны в Эдо прибыло донесение из княжества Хосокава. Самураи иносая, что готовы выступить против повстанцев, по ожидают указаний от Макино и Хаяси. В тот же день письмо подобного содержания пришло в дом князя Хосокава в столице.

События коснулись наконец главного стержня всей политической структуры страны. Главный стержень политического устройства всегда находится в отдалении, «в звездах и облаках», так сказать, и в нем без конца повторяется ценная реакция синтеза и распада; ма-

терминал этой реакции — люди. При этом все определяет ситуация, ничего, кроме ситуации. А наиболее значительным проявлением ее является совещание.

И было созвано совещание.

Присутствовали на нем глава Государственного совета Сакаи и члены Совета Абэ, Ии, Дои и Мацудайра *. Вол совещание большой сёгун Измицу.

С этим островом Кюсю бесконечные хлопоты! Тамашинские князья, Симадзу Сацума, к примеру, отличаются непокорностью: несколько лет назад правительство даже вынуждено было передать некоторые уделы новым владельцам. Хосокана переместили в Кумамото, Огасавара — в Кокура...

Что же касается мужиков, о которых ныне сообщают, что они взбунтовались, то, хотя в дописании написано, будто их всего несколько тысяч, однако кто знает, насколько широко в действительности распространилась смута...

Нужно решить, кого поставить во главе карательной армии. Ведь в нее войдут отряды всех княжеств Кюсю, и они должны действовать сообща. Правда, Япония — немало уж лет тому — объединилась в одно государство, однако речь сейчас идет о том, чтобы объединить и возглавить вооруженные силы княжеств, в которых до сих пор сильны тенденции к независимости, — задача поистине не из легких! С началом военных действий неизбежно появятся раненые, убитые. Нечего и говорить, что каждое войско будет оклакивать своих навших. Припятно считать, что битва кончается победой одной из сторон. Однако к чему на деле приводит всякая битва? Военная победа — простой факт, но более чем результат сражения, но за ней следует критическое отношение к событиям, а всякое критическое суждение является переходом в область политики. В жестокости Мацукура к его крестьянам нет ничего необычного, однако эта жестокость породила смуту и бунт, — а это уже политическая угроза.

Итак, кто же достоин возглавить объединенную армию? Прежде всего, это должен быть человек, чей приказ звучал бы авторитетно для князей Кюсю. Таково простейшее условие. Казалось бы, выполнить его — и дело с концом! Но нет — он должен еще обладать и политическим весом: с тем чтобы не возникла новая «политическая ситуация», новая реакция синтеза и распада. Вот почему было

далеко не все равно, кого назначать. А решать подлежало спешно.

Глава Совета и остальные старейшины назвали Масаюки Хосина *, князя Айдзу. Он — приближенный Токугава, владелиц обширных земель. Многоопытен, сумеет найти выход из любой сложной ситуации. Мнение старейшин доложили сёгуну.

Но Иэмицу не согласился.

Он заговорил медленно, словно через силу:

— В завещании нашего божественного предка сказано: когда возникает смута на западе, спеша укрепить восток; когда возникает угроза с востока, оглядывайся на запад... Хосина — мой оплот на востоке, сейчас его нельзя трогать с места...

Он, сёгун, да и все они существуют сегодня лишь благодаря деяниям великого Иэясу, «божественного предка». Отойти от его заветов — значит погибнуть. Если все отправится на запад, восток страны оголится, останется без надзора.

Было решено, что Масаюки Хосина возвратится в свой удел.

...И он возвратился, потом проехал дальше, до самой Ямагата, которая отнюдь не входила в его владения, и учинил там дознание в связи с убийством правительственного чиновника крестьянами деревни Сираиси. Более десяти человек было арестовано по его приказу — всем отрубили головы... Некоторые осуждали князя: «Ведь это не его земля, зачем же было ездить туда...» Говорят, что князь Хосина, хмуря брови, ответил: «Пекусь о благоденствии всего государства, мои ли то земли или чужие...» Не только простой люд, но и князя, владевшие землями на востоке, трепетали при имени князя Масаюки Хосина...

Итак, если Хосина не может ныне возглавить войско, кто же может?

Трудно было предугадать, какое решение родится у далеких «звезд и облаков», продолжающих цепную реакцию синтеза и распада, иными словами — что решит совещание.

Возник спор — можно ли вообще поставить во главе войска кого-либо из наиболее именитых князей, владельцев могучих княжеств? В дописаниях сообщают, что восставших — несколько тысяч, но ведь это — всего-навсего мужичье, беспорядочная толпа смутьянов.

Не отправиться ли вам, господин Мацудайра?

О нет, слишком много чести смутьянам.

Если нельзя назначить никого из князей острова Кюсю, хорошо бы пойти человека, которому случалось, по крайней мере, бывать там.

Тогда-то впервые и было названо имя Сигэмаса Итакура.

Мацудайра возражал:

— Итакура болен. У него чирья, и он не выходит из дома. Наверяд ли он сможет помочь нам в этом случае.

Его прервал громкий голос Сакап:

— Раз его имя названо, неуместно говорить о болезнях. Я уверен, Итакура разгневется, когда узнает, что ссылались на его нездоровье.

— Я езжу во дворец одной дорогой с Итакура, — сказал Абэ. — Так что могу посетить его и расспросить.

Вскоре он вернулся. Оказалось, что Итакура почти оправился от болезни, и тогда Совет назначил его командующим. В помощники ему дали Садакиё Ивая. Такой выбор удивил многих.

Что ж! Советование вольно обречь человека даже на смерть.

Назначению Итакура способствовало то, что недавно он побывал на Кюсю. Впрочем, не так уж недавно — пять лет назад. Тогда на Кюсю перемещали князей из прежних уделов в новые. Итакура было поручено наблюдать за передачей замков, и он сумел успешно выполнить это в высшей степени важное и щекотливое поручение.

Итакура был из худородных. Отец его занимал должность наместника в Кнотэ, да к тому же относился к христианам великодушно, даже сочувственно. Во время Осацких кампаний он был послан в замок Осака парламентарем Токугава и справился с поручением благополучно. Старший брат Сигэмаса, Сигэмуца, унаследовал отцовскую должность, а сам Сигэмаса получил в наследство от отца владения в Микава, дававшие скромный доход — двенадцать тысяч коку риса без малого. Помощник его — Садакиё Ивая и вовсе был простым маэксэ с жалованьем в полторы тысячи коку.

Управиться ли худородным самураем с соединенным войском князей Кюсю?!

Уже выехав из Эдо, Итакура узнал, что Сакап говорил о его назначении: «Если бы мы допустили, чтобы сэгун

освободил Итакура от назначения из-за болезни, это было бы позором для него. Он должен ехать, невзирая ни на болезнь, ни на какие другие причины. Ну, а если умрет в дороге — что ж делать?!»

Узнал Итакура и о том, что старейшины предлагали назначить командующим могучего князя Хосина, но сё-гун приказал отправить Итакура.

Значит, вернуться ему нужно было только с победой.

В день совещания Итакура получил аудиенцию у сёгуна Иэмицу и был возведен в ранг правительственного посланника и верховного начальника карательной армии. Затем он выслушал наставления главы Совета и остальных старейшин.

Выезжать приказано было немедленно, на следующий же день.

Итакура уехал, а по столице поползли слухи, начались пересуды. То было время, когда после долгих междоусобиц в стране установился относительный мир, и Эдо наконец-то начал обретать облик столицы. А тут вдруг стряслись события, об истинном размахе которых судить пока еще трудно, но, во всяком случае, они настолько важны, что вот приходится посылать карательные войска... Князь Хосокава был в ярости: «Этот недотена Мацукура!..»

Правда, в столице давно уже было известно о том, что у самураев Мацукура пелады с мужиками, а бывшие самураи Арима рошцут, так как у них отбирают все, до последнего баклажана.

Слухи, догадки передавались из уст в уста. Христиан несправедливы и боятся, в этом и город и власти были едины. Что до Итакура, то о нем говорилось разное...

Говорили, что князь Сакаи выбрал Итакура, пренебрегая мнением Окубо, прозванного «главным судьей». Когда же обратились к самому Окубо, он уклончиво заметил:

— Зачем Совету мое мнение, когда все уже решено? К чему? Поздно, поздно... Мне сказать нечего.

— Но все же...

— Христиан презирают, называют их мужичьем... А они поклоняются своему *дэусу* и умеют направлять людские умы. Единство их, мне думается, довольно крепко, а главное, они хорошо знают местные условия. Таким худородным дворянам, как Итакура и Ивая, пожалуй, с ними не сладить.

Сакан едва не поперхнулся — возражения застряли у него в гортани.

— Положение Итакура и Ивая будет трудным вдвойне, ибо управлять объединенным войском этих западных князей — дело хлопотное. Послать надо было кого-нибудь из «Трех семейств» * да придать им в помощь правительственного мэцкэ — Мацудайра или же Хотта. Вот это было бы правильно.

— В самом деле...

Но Окубо, привыкший рубить сплеча, не стесняясь, нанес князю новый удар:

— Если поручать все важные дела лишь тем, кто имеет военные заслуги в прошлом, государству придет конец. Война становится забавой! Юнцов назначают мэцкэ при военной палате! Вот как оно теперь повелось...

В слухах Окубо звучала откровенная насмешка — ведь этих политических руководителей, кроме административных вопросов, не интересовало ничего.

В десятый день одиннадцатой луны днем Муэнори Ягю, князь Тадзима, сидел за чаркой саке в доме у Арима, владельца Курумэ. Князь был в отличном расположении духа. Внезапно пришло известие, что Итакура назначен командующим карательной армией.

Пораженный Тадзима подвинулся с подушки. Некоторое время он стоял неподвижно, размышляя. Наконец прервал молчание:

— Почтенный хозяин, не можете ли вы одолжить мне кося?

— Кося?!

Тадзима огрел лошадь хлыстом. Он был пьян и хлестал животное без устали. Лицо его было хмурым: речь шла о спасении человека.

Он проскакал до местечка Кавасаки, однако Итакура, видимо, намного опередил его...

Близилась сумерки. Тадзима повернул кося. В Эдо он вернулся глубокой ночью, тут же отправился в замок и потребовал срочной аудиенции у сёгуна.

Иэмицу пришел его.

— В чем дело?

— Господин, соблаговолите припомнить восстание буддистов Икко *. Даже Нобунага стоило труда усмирить их.

А если с буддистским восстанием было столько хлопот, то с христианами придется много труднее: фанатизм их хорошо известен.

Итакура — незнатен, не принадлежит к числу ваних приближенных, нет у него и важных родственных связей, никто не станет ни почитать его, ни бояться... Ему приказано командовать войсками западных князей? Они не станут его слушать. Бунтовщики же будут стойко обороняться, и если одолеть их окажется невозможным, это встревожит стражу, и весь позор падет на Итакура. Ну, а если послать на Кюсю еще кого-нибудь из саяновых людей, это будет равносильно смертному приговору Итакура. Вы только попусту лишитесь преданного вам слуги.

Нэмичу согласился с его доводами. Но изменить что-либо было уже поздно.

Западных князей насторожило в особенности то, что по приказу старейшины Нобуцуна Мацудайра одновременно с Итакура в Симабара отправился правительственный маэка Дзиндзабуро Мацудайра. Он должен был выяснить истинное положение дел — иными словами, не грозит ли опасность самому сёгуну. Более других подозревался князь Симадзу из Сацума. Все остальные князья приезжали на положенный срок в Эдо, — и только князь Симадзу из Сацума под предлогом болезни по разу не покидал своих владений.

Главному ответчику за смуту, князю Мацукура, приказано было вместе с его братом Укон немедленно вернуться в свои владения. Они выехали из Эдо даже раньше Итакура, еще в девятый день одиннадцатой луны.

Ну, а сам Итакура? Он обратился с просьбой — разрешить его сыну Сигэнори сопровождать его на Кюсю, и разрешение это получил. Сигэнори был молод, однако почувствовал, что нынешнее назначение отца отнюдь не повод для шикования, дело предстоит необычно серьезное и трудное.

Сыновья князей Татябапа, Хосокава, Курода, Набэсима, Арима, Огасавара получили разрешение возвратиться в поместья и выехали из Эдо в четырнадцатый день одиннадцатой луны. Власти разрешили княжеским отпрыскам покинуть столицу, чтобы чрезвычайное положение в своих княжествах ввели они сами. Молодые князья откеслись к

событиям без лишнего волнения. Они ехали на родину отчасти из любопытства, отчасти желая позабавиться войной, и было бы напрасно требовать от них серьезности Итакура и его сына. В этом их легкомыслии уже таилось нечто, предвещавшее трагическую судьбу Сигэмаца Итакура...

В семнадцатый день одиннадцатой луны, ночью, поезд Итакура прибыл в Осака. Старший брат его, Сягэмуна, выехал в близлежащий городок Фусими навстречу брату и поразился. Отряд, которым командовал брат, был мал до смешного! Сотей пять воинов, а может, и того меньше... Среди тревоги и озабоченности, охвативших Осацкий замок, он казался ничтожной горсткой людей. Итакура был утомлен и казался гораздо старше своих пятидесяти лет. Наместник помрачнел. Его охватило недоброе предчувствие. Разве с таким отрядом завоеешь авторитет, подобающий перхвиному военачальнику? А его отряд? Неужели это все, что есть у посланника правительства? Чтобы хоть чем-нибудь помочь брату, он отдал ему часть своих солдат.

В город Сигэмуна вернулся с тяжелым сердцем. А Итакура остановился на ночлег в усадьбе Абэ, наместника Осацкого замка.

В тот же день Абэ сообщил всем князьям Кюсю о прибытии посланника, а также приказал строго следить за перевозками риса, бобов и других продуктов на всех дорогах и постоянных дворах от Кокура до Симабара.

В ночь на восемнадцатый день одиннадцатой луны воины Итакура погрузились на суда. Но прежде княжества Хосакава и Набэсима получили первый приказ посланника. Приказ удивил их...

Отряду Хосокава предписывалось следовать в Кавадзири, а отряду Набэсима — в Исахая и ждать там дальнейших указаний. Иными словами, даже в этих чрезвычайных обстоятельствах князьям выступать за пределы своих княжеств запрещалось.

Это бы еще полбеды — гораздо удивительней был приказ, посланный с нарочным Хатиросэму Сима, доверенному князя Набэсима в Осака.

На северной оконечности Симабара князю принадлежал небольшой клочок земли с селением Кодзири. Так вот, в

приказе Итакура говорилось, что неаачем держать войско в Кодзиро, отстоявшем всего в двух с небольшим ри от Симабара, а потому им надлежит немедленно следовать в Исахая.

Хатироэмон Сима был поражен. Если бы ему приказали усилить посты и сторожевую службу, это было бы понятно, но отступить... Тем более, когда речь идет о Кодзиро, где как раз ломали голову, не зная, что предпринять, — ведь из замка Симабара уже просили о помощи. Выведи он сейчас войска из Кодзиро, что подумают осажденные в замке? И он тут же донес о нелепом приказе Итакура правительственному мэцкэ, а тот сообщил о нем в Эдо.

Итакура еще не успел добраться до Симабара, а над ним уже нависла туча. Он хорошо понимал, как велики трудности, стоявшие перед ним. В довершение беды, он почти не получал точных сведений, и чем дальше он продвигался, тем труднее становилось их добывать. Наиболее полными сведениями обладал князь Хосокава. Будь верховный пачальник из дома Оварп, Кии или Митто, то есть из «Трех семейств», а его помощник — членом Совета старейшин, Хосокава, не считался ни с чем, по собственной воле снабжал бы его сведениями и стремился бы всячески сотрудничать с посланцами правительства. Ну, а с Итакура церемониться нечего. Дохода у него каких-то жалких двенадцать тысяч коку, в Эдо он ценится невысоко, а коли так, благодарность за содействие будет ничтожна... Войска Хосокава, умевшего собирать столь полные сведения да к тому же переправлять их в Эдо так быстро, что в соседнем Набэсима только руками разводили от изумления, — эти войска, оказывается, вовсе не должны идти в Симабара. Им предписывается плыть на Амакуса и помочь там отрядам князя Тэрадзава... А между тем именно в княжестве Хосокава быстрее других было введено чрезвычайное положение, именно Хосокава уже почти завершил подготовку к боевым действиям. Все было бессмысленно — ведь на островах уже не осталось сколько-нибудь значительных сил повстанцев. Они ушли в Симабара...

Какими же силами располагал Итакура? Восемнадцать тысяч — из Набэсима, четыре тысячи — из Мацукура да еще его личный отряд в шестьсот человек с небольшим...

Причем войско Мацукура утомлено и рассчитывать на него пока вряд ли следует. Добавить к этому горсточку слуг Ивая, итого — не более двадцати трех тысяч человек. В то время как у бунтовщиков в замке Хара — восемьдесят с половиной тысяч боеспособных мужчин. А известно, что осаждающие должны впитеро превосходить осажденных.

Молодой Сигэнори Итакура озабоченно поглядывал на отца...

Х. Власть государственная

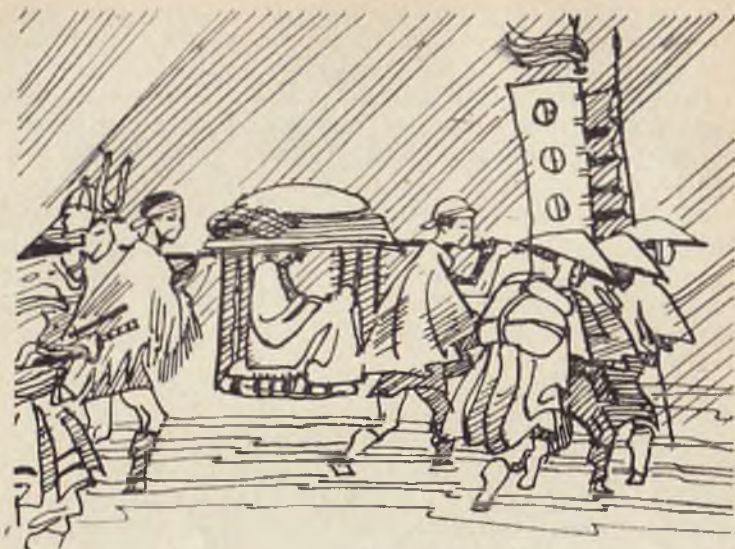
(Продолжение)

В Кокура Итакура и Ивая прибыли в двадцать шестой день одишадцатой луны. Здесь им подробно доложили о положении в Амакуса. Замок Томпока еще держался, но пачальник его Миякэ пал в бою... Войско Хосокава подошло уже почти к самому Такасэ в Хиго и ожидало лишь приказа, чтобы обрушиться на мятежников Амакуса, однако Хаяси и Макино на подобный приказ решиться не могли.

Итакура приказал выступить немедленно. Он велел также Хаяси и Макино сопровождать войско Хосокава и участвовать в принятии всех важных решений. (Договорились, что прежде всего Дзиндзабуро Мацудайра тщательно разведает обстановку на Амакуса.) Посланник приказал: после усмирения смутьянов Амакуса силы беречь, умело применять пушки и мушкеты, а пленных сжигать заживо.

В Кумамото приказ встретили с радостью. Однако, внимательно прочитав его, Кэинэцу Нагаока и другие пришли в изрядное смущение. Дело в том, что в первом своем распоряжении, сделанном еще по дороге, Итакура велел поставить войско Хосокава близ Кавадзири. Туда уже пригнали несколько сотен судов, и моряки ждали сигнала к отплытию в Симабара. Однако теперь, чтобы плыть к островам Амакуса, нужно было прежде перегнать все суда в гавань Мисеуми, которая расположена на побережье прямо напротив главного острова Амакуса.

Стояла зимняя непогода, дул встречный ветер. Изменение курса породило неразбериху и сумятицу. Многие суда сталкивались, тонули... «Куда это годится, что за нелепые распоряжения!» — возмущались Хаяси и Макино.



Как только прибыл человек, занимающий более высокое положение и обладающий правом приказывать, оба чиновника тотчас обрели быдую самоуверенность.

Суда все же прибыли в Мисуми. Великих хлопот стоило разместить шестнадцать тысяч человек в маленьком порту.

Наступил четвертый день двенадцатой луны. Макино и Хаяси гневно требовали скорейшего отплытия. Однако опаздывал провиант; правительственные моцкэ не подозревали, насколько бедны острова Амакуса.

Только к концу дня перебрались через пролив Сато и произвели высадку на ближайшем острове Ояно. Не стихая, лил холодный дождь, потом с неба посыпалась ледяная крупа.

Вымокшие до пятки войска, вопреки ожиданию, не встретили никакого сопротивления. Тогда они разбили лагерь и отважились пройти к Сумото, но и там никого не оказалось. Все мужики ушли в Симабара. Пришлось жечь пустые дома...

В восьмой день двенадцатой луны получили сведения, что один отряд бунтовщиков, вооруженный и даже со знаменем, засел в Коцуура. Известили о том Макино и Хаяси



и снова припаялись ждать. Наконец прибыл ответ: время наступления уважем дополнительно. Делать нечего, надо было располагаться на отдых... Тем временем в осажденном Томвока началась прямая распря — одни хотели сделать вылазку, чтобы вместе с войском Хосокава ударить на Кочуура, другие возражали — нельзя-де бросать замок. Дошло до смертоубийства.

Пока Макино и Хаяси раздумывали, последние повстанцы погрузились в лодки и отбыли в Симабара...

Молодой Хосокава немедленно предложил Итакура переправить войско в Симабара. Итакура не согласился — «излишнее беспокойство». Хосокава не оставалось ничего другого, как надвор за островами Амакуса возложить на войско их владельца Тэрадзава, а самому вернуться к себе, в Кумамото.

В четвертый день двенадцатой луны Итакура высадился на землях князя Набэсима, в местечке Кодзиро, что на северной окраине полуострова Симабара. В тот же день он объехал деревни Миз, Куга, Хиданкуро, а сын его побывал в Ниспэ и Ямада. К вечеру они вновь съехались в

Кодзиро, а наутро пятого дня прибыли наконец-то в замок Симабара. Вскоре до посланника стали доходить весьма удивившие его вести, а заодно и печальные отзывы о нем.

В Кодзиро посланнику рассказали следующее. Примерно в полутора ри от Симабара было ущелье Самбогги, над которым навис громадный пик Ундзэи. В этом ущелье, неподалеку от деревни Миэ, находились провиантские склады княжества Мацукура. Когда замок Симабара оказался в осаде, из этих складов доставили осажденным около семисот мешков риса. Некоторое время спустя за продовольствием был вновь послан вооруженный отряд — четыреста человек под началом трех старших самураев. В отряде имелось около сотни мушкетов. К тому же приняты были особые меры предосторожности, так как деревня Миэ успела перейти на сторону бунтовщиков.

Едва отряд углубился в узкое ущелье, как подвергся нападению. Среди нападавших было немало таких, кто искусно владел огнестрельным оружием — Кишсаку «Попади в яглу», например. Потеряв около тридцати человек убитыми, отряд обратился в бегство и укрылся в замке. Самураи оказались бессильными сопротивляться повстанцам. А ведь Кодзиро отстояло от деревни Миэ всего лишь на каких-нибудь три ри.

В осажденном замке негодовали — приди гарнизон Кодзиро к ним на помощь, удалось бы избежать позора. Но князь Набэсима не осмелился послать войско в чужие владения...

Итакура невольно вспомнил о своем первом приказе: Он решил тогда, что держать войско Набэсима в Кодзиро — бессмысленно, и приказал немедленно отвести его в Исахая. Приказ вызвал недовольствие Набэсима и Мацукура: безусловно, с их точки зрения, он был трудно объясним. Это предстало Итакура с совершенной ясностью. Теперь его обвинят в педальновидности, в перасчетливости.

Итакура узнал также, что им недовольны и Макино и Хаяси. Еще в двадцать второй день одиннадцатой луны, ознакомившись с положением дел, они приказали Хосокава срочно доставить в осажденный замок сто коку риса и пятьдесят коку бобов. Хосокава тотчас же выдвинул два корабля с тремя сотнями мешков риса и сотней мешков бобов.

Доставивший груз Санъэмон Ямамото встретился в замке с Фудзисэмоном Тапака, доверенным Мацукура. Тапака с радостью принял было рис и бобы, однако в это время неожиданно вошел самурай и сказал: «В замке еще имеется достаточный запас продовольствия. Благодарим за добрые намерения, но в скором времени из Эдо должен вернуться наш господин, князь Сигэцугу Мацукура, и нам неизвестно, одобрит ли он нас, принявших помощь от господина Хосокава, несмотря на вполне достаточные запасы... Просим поэтому забрать все привезенное вами...» Оторопевший Санъэмон пояснил, что рис и бобы доставлены по приказу столичных властей, и попросил принять хотя бы то, что уже доставлено. Но вызвали грузчиков, и он в полном изумлении наблюдал, как весь провизант оттаскивали обратно па пристань.

Итакура распорядился слова просить князя Хосокава прислать необходимое продовольствие. Но еще раньше князь Мацукура, возвратившийся из Эдо, сделал то же самое — всего через семь дней после того, как помощь была отпергнута его людьми. Отношения между Хосокава и Мацукура испортились. Молодой Хосокава уже отправился в карательный поход на Амакуса и все же скрепя сердце приказал отослать тысячу мешков риса и четыреста мешков бобов. Более того, по возвращении в Кумamoto он счел за благо, ведь это было распоряжение Итакура, увеличить помощь: риса отправить до тысячи четырехсот, бобов — до восьмисот мешков.

Слухи об этой истории дошли до столицы. Старый Хосокава пришел в ярость. Конечно, приказы Итакура — дело важное, но с какой стати, спрашивается, должны они помогать «этому недотепе» Мацукура, да и зачем теперь? Ведь осаждавшие замок Симабара бунтовщики уже сняли осаду и ушли в замок Хара. Мацукура мог купить продовольствие где угодно! Все равно этот недотепа рано или поздно сломает себе шею... старый Хосокава решил даже на некоторые ужасные слова, говорил: ничего, мол, надеяться на возвращение долга.

Прошло немного времени, и Итакура понял, что война с крестьянами — отнюдь не веселая прогулка. Вдобавок, ему никак не удавалось добиться единства в собственном лагере. Князь Мацукура гневался на своих подданных,

осмелившихся поднять восстание. То, что виноват в этом прежде всего он сам, ему и в голову не приходило.

Самураи и слуги при виде мрачного со вздутыми свиными жилами княжеского чела тряслись от страха. Как бы не спросили с них за содеянное! Они уже догадались, что бессмысленные жестокости лишь укрепляют единство восставших, а христианская вера придает им силы.

Итакура становился все молчаливее. Самураи князя Мацукура не сумели хоть в малой степени приноровиться ни к крестьянам, ни к местным самураям. А усмирить бунтовщиков они не смогли, так как опасались даже на краткое время покинуть замок: прислуга из местных могла в их отсутствие подпалить его.

Советники правительства не имели точно определенных прав, к тому же их непрерывно переводили из одного княжества в другое. Поэтому всеми правдами и неправдами они стремились свалить с себя бремя самостоятельных решений.

В этом было поистине великое зло, чинимое властью, не связанной с местными жителями ничем, кроме отношений угнетателей и угнетенных.

Обычный крестьянский бунт постепенно превращался в могучее движение, проникнутое совершенно особым духом, который был резко враждебен официальной идеологии — или, вернее, полному отсутствию таковой...

Все эти противоречивые обстоятельства, а для устранения каждого пужно было одолеть неисчислимые трудности, обрушились на Итакура, и тяжесть возникших перед ним вопросов, так непохожих на те, что возникали в битве при Сакигахара или во время Осацких кампаний, легла на его плечи.

Итакура, лишь недавно оправившийся от болезни, был измучен внезапной и поспешной поездкой. У него не оказалось ни времени, ни возможности все толком продумать и взвесить. Полученный в Эдо приказ требовал: «Разгромить!» Но люди — не фишки. Одними карательными походами и казнями не обойдешься. Да и государственная власть так устроена, что ни одно ее решение не способно привести к каким-либо коренным изменениям. В схватке с безоружными крестьянами и бывшими самураями Итакура придется испытать на себе всеокрушающую силу поднятой этим восстанием бури. Так же, впрочем, как и самим повстанцам.

А ведь там, в столице, ни один человек не примет во внимание того, что узнал и испытал он,— полную неизвестность, страшную усталость, какое-то особое, обостренное восприятие событий в обстановки и в то же время внезапное ощущение неуверенности, мучительное чувство неспособности оценить ситуацию... С кого же спросят за все, что произошло и что еще произойдет?

В тот самый день — двадцать шестой — одиннадцатой луны, когда Итакура со свитой прибыл в Кокура, в Эдо состоялось повое важное совещание. Решения его, с точки зрения властей, лишь отражали естественный ход событий, для Итакура они явились странным ударом...

Сёгун Иэмицу был болен. Весть о болезни властителя — благодарный повод для всяческих измышлений.

Государственный совет постановил для борьбы с восстанием отправить Нобуцуна Мацудайра, князя Идзу. В помощники ему назначили Удзиканэ Тода. Вместе с ними в Спмабара выехал Ёрису Носэ, ведавший финансовой палатой.

Конечная цель нового назначения заключалась, разумеется, в скорейшем подавлении смуты. Затем князь Идзу и его помощник должны были заняться наведением порядка. Однако с течением времени действия властей обретают двойной и тройной смысл. Означенное решение Государственного совета определило дальнейшую судьбу Итакура.

Князю Идзу так же, как и Итакура, присвоили звание верховного начальника карательной армии. Предполагалось, что он будет всячески содействовать Итакура, а Итакура — сотрудничать с князем. В указе говорилось, что отныне верховными начальниками станут эти двое, однако Мацудайра стоял на лестнице власти куда выше Итакура. Следовательно, Итакура расценит приезд князя как знак недоверия к себе, и это добавит к трудностям, с которыми он уже столкнулся, новые, и не менее неприятные.

Решение о назначении Нобуцуна Мацудайра состоялось, когда Итакура даже не успел еще добраться до места событий. Князю вручили множество пустых бланков с красной печатью сёгуна; он мог по своему усмотрению реквизировать суда, повозки, нанимать рабочих... Итакура никогда не имел столь обширных полномочий.



По дороге из Кокура в Симабара Итакура издал следующую приказ:

«1. Ныне отправляюсь я в Симабара для уничтожения смутьянов. Начальствоваше всеми отрядами, участвующими в сем походе, возложено на меня и на Садакиё Ивая.

2. Запрещаю нападать на смутьянов самовольно, без моего на то приказа или без приказа Ивая. За самовольные действия буду строго наказывать. Запрещаю ссоры, стычки и всякое нарушение порядка.

3. Смутьяны подлежат уничтожению все без разбора, если даже некоторые похожи на самураев».

На девятый день двенадцатой луны войска подошли к замку Хара. Первое, что поразило их,— бесчисленные знамена на крепостных стенах.

Подойдя ближе, они увидели, что в центре замка, где, судя по всему, находился Главный бастион, построена высокая наблюдательная вышка, а рядом установлено огромное распятие. Из всех амбразур торчат флажки с крестами, нарисованными красной краской, или маленькие распятия.

Местность благоприятствует скорее бунтовщикам, нежели войскам Итакура. С трех сторон к замку подступает



море, и почти всюду берег обрывается крутой, отвесной стеной. Только бастион Амакуса отлогим склоном соединяется с сушей, но и здесь крепостная стена тянется вдоль крутого, выше человеческого роста обрыва, под которым раскинулись залитые водой поля и низина, во время прилива затопаемая водой.

Ветер доносил удивительно стройно поющие голоса. Потом пение вдруг обрывалось и наступала глубокая тишина, в которой слышались удары молотов да по временам долетал колокольный звон.

Итакура и Ивая внимательно, напряженно всматривались в открывшуюся им картину.

...Пусть в замке и есть горстка христиан-самураев, все-таки это обыкновенное собрание мужичья!

...Да, но нельзя не учитывать силу, рождаемую отчаянием...

...Как видно, немало смутьянов прибыло в замок только нынешним утром. (Действительно утром этого дня две с лишним тысячи человек с острова Амакуса высадились у замка и присоединились к повстанцам.)

...Мятежники еще не вполне готовы к бою...

...Промедление недопустимо...

...Но ведь и наше войско тоже еще не готово. Нет единства...

В старом замке Хиноэ, близ деревни Северная Арима, Итакура собрал военачальников на совет.

Стены замка имеют высоту около семи сажу и настолько толсты, что пробить их ружейным выстрелом печего и думать. Через каждые два кола устроены амбразуры, а через каждые четыре — навалены камни, штук примерно по сто в каждой груди.

Боеспособных мужчин в замке более двадцати трех тысяч, женщин и детей — около тринадцати тысяч. Мушкетов имеется, насколько можно судить, около двух тысяч, луков — двести, боевых топоров — двести, копий — сто, запасов риса — десять тысяч коку, различного зерна еще пять тысяч коку; пороха также изрядное количество...

В сердце Итакура все еще теплилась надежда. Ведь повстанцы — это крестьяне, пострадавшие от князей Мацукура и Тарадава; быть может, приход правительственного войска заставит их бросить мечи и конья, и они сами запросят пощады...

А тем временем из Эдо один за другим прибывали гонцы. Иные из них сразу же поворачивали назад, даже не заглянув к Итакура. Другие же посылались к нему военными советниками; среди этих последних было много людей, вовсе не знакомых Итакура. Прибывали ровппы — надеялись, что война предоставит им случай отличиться и выслужиться. Шли люди из Нагасаки. Явились посланцы с приветствием от князей Симадзу и Хосокава...

В конце совещания Итакура огласил свой приказ. Все перемещения внутри боевого лагеря производятся только по его указанию. Начинать сражение самолично строго запрещено. Если же противник попытается навязать бой, отойти на некоторое расстояние и отвлечь мушкетным огнем. Детей и женщин не убивать. Самовольно покидать лагерь или отводить свои отряды — запрещается.

Всем казалось, что приказы Итакура состоят из одних запретов.

А из Эдо и других городов все прибывали посланцы разного рода, наблюдатели, советники... и лазутчики.

Надвинулись сумерки. Из крепости слышались голоса, распевавшие незнакомые, чужие молитвы.

Прислушиваясь к пению, дозорные повстанцы на вышках внимательно вглядывались в лагерь карателей.

XI. Нет высших, нет низших

Едва повстанцы узнали о прибытии Сигамаса Итакура, они принялись за дело с удесятеренным рвением. Около сотни самых выносливых крестьян каждый день выходили через ворота близ Лотосового пруда, пробирались между скал к морю. Раздевшись догола, они входили в ледяную воду и шарили по дну в поисках камней, которым предстояло стать оружием во время теперь уже близкого штурма. Камни у самого берега были почти все выбраны. По горло в воде, люди подолгу искали подходящие обломки. Затем на носилках или просто на спине они втаскивали тяжелые камни по крутому откосу — привычное дело для людей, всю жизнь проработавших на маленьких тощих полях, террасами обогающих почти к самому морю.

По временам сборщики камней поглядывали на маленькую отмель под скалой, между Главным бастионом и бастионом Амакуса: там была привязана быстроходная тридцативесельная лодка — одиночная уцелевшая...

Внутри крепости, вытянутой четырехугольником вдоль морского берега, вырыли длинный ров для укрытия от мушкетного огня. Ров был разветвлен — нечто вроде «ходов сообщения», по ним можно было сношаться с самыми отдаленными участками крепости.

Вокруг хижины павалили землю, так что виднелись одни крыши. Хижины как бы зарылись в землю.

Все эти дни Эмосаку с утра до ночи занимался строительством разных сооружений, распределением продовольствия, наконец, — пятью сотнями своих подчиненных. Сомнения по-прежнему не покидали его: смогут ли устоять крестьяне, даже если их тридцать семь тысяч, да еще горсточка ронкиев? Но с каждым днем он удивлялся все больше — столь велики оказались силы у людей, доведенных до отчаяния. С прибытием Итакура повстанцы творили настоящие чудеса: там, где еще утром были развалины, к вечеру стояли готовые сооружения, столь тщательно сработанные, что глаз не отличил бы их от тех, что были построены вначале.

Эмосаку пользовался всяким случаем, чтобы украдкой понаблюдать за Спро. В своей неизменной черной куртке, выделявшейся среди белых одеяний остальных, с коротким мечом за поясом, Спро обходил бастионы, спускался

в траншею, где укрывались женщины и дети, заглядывал в самые дальние углы крепости. Так он проводил целые дни, за исключением утра и вечера, когда руководил общественной молитвой. Как только он появился, люди приветствовали его, а он благословлял их.

Обыкновенный юноша, ничем не примечательный, в черной куртке и белых хакама... На груди у Сиро — золоченая ладанка с начертанными на ней латинскими буквами J. H. S. — Jesus Hominum Salvator — Иисус, спаситель рода человеческого. Но такие ладанки есть у многих других, — ладанки или четки. На щеках у него заметны щербинки — след осы, короче говоря, во всем его облике нет ничего, ну ровным счетом ничего примечательного. Однако в эти последние несколько дней во взгляде Сиро появилась особая значительность. Эмосаку сразу заметил это.

...Что ж удивительного! В его годы не всякий становится во главе чуть не сорока тысяч человек. Конечно, он должен быть взволнован... Не в этом ли разгадка его поведения? Так убеждал себя Эмосаку, по ему явно было мало этих доводов для объяснения перемены, происшедшей в Сиро.

На днях один роини тайно забрался в женский барак. Разгневанные Тюбэй Асидзука и Кюи из Ариэ не преминули бы сурово расправиться с нарушителем порядка, однако Сиро, случайно проходивший мимо, спокойно заметил: «Сейчас не время...» И старейшины покорно отпустили виновного.

Итак, перечить юноше больше не решаются. Даже в таких, можно сказать, мелочах... Раньше столь почтительного отношения к Сиро не замечалось. Что же, в сущности, переменялось?

Может быть, причиной тому необычайное душевное напряжение, порожденное осадой, и именно безнадежность обстановки вызывает у людей потребность верить в кого-то, возложить на кого-то все свои упования? Может быть, причиной тому предчувствие скорой гибели?

На другой день, когда Эмосаку присел на камень передохнуть после обеда, Сиро подошел к нему.

— Я иду в бастион Амакуса. Не хочешь ли пойти вместе?

Этим утром с острова Амакуса прибыло на лодках еще две тысячи человек. Население крепости встретило их громкими приветственными криками. В честь наиболее уважаемых лиц из числа вновь прибывших устроили торжественный прием. Несколько радужных слов пропел Сиро. Он говорил спокойно, тихо, но без тени робости; речь его была далеко не так воинственна, как выступление Тюбэя Асидзука или Дзэйтэмопа Яма.

— Мы пришли сюда в эту крепость отсюда не ради каких-либо благ земных. Господь наш *дэус*, святая Мария и все ангелы будут следить с небес за сражением нашим, в кое вступаем ради спасения наших *анима*, и ангелы встретят наши *анима* у врат рая и увенчают венцами... Мы решили пожертвовать жизнью для утверждения нашей веры...

Потом Сиро сказал, и это больше всего поразило Эмосаку:

— Братья! И небеса и земля суть творения господа. Значит, все сущее происходит от единого корня и по сути своей едино. Нет и не может быть на земле деления людей на высших и низших. Вот мы собрались здесь, в нашей крепости, нас здесь многие тысячи, и пусть среди нас есть и высшие и низшие по должности, пусть некоторые из нас должны повиноваться приказаниям старших, но деления на высших и низших меж нами нет. Мы все здесь равны, и я хотел бы, чтобы вы хорошенько это поняли... — спокойно, точно речь шла о самых обычных вещах, заключил он.

Эмосаку отлично знал, что всеобщее равенство перед богом — краеугольный камень христианства. Но раньше об этом в Японии говорили только *падре* или монахи-миссионеры, — во всяком случае, люди духовного звания, и идея равенства сохранилась лишь у немногих верующих, успев потускнеть и наполовину стереться в памяти. И вот сейчас Сиро говорит об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, естественном. Эмосаку был поражен и взволнован. Если нет высших и низших, если все люди равны, — значит, нет различия между самураями и крестьянами? Даже *падре* и монахи не заходили так далеко в своих проповедях! Готов ли он, Эмосаку, идти общим путем с повстанцами?

С этого дня к душевным мукам художника добавилось новое сомнение — под силу ли ему идти одним путем с такими людьми?..

Эмосаку, к несчастью своему, находился слишком близко к штабу восстания, он имел возможность наблюдать его как бы изнутри, видел и взаимную борьбу руководителей, и столкновения человеческих страстей.

...Услышав приглашение Сиро, Эмосаку встал.

— Хорошо. Пойдемте.

Они свернули направо, миновали обрыв и подошли к отлогому, поросшему соснами холму. Здесь пахнулся бастион Амакуса.

Старуха о-Соно, ее дочь о-Киё и зять Бунго закончили плетение корзин и теперь усердно трудились над бамбуковыми фашинами. Несколько таких фашин, скрепленных деревянной рамой, назывались «бамбуковыми быками». По мере паступления эти «быки» постепенно продвигали вперед, а в случае обороны они служили хорошим прикрытием.

Здесь же изготовлялись бамбуковые копья.

Сиро медленно проходил мимо поглощенных работой людей, а навстречу ему несло: «Господин Сиро... Господин Сиро...» Некоторые поспешно сдергивали головные повязки и кланялись, другие крестились. Сиро поднимал руку и с легким поклоном говорил: «Спасибо за труды!» — или, мешая японский и португальский: «Да славится *Сангиссимо Сакраменто*».

В своей черной куртке и белых хакама, с коротким мечом за поясом, Сиро напоминал сына или младшего брата самурая, разгуливающего по мирной городской улице. До чего же нелеп рядом с ним оп, Эмосаку, в шлеме из соломы и бамбука. Конечно, эти дикие шлемы носит не он один... «Но как смешно, должно быть, я выгляжу со стороны», — невольно думал художник.

Они подошли к о-Соно.

О-Киё и Бунго вскочили первыми. Поднялась и о-Соно, растирая рукой поясницу.

— Вот это фашины? — спросил Сиро и жестом пригласил их продолжить работу.

На опушке рощи оказались двое мужчин; мелкими шажками они подбежали к Сиро. Один был лет пятидесяти, он уже начинал лысеть, второй — помоложе, толстенький, малорослый.

Ко всеобщему изумлению, тот, что постарше, вдруг опустился на колени и низко поклонился Сиро. «Что еще за представление?» — подумал Эмосаку.

— Э, да это никак Хикодзо из Сиги...— пробормотала о-Сопо.

— Верно...— искоса взглянув на о-Сопо, отвечал человек по имени Хикодзо, продолжая смотреть на Сиро с таким видом, словно его перебили в тот самый миг, когда он уже собрался заговорить.

— Встань,— попросил Сиро, но Хикодзо, склонившись еще ниже, тихо заговорил:

— Я ссужал деньги тем, кто приезжал по морю, чтобы помочь им в торговле... Когда ссужал деньги, брал залог, ну, конечно, проценты... На сто моммэ¹ десять и двадцать, а то и тридцать, моммэ брал. Так уж повелось — каждый берет по своему усмотрению... И мужиков, когда приходило время сеять, тоже ссужал либо деньгами, либо семенами, ну, и тоже получал с урожая двадцать или тридцать моммэ с каждой сотни, и так шесть лет... Ремесло это, конечно, терзало мне *анима*, но ведь не мной оно заведено — как другие делали, так и я.

Суровые лица крестьян явственно говорили, что им или их родным пришлось хлебнуть немало горя по милости этого лысеющего ростовщика.

Сиро молчал.

— Но теперь, раз уж нам всем предстоит встретиться здесь конец света, хочу исповедаться в грехах, шесть лет лежавших на моей *анима*, и очистить душу.

Эмосаку не верил своим ушам.

Стоявший на коленях ростовщик подобострастно смотрел на Сиро. В его взгляде было искреннее раскаяние и в то же время что-то бесконечно низменное, алчное. Эмосаку содрогнулся.

Старая о-Сопо язвительно сказала:

— Ага, наконец-то ты уразумел, что к чему! Да чтоб господь наш Иисус и Санта-Мария допустили на небо ростовщика, об этом и думать не смей. Скорее пролезешь сквозь игльное ушко.

Легким движением руки Сиро остановил ее, затем перевел взгляд на второго мужчину, толстешького, с глубоко запавшими глазами.

— А я, господин, папаял батраков на свое поле, а деньги прижал... Они были бедняки и много раз просили меня — заплати! Но я подумал — как же так, сразу все

¹ М о м м э — здесь: старинная денежная единица.

заплатить, вроде убыток получится. Так и не заплатил... Вот решил покаяться, да только поздно спохватился, теперь, видно, дела не выправишь... Была у меня еще кое-какая торговлишка... Старался выручить побольше, плохой товар сбывал, гниль хвалил на все лады, людей обманывал. И еще, хоть и знал, что товар — краденый, а все равно, раз отдавали по дешевой цене, пу, и и брал, случалось.

В отличие от Хикодзо, этот кругленький человечек, казалось, действительно страшился светопрествления. Когда он умолк, в его глазках появилось какое-то необычное сияние.

«Ведь оба они, — думал ошеломленный Эмосаку, — и этот ростовщик Хикодзо, и торговец Дайхати, — давали и рост денег, сужали крестьянам семена, пашмали батраков и выжимали из них все соки, и так повторялось из года в год; а теперь они здесь вместе с теми, кого они обездолили. Вполне возможно, что пришли они сюда поневоле, им просто-напросто пригрозили. Но, попав в крепость, они испытали на себе силу веры и воли тридцати семи тысяч человек, готовых на смерть. И тогда, не в силах вынести враждебности этих людей, они юннулись искать защиты у Сиро...»

Юноша произнес:

— В заповедях сказано: только тот может принять смерть за веру, кто почувствует, что повинен в смертных грехах. И если выпадет ему счастье неповедаться, то прежде он должен покаяться в смертном грехе. Если же, вкусив счастья неповеди, он умолчит о всех своих преступлениях, то не удостоится тернового венца... Если тот, кого ты мучил, находится здесь, тебе надлежит отыскать его и просить его о прощении. Когда получишь это малое утешение для своей *консиенсия*¹, прими участие в будущем сражении, и с радостью отдай жизнь господу.

Некоторое время оба ростовщика безмолвно смотрели на Сиро, затем точно уразумев наконец смысл его речи, все так же молча поклонились и скрылись в роще.

— Да славится *Сантиссимо Сакраменто!* — глядя им велед, произнес Сиро.

Люди снова дружно припаялись за работу.

Эмосаку и Сиро уже поднимались по склону, когда Сиро неожиданно оглянулся:

¹ Консиенсия — совесть (португ.).



— Что ты подумал об этом?

Вопрос застал Эмосаку врасплох.

— Я подумал, — может быть, вы и впрямь примете у него исповедь? — наконец выговорил он. Эти слова стояли ему немалых душевных сил. Весь свой дух сопротивления вложил он в них и, если угодно, — пропью. Ведь принимать исповедь и давать отпущение грехов имеют право одни лишь *падре*. Здесь нет *падре*, а Сиро не может заменить их...

На лице юноши мелькнула слегка удивленная улыбка. Эмосаку показалось, будто именно такое выражение видел он много раз на картинках, изображающих святую Марию, и сам невольно удивился подобному сравнению. «Чего доброго, я тоже попаду в плен обаяния этого мальчугана». Сиро словно пропик в мысли Эмосаку.

— Я так и знал, что ты это скажешь... Нет, я не обладаю правом принятия исповеди. Зато взамен крещение думаю предложить.

— Понимаю.

...Что значит «взамен»? Кому и взамен чего? Спрашивать — бесполезно. Если Сиро отваживается так говорить, значит, он уверен в своих правах. Может быть, душевная решимость необходима ему для поддержания единства этих тысяч людей, среди которых немало иноверцев-буддистов...

Ветер, пробежавший по верхушкам сосен, доносил разпоголосый шум вражеского стана — передовые отряды карателей уже приблизились к крепости, и подходили все новые.

— Господин Сиро! — неожиданно послышалось откуда-то сверху.

К макушке высокой сосны была подвешена корзина, в ней сидел дозорный.

— Господин Сиро, сюда пожаловал князь Набэсима. Рядом с полосатым знаменем — белый значок и княжеский стяг с изображением белого медведя...

Дозорный неплохо знал геральдику, — как видно, был из ронинов.

Сиро и Эмосаку поспешили к Главному бастиону, а там уже гремел барабан — низкий, глухой рокот его катился по замку.

В этот день, девятый день двенадцатой луны четырнадцатого года Канэй, повстанцы трудились до самой

ночи. Казалось, живое дыхание труда густыми клубами поднимается над старой крепостью. Новички, прибывшие сюда утром, уже разбитые на отряды, усердно работали наравне со всеми.

Войско Набэсима расположилось лагерем недалеко, к северу от бухты Оэгути, а войско Мацукура — в селении Китаока, так что передовые посты последнего подходили почти вплотную к развалинам Третьего бастиона. На высоких шестах развевались стяги — черно-белые, с алой полосой посередине. Ставка Итакура была, надо полагать, между лагерями Набэсима и Мацукура, возле Урадаяма: там виднелось знамя верховного начальника — полумесяц на белом шелковом поле.

Защитники крепости и каратели время от времени жестоко брались друг с другом.

— Эй вы, довольно вы над нами измывались — горсть последнюю риса отбирали, пытали, в воде топили... Где там у вас пилы и клещи? Несите сюда, мы вам покажем, каково людей мучить!

— Придержали бы языки, мразь христианская!

— Чего зря мелешь, никакой я не христианин!

— А коли так, зачем к ним затесался? Слускайся, иди к нам!

— Ну и брешет! Видно, хорошо его обучили эти вышивохи, прихвостни Мацукура!..

Воинам Мацукура доставалось особенно, тем более что среди заложников, приведенных повстанцами в крепость, было много жеп и детей пменно самураев Мацукура.

Над пиком Ундзэн сгустились тучи, холодный ветер дул над островами Амакуса, смутно видневшимися сквозь застилавшую море туманную пелену.

...Обратный путь Сиро и Эмосаку проделали молча. Эмосаку вспоминал поразившее его лицо ростовщика Хикодзо и думал: «Вот и мое лицо сейчас, паверное, выглядит точно таким же...»

XII. Нет высших, нет низших

(Продолжение)

А вечером девятого дня двенадцатой луны во всех отрядах шло торжественное вечернее богослужение. Отправляли его начальники отрядов. Ветер ненадолго стих, и

молитвы во славу небесного владыки, во славу святого писания, за живых и мертвых, за непосланье надежды, неслашь сквозь зимние сумерки, долетали до военного стана всего великого японского государства, которое утром этого дня закончило окружение замка.

Теперь, когда в Японии не осталось ни епископов, ни падре, только здесь, на окраине Японии, можно было свободно провозглашать и толковать христианскую религию. Да, ипетине свободно! Так свободно, что наприд ли японское христианство могло когда-либо получить благословение папы римского.

Однако святое распятие, некогда собственноручно пожалованное папой одному из японцев, — папой, который ныне ни за что не признал бы их веру подлинным христианством, — сверкало у Сиро на груди, в лучах вечернего солнца, уже клонившегося к гребню гор.

...Это случилось ранним утром. К воротам замка торопливо подошел путник. Дозорные внимательно следили за ним. В последнее время стража была особенно бдительна, — ведь с часу на час ожидалось нападение вражеских войск. Низко надвинутая шляпа-амигаса почти полностью закрывала лицо незнакомца. На нем была шелковая одежда, подвязанная узким поясом, и поверх — ряса внакидку. За поясом торчали меч и флейта, какие обычно носит комуэо* — бродячие монахи-музыканты. Заметно было, что он проделал пезегкий путь, одолев немало горных троп и перевалов, монашеская одежда его была порвана, а ноги, обутые в соломенные сандалии, стерты в кровь.

— Кто такой?

— Меня зовут Бернардо, — к всеобщему изумлению, ответил монах, не снимая амигаса. Однако дозорный, рассудив, как видно, что комуэо и христианин в одном лице — сочетание невероятное — потребовал:

— Предъяви доказательства!

Тогда монах вытащил из-за пазухи ярко блестящее золотое распятие.

Монаха немедленно пропустили и отвели в Главную башню, где его принял Дзимбай Масуда, отец Сиро. Здесь Бернардо снял свою амигаса. Он оказался совершенно седым. С этой минуты и до самой смерти он уже никогда больше не будет скрывать своего волевого лица с толстыми губами и густыми бровями...

Бернардо своего настоящего имени не назвал, сказал только, что некогда ему было разрешено носить христианское имя Бернардо и что ныне он пребывает, как изволил видеть Масуда, в убогом, нищенском состоянии... Об остальном Бернардо умолчал, предпочитая хранить свою историю в тайне. Дзимбэй Масуда не стал доискиваться до истины, однако догадался, что страстующий монах-музыкант, как видно, из бывших самураев Арима.

То, что он принес с собой, было поистине чудом, невероятным чудом из чудес.

Ведь это было то самое распятие, которое почти полвека назад японские послы Сэясу Мансио Ито и Киёдзаёмом Мигель Титива получили из рук Сикета Пятого для князя Харунобу Джоана Протазии Арима. К распятию папа присовокупил меч в серебряных позолоченных ножнах и бархатную шапку, расшитую жемчугом. В марте 1591 года епископ Алессандро Валиньяни вручил эти дары князю Арима, в его часовне. Минувало уже четверть века с тех пор, как князь Харунобу умер. Случилось это 6 мая 1612 года, в Косю, где князь отбывал ссылку...

Распятие было отлито из чистого золота; в нижней его части был еще один, маленький крест, окруженный венцом — чудесная работа искусного мастера.

После разгрома замка Хара распятие оказалось погребенным в земле. Триста шестнадцать лет пролежит оно там, пока не будет найдено в 1954 году...

Князя Харунобу Протазии Арима, получившего благословение папы римского, христианство привело к гибели, а его бывшие слуги и восставший народ стояли теперь, озаренные сиянием золотого креста, не имея ни малейшей надежды заслужить признание папы...

Чудо из чудес сияло на груди юноши, руководившего молитвой в Главном бастионе. Люди верили в чудеса. Им казалось, что сюда, в этот разрушенный замок, с неба пролилось золотое сияние. Казалось?.. Нет! Для повстанцев это было нечто реальное, высшая действительность, внезапно озарившая их золотым светом.

Рядом с юношей, руководившим молитвой, молча стоял Бернардо, буддийский монах, вернувшийся в лоно христианства, сбросивший рису и надевший белую куртку повстанца. С амигаса он тоже расстался и только флейту крепко сжимал в руке.

Из всех религий именно христианство («Дом мой домом молитвы наречется» *) столь ревностно соблюдает утреннюю и вечернюю молитвы. В крепости молитва стала обязательной частью распорядка дня. Здесь не было, разумеется, как некогда в коллегии, в Хатираю, ни органа, ни клавишембало *, но хор тридцати семи тысяч голосов звучал достаточно мощно и не нуждался в сопровождении.

До конца утренней молитвы было еще далеко, и все же Наокити не утерпел.

— Ты кто будешь? — тихо спросил он незнакомца лет тридцати. Наокити еще ни разу не видел здесь этого человека. Лицо у соседа было обвязано полотенцем густого синего цвета; такой синей краски в Симабаре делать не умели. «Разве что в Ава делают такую...» — подумал Наокити, однако больше расспрашивать не решился. В крепость каждый день является отовсюду множество единоверцев, и подвергать незнакомого человека подозрениям только из-за того, что раньше не приходилось его встречать, было невежливо.

Незнакомец буркнул что-то и окинул Наокити пронзительным взглядом. «Ну и глаза... Будто сверла!..» — подумал Наокити.



Этот человек не был ни христианином, ни вообще здешним уроженцем: лазутчик Скэбэй Дородо проник в крепость по приказу Дзиндзабура Мацудайра.

Мацудайра должен был разведать настроенные западных князей в связи с восстанием. В особенности — Спмадау, князя Сацума. Князь постоянно уклонялся от поездок в столицу. Кроме того, в Сацума проживало немало людей, связанных родственными узами с Хидэио Укита *, — сторонников Тоётоми во время Осацких кампаний, а также бывших вассалов Кониси. Мацудайра разослал лазутчиков во все княжества Кюсю, сам же остановился в лагере князя Хосокава, чтобы обстановку в Амакуса изучить лично.

Одним из его агентов был Скэбэй Дородо, и сейчас, в крепости, ему приходилось довольно туго. Во всяком случае, он испытывал немалые затруднения. Уроженец Ига *, Скэбэй почти не понимал местного диалекта. Он словно попал на чужбину! Словно стал вдруг глухонемым. А ведь ему приказано выведать, нет ли в крепости сторонников бывших властителей Осацкого замка, и доложить о состоянии боевого духа осажденных. Но... и только. Хотя война давно уже шла, планы повстанцев не интересовали его начальство.



Для выполнения поручений подобного рода самое главное — умело вести разговор, а этого Скэбэй как раз и не мог. Раньше, когда он действовал в Санлидо *, все было просто, а здесь ни к кому нельзя было даже подступиться.

Особенно мешала ему привычка смутьянов примешивать к японской речи какие-то совершенно непопятные слова, латинские, видно, или португальские. Правда, несколько дней спустя он обучился некоторым, запомнил, что главаря смутьянов называют Сиро, что *хоспитале* — всего лишь землянки, отрытые во всех бастионах на случай появления раненых или больных, а слышимое часто «*Санта Мария*» хотя и не совсем понятно, однако же, судя по всему, — нечто вроде боевого клича. Ночной дозор они, кажется, обозначают словом «*вижилия*». Но когда эти и еще другие подобные слова перепутываются с непонятным, раздражающим ухо, местным говором, Скэбэй окончательно перестает что-либо понимать. Допустим, он усвоил наконец, что *вижилия* означает ночной дозор. Но вот кто-нибудь из здешних начальников говорит: «*Вижилия* должен быть сегодня *зэло*, ведь мы являемся образцом *эклесиа милитанте*, а потому — самое главное для нас *вита актива*». Или: «Все наше *посесион* отдадим госпоже нашей *Санта Виржиниа*».

Скэбэй Дородо хлопал глазами, так как разобрать ничего не мог, или робко подавал голос, когда все кругом разражалось ликующими криками. Он выкрикивал нечто странное и внимательно следил за собой: не сказать бы чего неподобающего. Короче, приходилось ему не легко... А слова того повстанца означали: «Ночной дозор должен быть особенно бдительным, ведь мы — образец церкви воинствующей, а потому самое главное для нас — жить жизнью деятельной». Или: «Все наше достояние отдадим госпоже нашей Святой Деве».

Обилию иностранных слов в речи повстанцев не следует удивляться. Высшие слои общества, власть имущие, большую часть официальных бумаг и исторических хроник писали на китайском языке. Заменить слово «*дэус*» привычным японским «*ками*» (бог) было также невозможно — это неизбежно породило бы разницу в оттенке, даже в смысле. Для перевода христианской терминологии на японский язык не имелось еще подходящих эквивалентов. Быть может, до них просто-напросто не додумались.

Впрочем, существуют ли вообще полные эквиваленты для перевода понятий? Как бы то ни было, христианае не хотели именовать своего *дэуса* старым исконно японским «ками».

— ...А как зовут-то тебя? — переспросил Наокити.

— Ихё, — чуть слышно пробормотал тот первое прошедшее на ум имя.

Наокити отступил на два шага назад и что-то зашептал на ухо Дзэмоцу. Это, разумеется, не укрылось от внимания Скэбэя.

Молитва окончилась. Собэй Медвежья Шкура и Кипсаку «Попади в яглю» сидели у бойницы Второго бастиона и неторопливо беседовали о всякой всячине с Канъэмоном, одним из старейшин Фукаэ. Оба крепко сжимали в руках мушкеты и зорко поглядывали на близкого неприятеля.

Мимо них тянулись вереницы детей и женщины, окончивших молитву. Многие женщины держали в руках маленькие флажки с изображением распятия, нарисованного красной или черной краской на белом или цветном поле. Где удалось раздобыть так много ткани? Ее захватили еще в Симабара и, кроме того, привезли из окрестных деревень. Это непривычное обилие действовало ободряюще, внушало уверенность в своих силах.

Флажки служили не только опознавательными знаками отряда, они могли стать оружием — древко было достаточно толстое, длинное, а конец заострен, как у копья.

Молитва окончилась всего лишь минуту назад, но молодые парни не упустили случая позубоскалить, когда замечали в проходившей мимо толпе хорошеньких женщин.

— Послушай, Собэй, — сказал Кипсаку.

— Ну?

— Я тут как-то говорил тебе, что не люблю христиан...

— Ну, говорил...

— Так раньше я и вириямь их недолюбливал. А теперь, как стал молиться вместе со всеми, так словно бы что-то в душе переменялось...

— Ну?

— Знаешь, когда люди живут все вместе, как мы сейчас здесь, то начинают думать по-другому...

— Угу... — согласился Собэй.

— А только люди не всегда живут так, вместе. Мы, охотники, к примеру, чаще живем одни...

— Так-то оно так,— с трудом лепил свою фразу Собэй.— Да только теперь уж мы до самой смерти будем все вместе...— Словно через силу выдавленные слова прозвучали с утрапаяющей ясностью.

Кинсаку опешил.

— Что до меня, то я так, за здорово живешь, жизни своей не отдам. Мне все равно — со всеми вместе или одному, а только самураев я постараюсь побить больше, чем одного! Хотя бы в одиночку пришлось стрелять!

— В одиночку?.. — не понял сразу Собэй, но внезапно, как будто удивившись, громко спросил: — Это ты про нашу крепость? — Качнулась медвежья голова у плеча.

— Да.

— Молодчина! — еще громче выкрикнул Собэй.

Проходившие крестьяне оглядывались на него. Сидевший рядом Канъэмон, который с тревогой слушал беседу охотников, усмехнулся, вздохнул. Как будто бы с облегчением.

Подознали Рокудзо и Таскэ.

— Завтра, говорят, начнется сражение... Надо бы попроситься с женой и ребятами. Можно? — обратились они к Канъэмону.

— Конечно, конечно, отчего ж нет...

— Так мы пойдем...

В Третьем бастионе у склона стояли ряды крытых грубыми рогожами хижины; детям было строго запрещено приближаться к ним. Это были хижины для свиданий жён и мужей, попавших в разные отряды. Кроме того, многие ронины завели себе любовниц; они встречались с ними там же.

За Канъэмоном пришел связной. В Главном бастионе был военный совет. Решено было выставить круглосуточные дозоры.

— Пусть не удался наш первоначальный план,— воодушевленно говорил Дзэньэмон Яма.— Мы не сумели захватить Нагасаки и поднять всех единоверцев на Кюсю. Однако, если мы сумеем разгромить Итакура, Набэсима и Мацукура,— а для этого нужно подпустить их поближе и затем мощным ударом обрушиться на них,— мы получим возможность вступить в переговоры со всем великим японским государством на равных и вырвем раз-

решение исповедовать нашу веру. А это и есть наша копейная цель!

Как видно, Дзэнъэмоу Яма пришлось по душе это выражение — «великое японское государство». Ему мало было думать о семье, деревне, княжестве... Эмосаку слушал его, понурившись. Сидевший позади художника Гэшьэмон украдкой следил за шим; да... не все вожди отличались такой неколебимой уверенностью, как Дзэнъэмон Яма...

Сиро на совете не было, юноша плохо разбирался в военных вопросах.

Тээмон Минаэси говорил:

— Друзья, вы пришли сюда из деревень или из городов. Но разве вы беднее духом оттого только, что вы простые землепашцы или ремесленники? Разве князья одни обладают душевным благородством? В былые времена, когда на землю Японии вошел блаженный отец Ксавье, князь Симадзу запретил веру. Тогда все португальские корабли стали избегать его княжества. И князь Симадзу заговорил совсем по-другому, смиренно, и отправил в Индию, в Гоа, послание. Он писал, полный лести: «Прежде лишены были благодати наши сердца, и все мы обретались в горести и в унынии. Ныне приобидились мы к святой христианской вере, которая подобна для нас дуновению ветра, дарующего прохладу в зной... Сердца человеческие исполнились радости и веселья...» А третий сёгун, Иэмицу, этот большой безумец с душой дикой и огрубелой, сам не находит в собственном сердце ничего, во что можно было бы верить. Оттого и говорит, что, мол, все дурное происходит от христианства. Но ведь он не в своем уме, он болен, и слова его — бред. Да что там, может быть, он просто давно умер! Нет, только безумец мог измыслить такое — послать против нас Итакура!.. Разве в здравом уме на такое решишься?.. Он просто не понимает, чего мы хотим!

Тэскэ и Рокудзо успели повидать жен и вернулись обратно, а старый Тээмон продолжал говорить. Теперь он рассказывал о том, как отважно сражались христианские воины-самураи во время Осацких кампаний, превосходя своею храбростью всех прочих. Его речь бурлила, словно река, прорвавшая плотину.

Все пережитое Тээмоном за долгую жизнь, — поистине *vita activa* — все выстраданное в изгнании вместе с гос-

пожой Катаринной Эсюни на острове Тапагаслма как бы ложилось мрачной телью на его рассказ.

Говорили еще о многом, и беседа не иссякала; ведь в крепости собрались разные люди из дальних и ближних углов страны. И только Дзюдаю Курахати (все еще в рясе монаха) предпочитал не вступать в разговоры. Им владело отчаяние. Он надеялся встретить здесь настоящих самураев-христиан. Увы, в крепости настоящих самураев почти не было — лишь горсточка рокинов. Остальные — так, мужики-самураи. Пройдет немного времени, и Дзюдаю Курахати будет убит. Он умрет, никем не признанный, безвестный, от руки пассала своего прежнего господина, князя Тадаюки Курода, того, кто некогда заметил его, и обласкал, и сделал старшим над самураями, вместе с кем он столь долго и столь бездумно вкушал все прелести разгульной жизни...

Главный бастион был защищен надежно, поэтому хижину, в которой жил Эмосаку с семьей, не понадобилось присыпать землей. Это было убогое холодное жилье; прямо на земле расстелили сено и сверху покрыли рогожей. В зимнюю непогоду холод так и припизывал тело...

Хотя Эмосаку давно стал начальником отряда, его младший сын Гонпоскэ был все еще в заложниках. Эмосаку хотел поговорить об этом с Сиро, но никак не решался — возможно, Сиро и не знает об этом.

Васаку, чуть только выдавалась свободная минута, погружался в чтение священной книги «О презрении к мирской суете» и с каждым днем все больше увлекался христианским учением. Вот и сегодня утром он успел спросить у Эмосаку, что означает слово «темпамен».

— «Темпамен» — это соблазн, тяга к дурному, греховному, — ответил отец, и Васаку начал читать вслух:

— «Если человек во тьмоте своей стремится к обладанию земными благами, сердце его приходит в смятение. Алчные и высокомерные никогда не знают покоя. А пищие духом, умеющие довольствоваться немногим, исполнены благодати. Не умеющие обуздать себя мгновенно попадают во власть соблазна и не в силах противостоять даже малому искушению...»

Васаку, его родной сын, обращает все свои помыслы к небу! А может быть, следует сказать проще, что маль-

чик все глубже увязает? Во всяком случае, с ним, его отцом, происходит нечто совершенно противоположное. О-Тидэ молча слушала их. Быть может, и она превращается исподволь в ту «искреннюю, исполненную одним стремлением душу», о которой толкуется в этой книге.

— Ты еще не знаешь жизни, Васаку...

Но кто осмелится утверждать, что действительно знает жизнь? Да и нужно ли в конце концов знать эту жизнь?

Ему вспомнилась история Адама и Евы, прародителей человечества.

Эмосаку Ямада, художник, создающий вторую жизнь в своих полотнах, принял наконец решение. Перепрыгнул через пропасть. Человек совершает такой прыжок, а потом уже придумывает причины.

Если толковать его решение по книге *«Контемпту Мунди»*, то тогда, вероятно, это — неизбежное следствие *натюры*, другими словами — человеческой природы...

Он художник, художник, только художник, и никем другим быть не может. Завтра он пошлет в лагерь князя Мацукура письмо. Письмо, которое он не покажет ни жене, ни сыну, ни тем более почти разгадавшему его замысел Гэпэмону.

Да, он совершил прыжок через пропасть. Все! Дело сделано. Но дух тревоги, клубившийся на дне пропасти, которую он перепрыгнул, будет терзать его все больше и больше.

Привытие верховного военачальника Сигэмаса Итакура означало, что на следующий день противник может начать штурм крепости. В эту ночь не мог уснуть не только Эмосаку Ямада. Не спали все вожди повстанцев.

*XIII. «Не отнимай у человека его стремлений...»**

Лишь к рассвету Эмосаку забылся, всю ночь он лежал, закрыв глаза, рядом с женой и детьми, крепко спавшими после дневных трудов. Внезапно очнувшись, он услышал за стеной хижины тихие голоса — это переговаривались пожарные — и догадался, что в костре остался огонь.

Эмосаку встал и вышел из хижины. Он спял пласт дёрна и радовал ещё тлевшие угли. Накануне выдали немного угля; Эмосаку подбросил в огонь несколько кусков и проткнул к костру руки. От дыма начали слезиться глаза.

К костру подсел Васаку.

— Что? Не спитесь?

— Отец, утром будет литурм?

— Да, похоже, что они к нему готовятся.

— Отец...

— Однако не стоит слишком тревожиться. Пока перед нами только войска Мацукура и Набэсима... Тебе страшно?

— Да... Нет!

— Как это — и «да» и «нет»?

— Понимаете отец, с тех пор, как я прочел «О презрении к мирской суете», я вдруг почувствовал...

— Что же ты почувствовал?

— Не знаю, как сказать... Понимаете, мне обидно — едва я узнал правду, и мне приходится умирать...

— Гм...

— Но потом я вспоминаю, сколько мучеников погибло за веру, и стыжусь — грешно думать только о себе.

Глубокий вздох вырвался из груди Эмосаку. Как много сын говорит о мучениках и о грехах! Но разве он, Эмосаку, виноват в этом?

— Так вот, я прочел «*Контемпту Мунди*» и наконец-то все понимаю...

— Что же ты понимаешь?

— Все мы ходим под богом, и все люди на земле одинаковы. Теперь-то я знаю, что все — и крестьяне, и самураи, и важные чиновники, — все одинаково смертны и все равны перед богом...

Эмосаку вздохнул еще тяжелее.

— В последней главе книги сказано: «Как бы мудр ты ни был, поучая ближнего в час, когда его постигает беда, какой бы силой духа ни обладал, но стоит беде постучаться в твои ворота, и вот ты сам уже смущен духом, и мудрость покидает тебя. Осознай же на сем примере, сколь велика твоя слабость...» И еще там сказано: «Я — источник силы, ко мне обратись в годину бедствий, с верой воззови ко мне, и в молитве найдешь отраду...» Отец, мне кажется, что в этой книге все — истина. Я больше не верю, что люди делятся на крестьян и на самураев... Может быть, между ними и есть разница, но все равно — и те и другие

только слабые создания, пребывающие временно в этом мире.

Эмосаку не знал, что ответить. «Мой сын, мой Васаку, слишком далеко зашел в своих мыслях...» — подумалось ему.

Он, Эмосаку, — художник, наблюдающий мир, а потом уже христианин и буддист, не самурай или крестьянин, а художник! Он покинул прежних своих господ князей Арима и остался в Кутиниоцу, чтобы посвятить себя европейской живописи — искусству писать картины с помощью орехового масла и яичных белков. Ради этого терпел он насмешки, но продолжал дарить крестьянским детям рисунки, за то что они собирали для него орехи...

«И смутится душой и побежден будет даже малым соблазном...» Может быть, страсть к искусству и есть соблазн...

Васаку молчал, протянув к огню гибкие тонкие пальцы.

Нет, Эмосаку никак не мог согласиться с тем, что страстная жажда всюду и всегда оставаться прежде всего художником есть всего лишь соблазн. Глядя на дрожащие языки пламени, он вспомнил историю из старинной книги «Рассказы, подслушанные в Удзи»: * дом художника Ёсидзё был охвачен пожаром, — много было пожаров в те беспокойные времена, — а художник внимательно следил за вихрем огня и дыма, вглядывался в оттенки пламени, в сплетенья огненных языков. Не просто вглядывался — изучал! Разве поймет это тот, для кого служение искусству — просто «соблазн»?

Эмосаку был крепче давно, в молодости. Потом, когда начались гонения, он помышлял только об одном — затаиться в тишине, и — главное — в незаметности, затаиться, как многие самураи, бывшие слуги Арима, о ком нелегко было решить — действительно они отреклись или втайне молятся Иисусу.

И все же он всегда ощущал в христианстве нечто, никак не подчинявшееся сознанию, в особенности, как он ни старался, он не мог понять людей, которые, храня верность учению, умирали за него так мучительно и страшно. Он преклонялся перед ними в душе, но понять их не мог.

Нечто, никак не подчинявшееся сознанию... Может статься, это сказано не совсем точно. Но было в христианстве что-то органически чуждое ему как художнику,

именно как художнику, ибо было несовместимо с традиционным японским чувством прекрасного, свойственным ему от природы. Ему претил фанатизм, неистовая прямолинейность христианских мучеников — качества, которые превозносили в японских христианах сам папа римский. Стойкость их папа назвал беспримерной. И это последовательное и полное отрешение от всех земных уютов ради небесного блаженства, и эта иступленность, доходившая до самоотязания, до желания наиболее мучительной себе казни — все отталкивало Эмосаку.

Его вера недостаточно глубока? Возможно... Для художника истинные законы прекрасного и неистовый фанатизм — несовместимы... Эмосаку заглядывал сейчас в самую глубину собственной души... На рассвете будет первый штурм. За ним потянутся дни, полные борьбы и смятения.

Он скинул голову и посмотрел на Васаку — тот больше не грел руки над огнем, теперь он подпирал ими щеки. О чем он думает? А Гонимосэ все еще нет. Гонимосэ все еще в бараке заложников.

— Конфуций сказал: «Не отнимай у человека его стремлений», — вырвалось у Эмосаку.

— Что? — словно очнувшись, переспросил Васаку.

Может быть, он просто задремал?

— Ничего... Ступай, поспи. Рано еще...

— Нет, больше мне не уснуть...

Эмосаку было больно смотреть на сына. Девятнадцать лет! В девятнадцать лет он, Эмосаку, был еще вполне счастлив. Он верил в бога просто, с добрым сердцем и без особых сомнений. Ему исполнилось двадцать, когда был издан первый указ, запрещающий христианство; но свыше ста пятидесяти *надре* по-прежнему проповедовали по всей стране, а год спустя Цунэнага Сасакура, слуга князя Дата, был впервые отправлен в далекий Рим.

— Не отнимай у человека его стремлений... — еще раз, словно про себя, повторил Эмосаку.

Лицо сына осветилось загадочной улыбкой. Против воли замобовавшись ею, Эмосаку вдруг почувствовал щемящую сердечную боль и отвел взгляд. Красота этого лица глубоко взволновала его. Католический *надре* сказал бы, что душой Эмосаку овладевает Люцифер. «Погоди, Васаку, погоди... Ты еще увидишь... Я, самый гадкий среди людей, я стану, может быть, еще гаже... Но это поможет мне рас-



сказать миру о самом чистом и благородном, что только есть ныне в этой крепости...»

Крепость продержится месяца три, пока хватит продовольствия и оружия. Но дух повстанцев будет падать день ото дня... Он же, Эмосаку, с самого начала был полон сомнений, и, значит, он — последний из них, презренный и нищий духом, и, однако, он — владетель высшего достоинства, самого важного, каким обладает эта крепость, он бережет его и в конце концов выйдет отсюда в мир...

— Я, пожалуй, посилю немного, — сказал Васаку.

Занимался рассвет десятого дня двенадцатой луны. Сидя у костра, Эмосаку Ямада усердно водил кистью по свитку бумаги. Потом он обернет им древко стрелы. Он почти уже закончил письмо, когда повстанцы, проспавшись, начали проверять оружие и расходились по своим местам, готовясь к предстоящему бою. В предрассветных сумерках было трудно различать лица — он видел одни лишь возбужденно сверкающие глаза. Приказы были отданы накануне, и все двигались почти в полном молчании.

Пять часов утра.

Во втором бастионе Кинсаку и Собэй, прильнув к мушкетам, следили за неприятельским лагерем, окутанным предутренней мглой; там горели редкие костры. Оба настороженно прислушивались.

Но вот до них допеслись голоса. В стане врагов началась перебранка.

— Эй вы, там! — кричали воины Набэсима, по сути дела, невиновные в нынешней смуте. — Эй вы, Мацукура! Ваш господин, говорят, получил эти земли в награду. То-то вам теперь весело! Стали они ваши, — так теперь свой же пес вас и цапнул!.. Что зло берет, а?

В лагере Мацукура молчали.

— Эй, вы! Много ли у вас жеп и детей заложниками-то взято? Слютяки! Жены сейчас поди в теплых постелях с праведниками в обнимку зарей любятесь!.. — Донеслись раскаты веселого смеха.

Кинсаку и Собэй переглянулись.

— Эй вы, Набэсима! Не слишком ли языки пораспустили! — крикнули из лагеря Мацукура.

Воины Набэсима расхохотались еще громче.

— Что, не нравится? Злитесь, злитесь! А то в вас никакого задора нет. А не вы ли это корабли посылали в заморские страны — Лусон покорять? * Не ваши ли два самурая, как их там, Кимура и Ёсиока, что ли, отплыли из Нагасаки двадцать лет назад? Напомнить вам, что сказали эти болваны, когда вернулись ни с чем? Лусон, дескать, находится на далеком Юге, а потому там такой холод, что не подступиться. Солнце и луна, мол, с севера светят, летом холодно, а зимой — жара. — И снова оглушительный хохот.

В лагере Мацукура отмалчивались.

Кинсаку подал знак Собэю. Оба покинули свой наблюдательный пост. Подойдя к связанному, который ожидал их в длинной щели, выкопанной возле крепостной стены, они о чем-то пошептались с ним, и связной побежал к Рокуэмоцу из Мнэ. «В ставе противника — свара. Если дойдет до дела, лаврид ли они станут держаться дружно. Воины Мацукура на все оскорбления Набэсима не отвечают ни слова, — сказать, как видно, печего, но они в ярости — это ясно. Поэтому выгоднее обратить главный удар на лагерь Мацукура».

Но вот какой-то самурай Мацукура, не в силах более выносить оскорбления Набэсима и чтобы сорвать хоть на чем-то злость, ударил кулаком в большой боевой барабан. Почти в ту же минуту раздался яростный клич. Следом ударили во все боевые колокола. Никакого приказа о наступлении Итакура не отдавал. Но в лагере Набэсима подхватили тревогу, ударил барабан, зазвонили колокола и прозвучал боевой клич. В низине, отделявшей крепость от неприятельского лагеря, задыгались, белесо мерцая, копья, алебарды и мечи.

В крепости по-прежнему стояла глубокая тишина.

XIV. Дела и мысли

Неожиданно в одном из рavelипов Третьего бастиона послышался шум. Несколько человек, перегнувшись через парпет главной стены, разглядывали что-то во мраке и громко переговаривались. Взбираться без надобности на стену целой ватагой, и тем более шуметь, было строго запрещено.

В этом месте крепостная стена поднималась выше, чем везде, так как именно здесь копчались заливные поля,

затруднявшие подступ к крепости. Здесь-то с наружной стороны и повис, извиваясь всем телом, какой-то человек. Наокити уже спустил ему веревку.

— Хватай, да хватай же!.. Ты что делаешь, Ихё!..

Скэбэй Дородо и в самом деле понал в ловушку и беспомощно болтался в воздухе.

— Проклятие, проклятие!.. — тихонько бормотал лезучик, шаря рукой у пояса.

— Да не копайся там, дурак!

Накануне Наокити весь вечер неотступно следил за Скэбэем Дородо, который продолжал молчать, точно немой. Среди ночи Скэбэй вышел и почти насильно сменил одного из часовых. Затем он, вопреки приказу, несколько раз влезал на стену. В последний раз Наокити исполошился и вскарабкался следом за ним. Очутившись на стене, он крикнул: «Слезай отсюда!» — и ухватил было Скэбэя за пояс, но Скэбэй от неожиданности потерял равновесие и свалился по ту сторону стены.

Скэбэя бесило назойливое внимание Наокити, его неотступный острый взгляд. Скэбэй хочет пойти присмотреться к расположению крепости, а Наокити тут как тут, тащится за ним по пятам... Никак не отделаешься от этого парня! Впрочем, главное-то он разведаль, а спрыгнуть со стены не составляло труда, этому он был обучен отлично. Вот только Наокити шагу ступить не давал, поэтому Скэбэй и решил сделать вид, что оступился, и спрыгнул вниз. Но допустил промашку.

Погубило Скэбэя вот что: как и у всех тайных агентов, у него под обычным поясом имелся второй, со специальными стальными когтями, и когда Наокити, ухватившись, потянул Скэбэя на себя, первый пояс размотался, открыв нижний. Когти мгновенно заценились за стешку, и Скэбэй повис между небом и землей. Упрямь ногами в стену, он пытался выдернуть когти, но мешала собственная тяжесть. А между тем на стене собралось уже несколько человек.

Стальные когти предназначались для лазанья по крепостным стенам. Бывает, что стены, как, например, в замке Нагоя, кладутся с наклоном в наружную сторону. (Эту новинку фортификации Киёмаса Като вывез из Кореи.) Взбираться по такой стене с помощью одних только рук и ног невозможно. На этот случай и придуманы стальные когти — их загоняют в щели между камнями, так что, да-

же не держась руками и ногами, человек не падает, а ползет по стене, точно паук. Здесь можно было обойтись и без стальных когтей. Однако Дзишдзабуро Мацудайра так торопил своего лазутчика, а приказ его был столь строг, что Скэбэй решил не рисковать, надел когти и вот — попался...

Если не считать непонятного языка повстанцев, Скэбэй не встретил в крепости особых трудностей. Все так бурлило здесь, словно справлялся праздник или шла деревенская сходка. Выдавалась свободная минута, и крестьяне принимались разыскивать родственников и знакомых. На первых порах это даже затрудняло строительство.

— Нет ли здесь Кинсаку из деревни Мля? Здесь?! Хорошо!

— А что, господин Канъэмон, старейшина Фукаэ, прибыл? Тоже здесь?! Здорово!

— А, а вы здесь, Таскэ и Рокудзо! Славно, славно!..

Скэбэю Дородо пришлось немало подивиться: пробираться в замок тайно не было ни малейшей необходимости — достаточно было замешаться в толгу посильщиков. Скэбэя принимали за бывшего христианина-ронина, изрядно потрепанного в бурях жизни, только и всего.

Его удивило присутствие в крепости детей и женщин, он был поражен, что повсюду раздаются шутки и смех, и нет и в помине отчаяния или гнева. Хуже того, хоть Скэбэй и знал твердо, что Гэнъэмон — его заклятый враг, он сам против своей воли был взволнован его речью, произнесенной в Третьем бастионе.

Гэнъэмон говорил: «Вера — это состояние, внутреннее побуждение сердца, а восстание есть действие, внешняя необходимость...»

«В нашем восстании счастливо совместились внутреннее побуждение сердца и внешняя необходимость, — толковал Гэнъэмон, — мысли и дела наши — едины, и тот, кому это не по плечу, кто на себя не падаетея — тому лучше сейчас покинуть крепость. Мы не осудим его за это. Так полагает и господин Сиро...»

Да, вначале это было и впрямь похоже на праздник. В свободное время люди могли делать все, что пожелают. Только ворота Главного бастиона охранялись чуть построже, в остальные бастионы ходили свободно. Военные учения ограничивались упражнениями с бамбуковыми коньями.

Пока можно было вольно расхаживать по крепости, Скэбэй изо всех сил старался высмотреть потайной подземный ход, или «перепелиный лаз». По правилам фортификации «перепелиный лаз» имелся в каждой крепости, чтобы в минуту опасности ускользнуть от врага. Возможно, что месяц-другой повстанцы продержатся, но придет время, и крепость падет. И беда, если главарям удастся скрыться. Они все начнут сызнова!

И Скэбэй заглядывал во все углы крепости, стараясь обнаружить этот «перепелиный лаз». В части замка, обращенной к суше, не было ни малейших его признаков. Правда, между Главным бастионом и бастионом Амакуса, где вырезанные в крутой скале ступени сбегали к морю, у небольшого причала стояла быстроходная лодка на тридцать весел. Однако ничего секретного в этом не было. Может, это и была запасная дорога на случай бегства, но уж никак не «перепелиный лаз». Правила фортификации, по-видимому, не слишком заботили защитников крепости. Но все-таки лаз мог быть! И первейшая обязанность тайного агента как раз и заключалась в том, чтобы его найти, — даром что охрана «перепелиных лазов» всегда поручается самым доверенным людям.

Внешность и привычки главных вождей повстанцев

Скэбэй выяснил быстро и крепко запомнил. Все они, и первый — Сиро, каждый день по нескольку раз обходили крепость. Сиро ему даже привелось услышать. Тот говорил: «Здесь, в этом замке, мы находимся под защитой господ нашего *дауса*. *Даус* наш отец и мать наша, и живет он на небесах...»

Скэбэй внушал себе, что этот соплик и еретик городит чушь, но его против воли





притягивал особый дух искренности и правды, который чувствовался в словах и помыслах повстанцев. А ведь люди болтают о них невесть что!

— Ихё! Ихё!

— Эй, Ихё!

— Ой, смотри-ка, Ихё-то...

— Гляди, свалился!..

— Лезь быстрее обратно!

— Побегал!

— Значит, я угадал все-таки... Он и есть лазутчик Итакура!.. — произнес Наокити, поживаясь от холодного предрассветного ветра. Остальные разом умолкли, следя за темной фигурой Скэбэя, постепенно исчезающей по мраке. Слышно было, как под ногами у него скрипит иней. Надо доложить господину Гэпъэмону...

Скэбэй Дородо, спотыкаясь и падая, бежал что есть мочи. Он чувствовал себя так, словно избавился от страшного заклятья. Вот уже близко форпосты боевого лагеря Мацукура. Он несся вперед прямо на один из костров.

Повстанцы смотрели вслед беглецу, который мчался,

словно стрела, выпущенная из лука. Пройдет еще десять дней, и эта стрела вновь изменит свое имя и вернется в крепость. Тогда же, в десятый день двенадцатой луны, когда битва окончится и люди, встретив первую ночь победы, уйдут на отдых, другая стрела — на этот раз сама-деличная, с обмотанным вокруг древка шнуром — со свистом врежется в бамбуковый частокол лагеря Мацукура. Стрела полетит ночью со стены Второго бастиона. И пошлет ее Эмосаку Ямада...

Половина шестого утра.

Ветер переменялся. До сих пор он дул с моря, и среди окружающего холода казался теплым. Но внезапно с пика Ундзэн сорвался ледяной вихрь и захлопал знаменами, исчерченными знаком креста.

Ветер доносил отчетливый шум из неприятельского стана. До самого горизонта светились красные точки костров, чувствовался даже смолистый запах сосновых поленьев.

Шум постепенно нарастал.

При свете запылающего дня все явственней виднелись фигуры людей, снующих между кострами: теперь ясно — быть бою!

И дозорные подтвердили, что оба лагеря — Набэсима и Мацукура — готовятся к штурму.

Связные немедленно передали сообщение во все отряды; каждый отряд направил связных в штаб восстания.

Внутреннее побуждение совместилось с внешней необходимостью... А под стенами стоял враг — все великое японское государство.

Шесть часов утра.

Ведь он, Итакура, строго-настрого запретил начинать бой без приказа. Не далее как вчера он еще раз напомнил об этом Мацукура и Набэсима. И вдруг этот барабан, боевые колокола...

Защитникам степ раздавали колобки из риса с каптанами. В ходах сообщения стало тесно — люди сменяли за пять свои места. Внезапно раздался резкий свистящий звук. Снова свист, еще и еще... То были стрелы, возвещающие начало битвы, так называемые «брюквы» — к стре-

ле привязывают полые оленьи рога, в которых пробуровлены многочисленные отверстия. Увлекаемая сильным ветром с вершины Ундзэи, одна из таких «брюкв» упала посреди Главного бастиона. Заговорил колокол на сторожевой башне; количество ударов было заранее определено приказом. Противник уже начал мушкетную пальбу, но крепость пока молчала.

«Брюкву» доставили в штаб. Кюи из Ариэ принял ее. Но тут неожиданно для всех вперед выступил Бернардо.

— Разрешите, я им отвечу?

Дзимбэй Масуда и Тюбэй Асидзука с улыбкой кивнули.

— Просим, мастер Бернардо! — одобрил флейтиста Тюбэй. Сиро молча поклонился Бернардо. Тот взял лук и стал взбираться паверх, к паранету каменной стены.

— Укреши мой дух, великий Будда! — громко провозгласил он; и тут же грянул могучий боевой клич повстанцев; казалось невероятным, что люди могут издать крик такой силы.

Треск ружейных выстрелов во вражеском стане звучал уже непрерывно, там и сям щелкали, ударяясь о стены, пули и, падая, крутились по земле.

Боевой клич защитников Главного бастиона, подхваченный остальными отрядами, волнами катился по крепости, в него вливались все новые и новые голоса. Из глубокого рва, в котором прятались женщины, им ответил клич не менее громкий и устрашающий.

— Восславим божественное Сакраменто! Санта-Мария... Санта-Мария!..

— Сант-Яго-о!

Женщины, продолжая готовить пищу и успокаивать перепуганных детей, затаили утреннюю молитву, точно песню, с которой провожают воинов в бой.

Совсем рассвело.

Эмосаку, мертвенно-бледный, с растрепавшимися волосами, смотрел на дарившую кругом суматоху и крепко прижимал руку к поясу. Губы у него подергивались. Гэпльзон Оэ, кажется, считает, что именно в эти минуты открывается истинная суть жизни, возвышенный и подостижимый в обычное время смысл ее, когда внутреннее побуждение сердца сливается с внешней необходимостью... Но для Эмосаку Ямада все происходящее означало гибель, полное уничтожение той религии, которая и после

изгнания *падре* и монахов-миссионеров пропитала собой самую почву Японии.

Просвистела над головой стрела... Ответный выстрел, сделанный Бернардо, был для Эмосаку началом конца.

Сегодня утром, когда жена предложила причесать его, Эмосаку отказался — не до того! За поясом у него лежало письмо. Он писал его накануне при неверном свете костра.

— Посыльте, отец!.. — Васаку принес ему завтрак.

Но Эмосаку, не слушая, как замороженный смотрел на спускавшегося со стены Бернардо.

С минуты на минуту он ждал известия о том, что кто-то наконец убит, а кто-то ранен, — страшное дело, он почти хотел этого. Но за целый день так ничего и не задело.

Значит, это и есть внешняя необходимость? Единство внутреннего побуждения сердца и внешней необходимости?

Что, если он прав, и в этой битве окончательно погибнет японское христианство? Христианство наложило запрет на восстание против властей предержащих. Отсюда и возникла эта прекрасная, благородная, но в то же время жестокая и страшная традиция мученичества... Нет, то, что делается сейчас, неверно, это ошибка... Но ведь когда он покидал свой дом в Кутиниоцу, он уже отчетливо понимал, что все произойдет именно так. Нет, теперь уже ничего нельзя изменить.

Васаку еще раз напомнил о завтраке; Эмосаку сел и принялся есть прямо руками.

«За одну ночь он словно постарел на десять лет», — подумал Васаку.

— Эй, на башне! — весело улыбаясь, скомандовал Тюбэй Асидзука. «Бум! Бум! Бум!» — загремел колокол, и снова под зычным небом покатились боевой клич повстанцев. Дети и женщины, надрываясь, выкрикивали слова молитвы.

Прильнув к прицелу, Кюсаку «Попади в ягу» кривил губы в улыбке. Собэй Медвежья Шкура время от времени поглядывал в его сторону. «Он доволен, — думал Собэй. — Похоже, что ему нравится убивать. А ведь это позор для охотника. Убийство для охотника — всего лишь ремесло. И убивая, он должен оставаться бесстрастным. Здесь нет места ни цепависти, ни жалости».

Кинсаку посылал пулю за пулей. А пули противника пролетали над головой или сшибались о стену. Выстрелы аркебуз не достигали цели, ядра падали на заливаемые водой поля или в бухту, вздымая столбы брызг.

— Третий... Четвертый... — злобно бормотал Кинсаку.

Изготовленные наскоро ружья разрывались иногда прямо в руках стрелков. Но защитники крепости мужественно принимали свой первый бой.

Начав штурм вопреки приказу Итакура, самураи отступили с позором, оставив сто человек убитыми. Четыреста человек были ранены. А под конец произошло событие и вовсе неслыханное — оно вызвало громкие насмешки крестьян, столпившихся у напарета.

XV. Дела и мысли

(Продолжение)

Из лагеря Набэсима выскочили несколько человек и, размахивая руками, дергаясь всем телом, побежали прямо к заливному полю, что неподалеку от лагеря Мацукура. Но и в воде, словно их кто ужалил, они продолжали извиваться и дергаться, разбрызгивая воду и грязь.

— Да что это с ними? — удивленно тарация глаза Кинсаку. Итакура и его помощник Ивая едва удерживались от улыбок.

— Что это забрело им на ум?..

А между тем на поле разыгрывалась трагедия. Пуля, посланная из крепости, попала одному из воинов в продолговатый кожаный мешочек, висевший у пояса — в таких мешочках стрелки носили запас пуль. Искра воспламенила порох, пули одна за другой стали взрываться. Пламя мгновенно перекинулось и на перепуганных товарищей, поспешивших на помощь. У всех на поясах висели такие же мешочки. Они металась по лагерю, издавая крики, и в конце концов прыгали в воду. В крепости держались за животы от хохота. Да и то сказать — трудно покрыть себя большим позором и к тому же на глазах у врага! Вопли Мацукура тоже покатывались со смеху, глядя, как солдаты варываются, словно живые хлопюшки, и даже не помышляли помочь несчастным.

Наконец взрывы кончились. Раненые рухнули в воду. Вода стала медленно менять окраску.

Вскоре из лагеря Набэсима, прикрываясь деревянными щитами, вышли несколько человек. Они положили тела на носилки и унесли обратно в свой лагерь. Повстанцы по ним не стреляли.

Среди защитников крепости не было не только убитых, но даже раненых. Кюю, в прошлом — врач, безотлучно дежурил в *хоспитале*, устроенном возле Лотосового пруда, но делать ему оказалось нечего.

Увидев гибель солдат, Итакура немедленно отдал приказ прекратить сражение. Впрочем, оно успело прекратиться само по себе.

Штурм не дал никаких результатов, лишь подтвердил отсутствие всякого единства в лагере осаждающих.

Итакура снова почувствовал, какие трудности ему предстоят в этой войне. Между отрядами Мацукура и Набэсима усиливается вражда. Воины Набэсима открыто обвиняют воинов Мацукура, считают их главными виновниками бунта, презирают, оскорбляют всячески.

Князь Сигэдугу Мацукура и его младший брат Укон хорохорятся и грозят отомстить Набэсима за оскорбления, да ведь все знают: три недели назад мятежники напали на их войско в замке Симабара, и оно было на волосок от разгрома...

Началась печальная работа — уборка трупов. Они валялись под крепостными стенами, плавали в жидкой грязи заливных полей и на мелководье бухты Слосама. Из крепости постреливали, но только из луков: пули берегли.

К Итакура пришел Таку Минасаку, старший самурай княжества Набэсима.

— Как нам известно, у мятежников всего несколько сот мушкетов...

— Разве? А по последним сведениям, мушкетов у них не менее двух тысяч...

— Ну, судя по тому, как они стреляли нынче, вряд ли у них там много пуль.

— Вы полагаете?

— Да, и укрепления у них еще не закончены. Мы должны немедленно начать общий штурм. Я считаю, что прорваться в крепость можно на любом участке их обороны, но наиболее доступен, по-моему, участок Сосновой горы, где засели крестьяне с Амакуса...

Итакура не согласился.

— Сегодняшнее сражение убедило меня, что бессмысленно штурмовать крепость, не учитывая истинных наших возможностей. Это значит обречь на гибель множество воинов... Это значит, что особенно важно, — действовать вопреки замыслу и воле сёгуна. Необходимо укрепление позиций. Я решаю на штурм лишь после того, как будут поставлены бамбуковые частоколы, апроши и другие сооружения. Не ранее того!

— Но не лучше ли опередить бунтовщиков? — настаивал Мимасаку.

Итакура внезапно повысил голос:

— Если вы еще раз осмелитесь выступить без моего приказа, то князь Набэсима, пребывающий ныне в Эдо... — У него едва не сорвалась с языка угроза, что тогда вся ответственность ляжет на князя Набэсима.

И Мимасаку больше не спорил. Ибо здесь начиналась область, лежащая вне законов тактики и стратегии. Мертвая область, где военная наука бессильна. Итакура показал, что полон решимости, и Мимасаку подчинился.

«Укрепление позиций, — размышлял Мимасаку, возвратившись в свой лагерь. — Укрепление позиций потребует уймы бамбука. Но Итакура и здесь связан установлениями, которые превыше всякой военной науки. Он ведь и запретил рубить лес во владениях Мацукура. Что ж, придется возить его из своих владений». Огромные расходы, лишний труд, потеря времени. Трудно придумать что-нибудь более несуразное! Так случилось, что с первых же дней войны недовольство действиями Итакура, сомнения в правильности его приказов распространились даже среди рабочих-носильщиков и простых солдат.

Ну, а что же Итакура? Он до сих пор толком не представлял себе, каковы его полномочия и властен ли он принимать самостоятельные решения.

Главный стержень, на котором держался режим Такугава, состоял в неуклонном соблюдении заветов «божественного предка», сёгуна Ияэсу, и стержень этот был обращен к прошлому. Если теперь Итакура осмелится изменить что-то, сообразуясь с обстоятельствами, а не оглядываясь назад — к чему это приведет? И все же...

И все-же видеть, как тут же рядом растет бамбук и строительный лес, и не сметь даже прикоснуться к ним — это же явная нелепость!

XVI. Два письма

После утешного сражения, столь удачного для повстанцев, Тэскэ и Рокудзо поставили под начало Миёси Цуда, ответственного за строительные работы.

Поначалу отряды составлялись, в основном, из односельчан или членов одной *конфларики*, но постепенно порядок этот сам собой изменился — разобравшись, стали учитывать способности и умение каждого.

Тэскэ и Рокудзо были искуснейшими плотниками. Вместе с Миёси Цуда они отправились проверить, нет ли в стенах пробоин или каких-нибудь иных повреждений.

Особых разрушений не обнаружили. Зато под стенами они увидели множество трупов. У некоторых была раздавлена грудь, у других — разворочен живот. Мертвецы зажимали руками раны. Кровь застыла на земле темными пятнами. Иногда темно-багровые лужицы поблескивали в лучах солнца. На заливных полях, под стенами Третьего бастиона, все трупы почему-то лежали ничком. У бастиона Амакуса, в бухте, уже начался прилив, некоторые трупы всплыли, и их медленно сносило течением. Вabalамученная грязь окаймляла мертвые тела темной пеной.

Тэскэ и Рокудзо то и дело поглядывали на мертвецов. Вид простертых тел вызывал какое-то страшное, щемящее чувство.

Поражение, победа... Эти слова лишены здесь всякого смысла. Они просто умерли, эти люди. Они мертвы, вот и все.

Внезапно Тэскэ перекрестился.

Вслед за ним перекрестился и Рокудзо. Он вспомнил, как несколько дней назад, когда вместе с Тэскэ они строили сторожевую башню Главного бастиона, Тэскэ вдруг сжал в руке пилу и поклялся отпилить ею голову Мондо Тага... Неужели это будет та же рука, которая шине совершает крестное знамение?

Изредка потрескивали мушкетные выстрелы.

Жизнь в осажденной крепости все более отличалась от той, к которой они уже успели привыкнуть. Пока враг не появился в виду крепости, повстанцы работали самозабвенно, однако едва закончился первый бой — пусть даже не принесший потерь, — в в сердце осажденных закралась тревога.

В крепости воцарилась странная, глубокая тишина. Но вот в этой тишине люди, словно заново, услышали перестук молотов в кузницах, и тревога на время оставила их.

Не зная ни дня, ни ночи, кузнецы ковали мечи и конья, отливали пули. Они научились теперь отливать до семисот пуль за одну ночь...

Вожди восстания обеуждали недавние события. Особенно горячился Дзэнъэмон Яма.

— Набэсима — сплошь легион и трусы... Ближе чем на три-четыре тё¹ не подходят, знай себе постреливают из мушкетов, да и то редко — пиф-паф... Ну, и конечно, все мимо...

Это «пиф-паф» Дзэнъэмона было так забавно, что старейшины дружно рассмеялись.

По мнению Дзэнъэмона Яма, повстанцы стреляли куда более метко, из пяти выстрелов по меньшей мере два непременно достигали цели. Он считал, что ночью нужно делать вылазки, и делать непременно, пока противник не способен сражаться и не успел укрепиться, как следует. Но Тюбэй Асидаука возразил, что в самой крепости также еще не все готово для боя, и можно понапрасну погубить людей...

Дзэнъэмон Яма насунулся, однако все остальные дружно поддержали Тюбэя, и Дзэнъэмон более не настаивал.

Зато все сошлось на том, что Сосновая гора в бастионе Амакуса является наиболее уязвимым участком крепости.

— Выходит, укрепления там так слабы, что неприятель обязательно это заметит? — как бы уточняя, переспросил Тюбэй Асидаука.

— Именно так.

— Тогда укреплять Сосновую гору больше не стоит, — решительно заявил Тюбэй.

План его заключался в том, чтобы заманить на Сосновую гору как можно больше карателей и затем нанести мощный удар.

Эмосаку, как всегда, молчал. Люди вообще исподволь, но неминуемо разделяются на тех, кто говорит, и на тех, кто молчит... Эмосаку все время прижимал руку к поясу,

¹ Тё — мера длины, равная 109, 09 м.

словно у него болел живот. Гэльэмон Оэ то и дело поглядывал в его сторону...

В эту ночь с равелина Второго бастиона была пущена стрела. Кинсаку и Собэй видели, как Эмосаку поднялся на крепостную стену, натянул тетиву и выстрелил в сторону лагеря Мацукура. Однако они не заподозрили его ни в чем. Ведь Эмосаку ведал перепишкой с противником и даже письма-стрелы, прилетающие из стана врага, велено было приносить ему.

С доверием и надеждой смотрели они на Эмосаку, который с луком в руках застыл в почной темноте у наранета. Эмосаку и сам был как натянутая тетива. Но вот тетива спущена. Стрела полетела.

«Господину Матаэмоу Носа,
Господину Дзиэмоу Ёкояма.

Но необъяснимому стечению обстоятельств земляки мои стали пыне моими врагами, и, дабы лишить меня возможности бежать, забрали в заложники старшего сына. Все же решился я бежать в дальние края, но опп проломил днище моей лодки и затопил ее, и, бессильный противодействовать им, уподобился я птице, запертой в клетке. Окружив дом, грозили, что сожгут все дотла, мне же удалось избежать этого, смягчив их покорностью. Простите, что тревожу ваш слух своими прискорбными новостями. Вы поймете, что творилось в те горькие дни у меня на сердце. А ныне здесь, в замке, забрали в заложники младшего моего сына Гонносэ.

Расписные ширмы, что были заказаны вами, я закопал и схоронил в каменном амбаре при доме, а вход прочно заделал, и на сей счет оставлены мною письменные указания, так что, коли вам будет в охоту, соблаговолите разыскать сей амбар и принадлежащие вам ширмы возьмите.

Предметы ремесла моего, имевшиеся у меня во множестве, сложил я в глиняный сосуд и зарыл в землю, в сосуде же спрятаны заgroundованные холсты.

Ширмы, расписанные по заказу господина Мондо Тага, также готовы и находятся в упомянутом амбаре. Китайская курительница танских времен также зарыта в землю, в том же месте. Ныне, игрой констпне причудливых обстоятельств, превратясь в пленника, осмеливаюсь причинить вам беспокойство настоящим письмом.

Эмосаку Ямада».

Он умышленно написал такое смиренное, даже подобострастное письмо. Те, кто прочтет его, сразу подумают, что такое письмо мог написать только художник, а никак не бунтовщик. Для этого он и писал лишь о картинах — и ни о чем другом.

Носэ и Ёкояма были знакомые Эмосаку самураи княжества Мацукура, и обоим, разумеется, не было никакого дела до загрунтованных холстов или кистей Эмосаку...

Утром одиннадцатого дня двенадцатой луны из крепости раздавались только одиночные мушкетные выстрелы. Ни Мацукура, ни Набасима не пытались больше атаковать — слишком велики оказались потери во вчерашнем бою. Все их усилия сосредоточились теперь на укреплении своих форпостов. Каратели стремились придвинуть бамбуковые заграждения поближе к крепости, но повстанцы осыпали их стрелами с горящей паклей; бамбук то и дело испыхивал, и его приходилось заливать водой.

Из крепости время от времени доносились голоса, распевавшие молитвы.

- До-о-дза-ка-а... — слышится одинокий голос.
- До-о-дза-ка!.. — подхватывают тысячи голосов.
- Агнус...
- Агнус! — откликается мощный хор.

Ошеломленные непривычными, устрашающими звуками, воины Набасима и Мацукура глядели на замок.

- Нечестивцы!.. — возмущались они.

Внезапно голоса в крепости смолкли. Каратели вновь прекратили работу и с тревогой обернулись к крепости.

Дозорные сообщили, что в море показалось множество кораблей. Вот почему пришлось прервать молитву в крепости.

Это были первые отряды восьмьютысячного войска Тадакуни Арима. Четыре дня подряд прибывали его войска, а следом еще пять тысяч воинов — под началом Тадасигэ Татибана, сына и наследника князя Татибана, владельца Янагитава. Теперь противник располагал почти тридцатипяти тысячным войском. Кольцо окружения угрожающе сжималось.

Однако осаждающим в эти дни было не до повстанцев — в их лагере царила совершенная неразбериха. Войску Мацукура пришлось уступить свой участок отрядам

Арима. Затем стали размещать отряды Татибапа и слова менять позиции, и всякий раз при этом начинались ссоры и потасовки. Вопреки приказам, то там, то здесь завязывались драки или же, напротив, дружеские беседы, когда вновь прибывшие встречали старых знакомцев и, забыв обо всем, часами вспоминали былые времена.

«Если смутьяны в этой неразберихе сделают ночную вылазку — несдобровать нам...» — переценывались опытные воины.

Как всегда, больше всего доставалось Мацукура. В особенности изолировались воины Татибапа — они знали о вражде между домами и потому не стеснялись в выражениях.

Мунэи Мори предложил записать главнейшие требования повстанцев и послать их во вражеский лагерь со стрелой. Иными словами, составить ультиматум.

Утром из лагеря Мацукура прилетело письмо. Его тотчас доставили Эмосаку. Он принял стрелу недогнувшей рукой: не сомневался, что Носэ и Ёкояма не станут действовать опрометчиво.

С той минуты, как он отослал первое письмо, к нему пришло вождеденное спокойствие. Дальнейшая линия его жизни была отныне определена им самим. Правда, она не была прямой, как стрела. Извиваясь, она уползала во мрак...

Развернув письмо, Эмосаку все же вздрогнул: оно было подписано не Итакура, не Ивая, а именно Ёкояма и Носэ... Значит, письмо его прочтено.

Послание было сдержанным и мягким по тону. Там говорилось:

«Вы учинили бунт против правительства и заперлись в замке. Это неслыханная, беспримерная дерзость. Что вы замышляете? Известие о вас достигло уже высочайшего слуха, и теперь от вашего поведения зависит, будет ли вам даровано прощение. Если хотите что-либо ответить нам, не бойтесь и отвечайте откровенно...»

— Смотри, какие ласковые... — сказал Гэисацу Айдзу.

— Мастер Эмосаку, вам, кажется, известны эти двое — Носэ и Ёкояма? — по обыкновению спокойно, спросил Сиро. И снова его вопрос угодил в цель!

— Да. Они ближние самураи Сигэцугу Мацукура.

— Быть может, следует ответить им так: небо и зем-

ля — от одной основы, все сущее едино, и все живые — равны, пет среди них высших и низших, а живые люди — не бесчувственные камни или деревья.

Из почтения к старшим Сиро говорит подчеркнуто скромно, точно советуется. И снова внимательно смотрит на Эмосаку.

— Слушаюсь...

— Правильно! — подхватил Мунэи Мори. — Я буду говорить, а ты, мастер Эмосаку, записывай.

Эмосаку разложил свиток бумаги на подставке для стрел.

— Небо с землей — основа одна...

Эмосаку поднял на него взгляд. Как путано говорит! Трудно что-либо понять... Но Мунэи Мори уже не видел ничего, он в упоении зажмурил глаза.

Большой был весельчак этот Мунэи Мори! Когда войны самурая Харада, спеша на выручку осажденному повстанцами замку Томпока, высадились в деревне Симаго на острове Амакуса, Мунэи переоделся бонзой и представился настоятелем местного храма. Он выставил ующение — саке и напоил доьяна весь отряд по главе с Харада, а затем повстанцы без труда разделались с пьяными, захватив и оружие и провиант. Наместник замка в Томпока, давний недруг Харада, увидел пламя пожара и услышал шум и крики сражения. Опасаясь, как бы Харада не присвоил себе одному честь победы над бунтовщиками, он, невзвывая на почвой мрак, ринулся к месту схватки. На дороге с ним легко справился спрятавшийся в засаде Тюбэй Асидзука с товарищами. Сам Харада едва унес ноги и снова укрылся в замке... Мунэи же и впрямь нетрудно было принять за бонзу — он отличался неплохим знанием буддийских книг.

— ...Мы терпим бесконечные гонения... Горы и доли покрыты трупами тех, кто отдал жизнь свою во славу царя небесного. ...Мы — не самурай, чтобы помышлять о славе и о преходящих благах земных... И пусть мы жили словно в аду, где обитают демоны голода, пусть мы терпели мучения в сем мире, что ранит, подобно острому ножу, зато непременно вновь возродимся к жизни на яшмовых тронах в стране блаженства и пребудем в ней вечно, а ставши Буддами в ином мире, далеко от земной скверны... — зажмурив глаза, сосредоточенно диктовал Мунэи Мори.

Буддийские, а значит, языческие выражения то и дело слетали у него с языка. «Яшмовый трон», «страпа блаженства» — уместно ли подобное в устах христианина? Ничего, кроме презрения или смеха, такие слова не вызывают. Одни фразы — явная нескладница, они pochodят на невнятную болтовню пьяного, другие — Мунэи Мори произносит па вульгарном местном наречии. Эмосаку вновь посмотрел на Сиро. Их взгляды скрестились, однако Сиро молча потупился, и Эмосаку так же безмолвно продолжал писать: «А, пусть его! Пусть будет, как будет...» Но смолчал он не только из презрения.

Теоретически, если только здесь применима какая-либо теория, он был готов признать правомерность такого стиля. Пройдет время, и христианство, подобно заморской живописи, пустит прочные корни в японской почве, и, скорее всего, именно там, где сумеет приноровиться к буддизму. Пусть сейчас заморскую живопись с презрением называют варварской, все равно она станет когда-нибудь непремешной частью японского искусства. Заморская вера и заморская живопись вольются в культуру Японии и постепенно создадут в ней свои собственные традиции.

Но ведь эти рассуждения сами по себе — уже грех и предательство? Но тогда искреннейший Мунэи Мори тоже предатель, а сам он, Эмосаку, — предатель вдвойне...

При этой мысли он усмехнулся про себя. Двойное предательство уже перестает быть предательством, так же как оборотная сторона изнанки — уже не изнанка.

Вдруг он заметил, что Сиро пристально глядит на него. И содрогнулся от сознания пустоты и бесплодности собственных рассуждений.

XVII. Два трупа

Пока Мунэи Мори диктовал, а Эмосаку Ямада записывал, Тюбэй Асидзука, молча поклонившись Сиро и Дзюмбэю Масуда, вышел из помещения штаба. Явившись к Миёси Цуда, он попросил дать ему двух искусных плотников. Тот вызвал Тэскэ и Рокудзо.

Тюбэй повел их в дальний угол Главного бастиона и показал на срубленный ствол гигантской павлонии.

— Вот хочу поручить вам... Надо, чтобы вы тут кое-что смастерили...

- Из этого бревна?
- Правильно. Нужно выдолбить середину да хорошенько скрепить ствол бамбуковыми обручами.
- И что тогда?..
- А тогда это уже будет митральеза.
- Митральеза?
- Именно. Если заложить туда штук тридцать хорошенько заостренных жердей, засыпать порох и поджечь...
- Все тридцать огненных колпий разом вылетят из отверстия!
- Вот-вот, в этом все дело!
- Понятно...
- Спешить не надо. Старайтесь только сделать по-лучше...

Чтоб отражать врага, приходилось все время что-нибудь придумывать, и хитроумие Тюбэя Асидзука привело плотников в восхищение. Правда, в крепости имелось несколько митральез, но отливать для них ядра было нелегко, да и кто поручится, подойдут ли эти самодельные ядра? Между тем для обороны требовалось оружие более мощное.

Уходя, Тюбэй коротко бросил: «Итак, надеюсь на вас!», и быстро ушел — его уже ждали в другом месте.

— Голова! — сказал Тэскэ.

— Еще бы! — согласился Рокудзо.

Не только они, все защитники крепости, очень уважали Тюбэя Асидзука. Еще в конце октября, когда в деревне Фукаэ начались первые стычки повстанцев с самураями Мацукура, несколько крестьян под видом перебежчиков проникли в княжеские отряды. Самураи тогда воображали, что разделаться с буштовщиками — плевое дело: ведь они — всего-навсего мужичье, смутьяны... «Перебежчики» завели самураев в такие места, где повстанцев не было и в помине. Когда же каратели окончательно выбились из сил, повстанцы во главе с Тюбэем ударили и разгромили их наголову. Это Тюбэй научил крестьян уклоняться от боя, как бы играть с противником в прятки.

Едва завидев карателей, повстанцы стремительно обрацались в бегство и прятались в укрытиях. Когда же неприятель был вконец измотан поисками и преследованием, повстанцы, выскочив из укрытия, громили врага.

Убегать — вот какому искусству учил повстанцев Тюбэй! Противник наступает — убегайте, бегите, бегите

как можно дальше, но прежде разбейтесь на небольшие группы, чтобы и преследователи разделились... Следите — вот противник устал, тогда — нападайте! Да нападайте с умом, не в лоб. И на мечи и копья особо не надейтесь! Избивайте их камнями, обливайте дерьмом, так как сил на меч и копье вам надолго не хватит... Через полчаса — снова бегите, займите какую-нибудь возвышенность и оттуда бросайте в противника камни...

С легкой руки Тюбэя Асидаука бегство стало наилучшим маневром почти безоружных крестьян; и крестьяне убегали, чуть не забавляясь такой «войной», а разъяренные самураи гнались за ними.

Теперь, в трудных условиях осады, Тюбэй ломал голову, изобретая новые способы крепостной обороны. Изготовление митральезы было очередной его выдумкой. Тэскэ и Рокудзо, несомненно, посоветуются с кузнецами и оружейниками и сделают все как можно лучше... Итак, настроение защитников крепости пока не внушало опасений Тюбэю. Выбор Сиро главой восстания оказался правильным. Как военачальник, он, конечно, куда не годился, был, что называется «пустым местом». Но... кольцо осады сжималось вокруг замка, и люди, естественно, стали со все большей надеждой взирать на штаб восстания, где Сиро, всегда спокойный, тихо сосредоточенный, в окружении немолодых уже советников и старейшин, возвращал им спокойствие и веру... И Тюбэй хорошо понимал, что люди уже не отделяют своей судьбы от судьбы Сиро, а с ним — и от судьбы самого восстания.

Крепость сейчас чем-то походила на царство небесное, на христианский рай, конечно, только походила, не более, — здесь не было той торжественной безмятежности, все было много скромнее... Тюбэй даже подумал: чем больше будет убитых, тем естественней овладеет сознанием людей смиренная мысль о том, что рай на земле — надежда несбыточная...

Вчерашняя ночь и сегодняшнее утро доказали, что он правильно оценил настроение осажденных. Правда, он опасался, что перед штурмом немало людей покинут крепость. Однако убежал всего один человек. Да и тот оказался чужаком, о котором никто не знал ничего, кроме имени. К тому же Наокити из Северной Арима и старейшина той же деревни Дзэмон утверждают, что этот Ихё — шпион...

По ходу сообщения Тюбэй вышел из Главного бастиона к просторному рву, служившему убежищем для женщины и детей. Из-под крыши, сделанной из рогож, веток и соломы, доносились пронзительные женские голоса.

«Быть может, скоро этот ров превратится в ад крошечный...» — подумал Тюбэй, направляясь дальше, к Третьему бастиону.

Там он увидел Гэйтэмона Оэ. Тот стоял на парапете и громко переговаривался с женщинами, которые собирали присесенные морем обломки деревьев.

Если продовольствия и питьевой воды пока было вдоволь, то нехватка топлива дала о себе знать с первых же дней осады. А между тем шла уже двенадцатая луна, — близились долгие холода.

Неподалеку от берега стояли сторожевые вражеские суда, и сборищцы дров между делом переругивались с солдатами.

Тюбэй и Гэйтэмон поговорили о нехватке топлива. Беспокоил их также недостаток овощей.

— Послушай, — вдруг сказал Гэйтэмон. — Не выпустить ли из барака заложников младшего сына Эмосаку — Гонноска?

— Вы полагаете?

— Да. Что ни говори, а держать в заложниках сына Эмосаку Ямада, которого мы же назначили начальником отряда в Главном бастионе и которому доверена переписка... Это положило бы конец нежелательным толкам...

— Пожалуй, вы правы. Однако Скээмон и Самбэй из Кацуса так упорно противятся...

— А что, если вы наведаетесь во Второй бастион и потолкуете с ними?

— Согласен!

Скээмон и Самбэй из деревни Кацуса, в сущности, не питали вражды к Эмосаку. Они только не могли простить ему, что он не сразу согласился присоединиться к восстанию.

Увидев Гонноска у своей хижины, Эмосаку вздрогнул. Это было как раз во время вечернего богослужения.

Едва молитва закончилась, о-Тиё и Васаку прибежали домой. Они обнимали Гонноска, гладили его руки. Крестьяне из отряда Эмосаку радовались вместе с ними. Приход Гонноска разрешил их последние сомнения. И только

Эмосаку, бросив сыну короткое «Поздравляю», тут же скрылся в хижине, словно он вдруг увидел такое, что видеть был не в силах, да и просто не ожидал увидеть. Ведь только накануне он жаловался в письме: «...забрали в заложники младшего моего сына Гоноскэ».

За тонкой стеной он хорошо различал голоса родных и друзей, окруживших сына.

— Дело в том, — говорил Гоноскэ, — что заложники боятся. Они со дня на день ждут казни. И все горячо молятся *дэусу*.

— *Дэусу?*

— Ну да.

— Но ведь пикто не собирается их казнить!

— Они-то об этом не знают...

Гоноскэ рассказал, что заложники стали молиться «христианскому Будде», так как другой бог, не христианский, не смог их выручить из неволи. Они усердно заучивают слова молитв и принимают все христианские обычаи. И усердие их так велико, что многие сделались, пожалуй, даже большими христианами, чем те из повстанцев, кто принял веру без особых колебаний...

В хижине уже совсем стемнело, а Эмосаку все сидел неподвижно, опустив голову. С возвращением Гоноскэ исчезла, увы, одна из главных причин его предательства.

Прошло несколько дней.

Итакура пришлось в конце концов частично изменить свой приказ. Он разрешил воинам Набэсима рубить лес, нужный для строительства, во владениях Мацукура. Уважение к Итакура, и без того невысокое, упало еще ниже.

Строительство позиций для наступления продолжалось, однако и число убитых возрастало с каждым днем. Повстанцы неумолимо обстреливали носильщиков, тащивших бамбук, бревна и землю. Каратели попробовали было вести работу под защитой почной темноты, но осажденные пыхряли в них горящие факелы и при их свете напали из мушкетов; тогда каратели решили засыпать залвные поля на подступах к крепости, но тучи стрел разгоняли землекопов; стояли сильные холода, однако стояло карателям зажечь костер, и он тут же становился мишенью для повстанцев. Каждый день начинался повыми жертвами. Но, несмотря на все трудности, в лагере

Набэсима удалось соорудить четыре укрепления из фапишника, в тридцать кэн длиной и двадцать — в глубину, возвести бревенчатые апроши и установить на них митральезы.

В тридцатый день двенадцатой луны в Кумамото пришло письмо, подписанное Сакакибара и Баба.

В Кумамото недоумевали. Разве не мог подписать письмо сам Итакура или же помощник его, Ивая? Впрочем, наместники Нагасаки тоже представляют правительственную власть... Они просили прислать к осажденной крепости флот. Но по заливу близко к крепости не подойдешь, и толку от мушкетов немного. Поэтому они просили снабдить корабли митральезами...

Ранее из Хосокава были посланы шесть кораблей со стрелками на них. Теперь отправили еще тридцать. То были большие корабли, снабженные прочными щитами от ядер, с большим количеством мушкетов и аркебуз.

Среди сборищ топлива появились убитые.

В отместку пятнадцать молодых крестьян с Третьего бастиона, вооружившись коньями, устроили самовольную ночную вылазку. Им громко кричали со стен, приказывали вернуться... Вернулись тринадцать.

На рассвете, сквозь туманную дымку, защитники крепости увидели два неподвижных тела. Вскоре туман рассеялся, и солнце ярко осветило убитых. Возле одного валялся флажок со знаком креста, чуть поодаль — самодельная алебарда. Оба лежали как раз посредине между лагерями Мацукура и Татибана.

Из лагеря Мацукура показались люди. Подойдя к трупам, они стали укладывать их на носилки.

Стрелки в осажденной крепости, прикинувшись к прицедам, затаили дыхание. Это были их первые товарищи, павшие в сражении. Но вот как будто волна пробежала от сердца к сердцу. Разом ударили мушкеты. Однако трупы все-таки унесли.

Через некоторое время из лагеря Татибана вышел самурай. Прикрываясь щитом, он добрался до бамбукового частоккола и прошел в лагерь Мацукура. Там он потребовал выдачи трупов, ибо повстанцы были убиты воинами Татибана.

Симбэй Окамото возразил ему, что нет никаких доказательств, будто именно воины Татибана убили обоих смутьянов... А забрали они трупы лишь потому, что зре-

лице это было бы чрезвычайно неприятно взору... воинов Татибана. Впрочем, если Татибана так уж хочется непременно забрать их — пожалуйста, пусть забирает... Разговор услышал князь Сингадугу Мацукура. Трудно было передать словами настроенные князя в эти последние дни. Еще бы! Ведь он «обеспокоил самого сёгуна, правительство»... «Мерзавцы христиане! Подлые христиане!» — в этом было единственное его оправдание. Однако были христиане мерзавцами или нет, а судьба князя Мацукура уже решилась, и он понимал это.

Подозвав посланца Татибана, он холодно и резко повторил сказанное старшим самураем. Посланец, однако, не смутился.

— У нас есть доказательства, что это мы их убили... — настаивал он, обращаясь уже к самому князю.

Кровь прилила к лицу Мацукура. Терпи, терпи и этот позор!

Окамото решил вмешаться:

— Есть ли доказательства, нет ли — это не имеет значения. Вам нужны трупы этих пегодюков — забирайте их, только побыстрее...

Но посланец, словно не понимая их переживаний, еще более спокойно добавил:

— Тогда я попросил бы дать мне носильщиков...

— Если трупы, по-вашему, принадлежат вам, то и носильщиков присылайте сами...

Посланец удалился.

Воины продолжали засыпать залитые поля, когда посланец Мацукура появился вновь — на этот раз привел с собой носильщиков. Завернув трупы в рогожу, носильщики поволокли их через воду и грязь в лагерь Татибана; на них обрушился град выстрелов из крепости. Несколько землекопов, засыпавших поля, были ранены. Одновременно прозвучал крик такой устрашающей силы, точно в нем слились голоса всех тридцати семи тысяч осажденных. Среди карателей поднялся переполох.

— Сант-Яго-о! — неслось из крепости. Мужские, женские, детские голоса. Слышалась брань.

Уж не собираются ли повстанцы выйти из крепости? Самураи смотрели на крепость, на бесчисленные знамена, поднятые над парашетом, словно в честь какого-то адского праздника, и в сердца их против воли проникал страх. Кто знает, на что они способны, эти христианские нече-

стивцы, эти прихвостни южных варваров * ведь они в дружбе с самым дьяволом. Их непонятные слова звучат как страшные заклинания. Что они накликают?

Носильщики с опаской поглядывали на темные, низко нависшие тучи. А ну, если оттуда свалится на них какая-нибудь нечисть?

Вначале лишь немпогле из карателей знали причину внезапного гнева, охватившего защитников крепости.

Однако вскоре о происшествии узнали все. Молодой Тадасига Татибана негодовал — как посмел Мацукура оскорбить его посланца, извратить его слова! Как посмел он сказать: «Вот невпдадь — два мертвых мужика!» Князь Набэсима презирал обоих — и Мацукура и Татибана. Бравиться из-за таких пустяков!

Воины Арима, прибывшие позже других, казалось, были ошеломяны, подавлены мощью повстанцев.

Таковы были новые круги на воде. Круги от двух мертвых тел.

А четыре князя все никак не могли договориться между собой. Итакура приказал им срочно явиться к нему.

XVIII. Двадцатый день двенадцатой луны

Совет военачальников закончился, по обычаю, угощением. Мацукура, как всегда, отмалчивался. Татибана был словоохотлив необычайно, Набэсима — сдержан, Арима, молодой и беспечный, то и дело отпускал остроты.

Договориться, однако, не договорились. Князья были молоды и неопытны. К тому же, кроме посланника сёгуна Итакура и его заместителя Ивая, в ставке находились еще и Макино и Хаясе, мэцкэ на острове Кюсю, и заместники правительства в Нагасаки Сакакибара и Баба. Командование карателей оказалось в результате трехглавым: это не считая Дзиндзабуро Мацудайра, который подчинялся непосредственно Нобунуца Мацудайра, члену Государственного совета. Подлинного согласия между всеми этими людьми не было. Каждый был связан с правительством своей особенной нитью, а Итакура не обладал ни достаточной властью, ни умением искусно связать эти разные нити, чтобы здесь единым движением управлять ими по своей воле.

...Итак, предстояла долгопродлительная осада. Итакура распорядился, чтобы все князья усиленно готовились к

ней. Он приказал построить земляные валы, соорудить осадные башни, установить на них мортиры.

Мортиры установили. Изрядной подмогой оказались посланные князем Хосокава суда с пушками.

...С первым приветствием посланцы Хосокава пришли не к Итакура — главнокомандующему, а к заместителям Нагасаки — Сакакибара и Баба. Никакого особого умысла в том не было, просто пушки были доставлены по приказу заместителей, и первое приветствие надлежало отдать им. Итакура от этого в особый восторг не пришел, однако прибытие мощного оружия было важнее этикета.

Конечная цель войны была проста и ясна: истребить христиан! Ничего, кроме полного истребления!

Но именно оттого, что эта цель была слишком проста и понятна всем, в лагере карателей исподволь возникло нечто вроде соревнования, не имевшего, в сущности, никакой связи с этой конечной целью. Князья ревниво следили друг за другом, старались отличиться, правда, больше перед центральной властью, а не перед Итакура.

Между тем, строительство позиций для наступления шло успешно, обстрел крепости постепенно налаживался, и не мудрено: это была задача чисто военная, — трудности политические, вроде упомянутых уже интриг, на нее не влияли.

Могло показаться, что ответный огонь крепости и сопротивление повстанцев постепенно ослабевают. Но дело обстояло иначе. Просто у осаждающих прибавилось орудий, обстрел сделался непрерывным и мощным. Впрочем, особого проку от него пока не было. Даже те бомбы, что попадали в крепость, вызывали разве только незначительные разрушения земляной насыпи. Повстанцы тут же исправляли эти повреждения. Более того, каменная кладка на рavelинах Второго и Третьего бастионов росла ночь от ночи, и, если еще недавно стены не превышали одного дзё¹ четырех сяку, то теперь они поднялись еще на добрых три кэн.

В этих обстоятельствах можно принимать сколько угодно решений — например, взять смутьянов взмором, с тем чтобы оградить войско от излишних потерь, однако

¹ Дзё — 3,03 м.

истерпение и раздражение в лагере сделалось столь явным, что, конечно, не могло не влиять на Итакура.

Что ни день, в лагерь приходили все новые ронины. Со времени битвы при Сэкигахара и Осакеких кампаний они были не у дел и теперь стекались сюда со всей страны. Вольные в поступках, они тоже будоражили войска карателей.

Ответные пушечные выстрелы из крепости звучали реже и реже; там все чаще воцарялось страшное, почти загадочное безмолвие. Безмолвие соблазняло, подталкивало к решительным мерам...

В семнадцатый день двенадцатой луны в лагерь Набэсима пришли двое — старик лет шестидесяти и мужчина в расцвете сил, по виду сын старика. Князь Набэсима говорил с ними лично.

Отец и сын Мураи были родом из Ацута, что на земле Овари. Старик состоял когда-то на службе у князя Мада и совершил блестящие подвиги во славу великого Тоётоми Хидэёси. Пал Осацкий замок, сын и наследник Тоётоми — Хидэёри с матерью, госпожей Ёдогими, покончили жизнь самоубийством, но отец и сын Мураи продолжали отчаянно сражаться. Только убедившись, что род Тоётоми перестал существовать, они через подземный ход выбрались из замка и скитались с тех пор от князя к князю. Но куда бы они ни приходили, нигде им не удавалось поступить на службу. Князь Мада — бывший господа Мураи и подавно не могли их принять: за ними следили особенно строго. Наконец, отец и сын сняли убогую хижину при каком-то буддийском храме в Киото и жили там впроголодь, нанимаясь то работниками в храмы или в усадьбы князей, то уборщиками садов, то носильщиками. Щепки, выброшенные на берег потоком смутного времени! Всего только шаг отделял этих людей от нищеты. С укреплением сёгунской власти подобная участь ожидала всех отщепенцев.

Старый Мураи еще по осаде Осацкого замка помнил, как храбро сражались самураи-христиане. И теперь, когда отряды Итакура проходили через Киото, он нарочно отправился взглянуть на них и провожал войско вплоть до самого Фусими. Он уже знал, что по дороге из Эдо в Симабара к отрядам Итакура присоединились десятки его собратьев. Для Мураи это была последняя надежда. Однако, к несчастью, у него не было ни доспехов, ни оружия.

Кроме того, он подумал, что там, у степ мятежного замка Хара, ему никак не избежать встречи с самураями-христианами, чья доблесть была ему так хорошо известна... Но при мысли о будущем сына своего, Сайдзабуро, уже достигшего порога зрелости, старый Мураи вдруг почувствовал, что не может более медлить. Ведь они-то с сыном, благодарение небу, — не христиане. Подавив стыд, обратился он к старым знакомым в Киото и Осака — попросил одолжить оружие и доспехи... И вот отец и сын пустились в дорогу и прибыли в стан Набэсима. Да! Для них это было последней надеждой.

Для всех ронин, прибывавших ныне в Симабара, эта война стала последней надеждой. Точно голодные волки, рыскали они по боевым лагерям, разыскивая старых знакомцев, а встретив давнего друга, ставшего теперь начальником, смотрели на него с мольбой, со слезами на глазах, и никто не посмел бы презирать их за эти слезы.

Ронины жаждали штурма.

А торговцы из Хаката, из Нагасаки, из Симабара давно уже здесь раскинули свои лавки и наперебой предлагали вина и яства. Некоторые же, самые ловкие, доставили сюда жещици.

Ронины бросали на торговцев злобные взгляды. Они ждали одного — штурма.

Пусть только будет штурм, они первыми пойдут на приступ! Именно потому, быть может, каждый начальник согласился принять ронинов в свои ряды. Ведь больше всего жертв будет именно среди тех, кто пойдет впереди, и никто не видел в этом ни жестокости, ни какой-то особой несправедливости.

Князь Огасавара с сыном и наследником Нагадугу прибыл из Эдо в свою потчицу, в Кокура. С их возвращением стало известно, что из Эдо выехали вновь назначенные представители правительства — Нобуцуна Мацудайра и Удзикана Тода.

Гостивший в Кокура старый воин Миямото Мусаси был свидетелем многих смертных схваток. Он знал великое множество самураев; некогда и знатные и могучие — они были подхвачены неодолимым вихрем перемен, который сотрясал страну, но не обрели ничего, кроме безвестности. Оказались как бы погребенными заживо. Наблюдая их,

Миямото исподволь обрел ясность и бесстрашие духа. Это помогало ему возвышаться над мирской суетой.

— Если до прибытия князя Мацудайра взять замок так и не удастся, что ожидает Итакура? — спросил его молодой Огасавара.

— Смерть, наверное...

— Неужто? — И молодой Огасавара посленно приказал отправить Итакура в дар бочонок саке и соленья.

— Могу я покорнейше просить вас отправиться вместе со мной, когда князь Мацудайра прикажет мне участвовать в походе?

Миямото Мусаси согласно кивнул:

— Пусть будет по-вашему, но смерть стережет не только христиан. В этом походе вам следует все время быть начеку...

Он хотел сказать, что, с тех пор как в событии вмешалась государственная власть, опасаться преследования пужно не только христианам, а и князьям тоже.

Молодой Огасавара, конечно, не рассчитывал всерьез па помощь Миямото Мусаси в этом походе. Знаменитый воин всегда предпочитал действовать в одиночку и терпеть не мог биться в строю. Зато молодой Огасавара, как и его отец, полюбил тихие беседы Миямото Мусаси, привык к нему и дорожил его обществом.

Дзиндзабуро Мацудайра слушал доклад своего пинюпа Скэбэй Дородо и покатывался со смеху. Тот жаловался на дурацкий язык бунтовщиков. Но едва Скэбэй упомянул о духе единства, царящем в замке, рассказал, что крестьяне, вопреки предположениям, живут как свободные люди и даже нередко переселятся, взгляд Мацудайра омрачился, а лицо выразило сомнение. «Вот так всегда...» — подумал про себя Скэбэй. Он лезет вон из кожи, стараясь овладеть труднейшим искусством — в приятной форме излагать начальству неприятные вести. Это куда труднее, чем даже сама работа пинюпа: ведь пинюп все время рискует заплатить головой, если не совершенствует свое мастерство, если не выбирает выражения со всей тщательностью, — так бывало уже не раз.

Из доклада Скэбэй Дородо Мацудайра понял, что дело предстоит нелегкое. Однако в ставке доложил лишь о том, что самое уязвимое место осажденной крепости, по-види-



тому, Сосновая роща в бастионе Амакуса. Прочие сведения он от Итакура и Иная утаил. Впрочем, здесь он лишь воспользовался своими полномочиями, не более того.

Во время предстоящего штурма Сакэю подлежало снова пробраться в крепость, а пока он должен был следить за лазутчиками смутьянов.

Все сведения о положении в крепости Мацудайра отослал в Эдо. Однако навряд ли голец достигнет Эдо. По дороге его перехватит Нобуцуна Мацудайра. Он-то и получит всю необходимую информацию. Впрочем, здесь он лишь воспользуется своими полномочиями, не более того.

Обстановка накалялась. В девятнадцатый день двенадцатой луны во второй половине дня, князья вновь собрались на военный совет: отчасти потому, что строительство осадных сооружений в лагере приближалось к концу, однако главной причиной было то, что даже призрачное единство князей находилось под угрозой.

Накануне бунтовщики весь день, с утра до ночи, что-то громко и торжественно пели.

Пели тысячи голосов. Сквозь мощные мужские прорывались ликующие женские и детские голоса. Песнопения были чуждыми, непонятными, по невольной брали за душу.

— Это, верно, главный бунтовщик обходит крепость, — говорили каратели.

— А что у них там сегодня?

Это был день рождения Христа. Среди карателей это знали большей частью пожилые воины. Меж ними немало таких, что в прошлом сами исповедовали христианство.

— Какой же это будет год по их календарю? Не то тысяча шестьсот тридцать шестой, не то тысяча шестьсот тридцать седьмой... — загибая пальцы, подсчитывал кто-то. Быть может, он считал годы со времени своего отречения.

А из крепости продолжали доноситься незнакомые, страшные песнопения.

Военный совет решил: завтра, в двадцатый день двенадцатой луны, на рассвете, взять крепость штурмом. А чтобы бунтовщики не догадались о часе штурма, приказано было в ночь накануне сражения подавать боевые сигналы через равные промежутки времени. Первыми в дело должны вступить воины Набэсима; в четыре часа

утра его отряд перейдет речку, переберется через мелеющий в эту пору залив Снохама и затаится под прикрытием Сосновой горы. В шесть часов утра, по сигналу боевых раковин, воины взберутся по крутизне, преодолеют единственный на этой стороне частокол и всей мощью обрушатся на бастион Амакуса. Это заставит бунтовщиков стянуть сюда силы, а тем временем войско князя Татибана начнет штурм головного рavelина Третьего бастиона. Таким образом, штурм будет идти с запада и с востока одновременно. Войска Мацукура и Арима до особого приказа останутся в резерве. Татибана надлежит вступить в дело только тогда, когда он убедится, что бастион Амакуса прочно в руках Набэсима.

Однако случилось так, что в половине одиннадцатого в лагерь Татибана прибыл нарочный с письмом от Сакакибара и Баба. Наместники прислали его без ведома Итакура.

«Завтра начинается штурм,— говорилось в письме,— а между тем бастион Амакуса соседствует с Главным бастионом крепости. Если все сложится удачно, Набэсима, чего доброго, присвоит все заслуги себе... Что думает об этом князь Татибана?»

Молодой Татибана был задорен, вспылчив и склонен к опрометчивым решениям. И хотя Сакакибара и Баба были прежде всего гражданскими чиновниками, они представляли здесь центральную власть, так что коварная их загадка походила на явное подстрекательство.

В крепости не обращали внимания на боевые сигналы противника, решив, что если к рассвету каратели не угомонятся, то повстанцы ответят им кличем всех боевых дружин.

О том, что наутро готовится штурм, в крепости знали наверняка по бесчисленным факельным огням. Это подтверждали и лазутчики.

Глубокой ночью женщинам, детям и большинству мужчин с бастиона Амакуса приказали отойти за каменную стену Главного бастиона. Оставили только небольшое число воинов, самых крепких и сильных. Бастион Амакуса опустел.

В глубоком мраке о-Сопо, взволнованная, без усталости переходила от одного к другому:



— Воевать вовсе не страшно, воевать легко... Воевать вовсе не страшно... Припомните, люди, каково тащить вверх на поля тяжелые корзины с удобрениями... Да в сравнении с этим война — просто детская забава! А волоком — огромные камни, да выложить долую стену кругом поля, чтоб земля потом не осыпалась! После такой работы швырять камни вниз или из лука стрелять — одно удовольствие! А насколько легче попасть в человека, чем, например, в птицу... — будто в испуге говорила о-Соно.

Ее слушали вначале с уменкой, но она все говорила, и слова ее укреплялись в сознании и проникали в души, порождая высокие чувства. К утру из этих чувств родилась песня:

Велика господня сила,
И *падре*, братья, вместе с нами;
Вражьи головы отрубим,
Победим мы, христиане!

Дзюдаю Курахати, прислушиваясь к голосу о-Соно, звучавшему сейчас где-то поблизости, проверил стрелы,

затем смочил водой рукоять меча. Голос в почт запоразживал, словно голос призрака. Вот оно, его время, время знерпшой, жестокой схватки и не менее жестокой смерти.

До сих пор он носил белую одежду, как все, а на голове у него красовался самодельный шлем из бамбука и соломы. Но теперь Дзюдаю Курахати сменил белую одежду: он назначен был в отборный отряд на Сосновую гору, а белое хорошо видно во мраке...

Противника нужно было обмануть, убедить его, что на Сосновой горе только одни крестьяне, а когда каратели взберутся наверх, бегом отступить к длинной щели перед стенами Главного бастиона и принять бой вместе с засевшими там товарищами.

Дзюдаю в душе давно приготовился к смерти. Жаль, по суждено ему погибнуть как самураю, придется умереть презренной мужицкой смертью. О спасении во Христе он не помышлял — он в спасение не верил. Он лежал, плотно прижавшись к земле, на самом верху утеса, когда в четыре часа утра до него донесся плеск шагов по воде. Шаги приближались. Он злобно усмехнулся. В восемь часов начнется прилив. Речушка, богущая у подножья Сосновой горы, потечет вспять и станет глубокой, по самую грудь...

Он услышал смех. Как видно, воины Набасима считают излишним соблюдать осторожность.

Дзюдаю послал в Главный бастион связного.

Противник подошел к самому подножью горы, которая была перегорожена плетнями и частоколами. На вершине стояла большая походная палатка — якобы для одного из вождей повстанцев.

Половина пятого, пять.

Половина шестого:

— Сант... Я...го!

— Сант... Я...го!

Отец и сын Мураи, вымокшие, продрогшие до костей, пытались согреться, тесно прижимаясь друг к другу.

— Не стремись убивать кого попало. Убивай тех, что обличьем похожи на самураев. Не забывай отрубать у таких головы и непременно бери с собой. Ты слушаешь меня? После третьего же удара меч наверняка затупится. Не теряйся! Отними конь у врага или у кого-нибудь из своих, раненых...

...С устрашающим ревом бросились воины Набасима вверх по склону. Нанарывались на колья, путались в

плетнях. Раздались первые отчаянные вопли. Первые неудачники, оступившись, скатывались вниз.

Когда наступавшие были почти у вершины, Дзюдою Курахати подал знак, и на них обрушились огромные каменные глыбы.

Неправда ли — война нетрудное дело?

Сосновая гора, такая доступная на первый взгляд, оказалась крутой и коварной. Вершина ее была обрывистой, слишком тесной для множества людей.

Отряд Дзюдою Курахати, размахивая боевыми флажками (каждый держал по три, по четыре флажка), стал поспешно отступать с Сосновой горы, увлекая за собой противника. Несколько мгновений — и люди Дзюдою проворно укрылись в окнах, вырытых у Главного бастиона.

В карателей, достигших наконец вершины, полетели стрелы. С каменной стены Главного бастиона и из окопов грянули мушкеты. Воины Набэсима попали под убийственный перекрестный огонь. Таким образом, достигнув вершины, каратели снова оказались перед линией сплошного огня. Они потеряли разом сто пятьдесят человек. В следующий час было убито еще около пятидесяти самураев, раненых же было без счета.

Отец и сын Мурай, мертвые, лежали далеко друг от друга, у подножья могучих сосен. Шел третий день со времени их прибытия в лагерь Набэсима.

XIX. Двадцатый день двенадцатой луны

(Продолжение)

Князь Тадакуви Арима спал.

Никаких особых указаний от Итакура он не получил; его войска и войска самого Итакура назначены были в резерв и должны были ожидать своего часа. Вступать же в бой по собственному почину ему не разрешали.

Вот почему беспечный Тадакуви, вернувшись с военного совета, тотчас принялся пировать. Выкатили бочонки с сушеной рыбой, маринованными устрицами, соленьями. Князь изрядно выпил, наелся рисовых колобков и улегся на отдых. Восьмидесятилетний Ики Инадугу, старший самурай, еще не дождавшись вечера, заварил чай и теперь неторопливо потягивал любимый напиток. Он ласкал узловатыми старческими пальцами фарфоровую

чашку и время от времени закусывал чай соленьями. Инацугу отличался неизменным спокойствием. Он тоже присутствовал на княжеском ужине, однако пил мало. Удовольствовался тем, что наблюдал за шумным весельем молодежи. Для князя Тадакуни и его молодых самураев этот военный поход был первым в жизни. Оттого и сакэ казалась им вкуснее обыкновенного, и пировать здесь, в самой глубине угрюмого, дикого края доставляло особое удовольствие. Недаром молодой князь, считавшийся ценителем прекрасного, подписывал свои поэтические опыты псевдонимом «Любящий снег».

...Внезапно князь открыл глаза. Его разбудил рокот барабана и рев боевых раковин, потом, заглушая барабаны, раздался треск мушкетной пальбы и какие-то страшные крики. Его ухо различало вопли смертельной муки, мужские рыдания, далекие стоны.

Рассвет еще не наступил, а шум и голоса слышались князю оттуда, откуда он не ожидал их услышать. Он помнил, правда, что в шесть часов утра войско Набасима атакует бастион Амакуса. Только после падения Амакуса должен начаться штурм остальных бастионов. Неужели они начали без него?! Невероятно!

Он поднялся с постели и послал ближнего самурая узнать, в чем дело.

Накануне, на военном совете, князь сильно повздорил с Тадасигэ Татибана. Оба оспаривали право первыми пачать штурм. Побагровевший Татибана настаивал на своем. Тадакуни уступил, но только после вмешательства Итакура. Когда совет окончился, старший его самурай Инацугу вместе с Санъя Тотоки, старшим самураем князя Татибана, еще раз осмотрел подступы к крепости. Затем они сели в лодку и обследовали крепость со стороны моря. Санъя Тотоки несколько раз приказывал выстрелить из мушкета — прикидывал расстояние.

О молодом князе Татибана и его старшем самурае Тотоки старый Инацугу судил так: оба — пустые, никчемные люди, и в мыслях держат одно — как бы выслужиться.

...Проснувшись, Тадакуни ощутил во всем теле дрожь. С похмелья зимний рассвет показался ему чересчур холодным. Ох, уж эти бесконечные завязки! Ближний самурай помог ему, и Тадакуни, пошатываясь, облачился в тяжелые боевые доспехи. Слуги завязывали бесчисленные шнуры.

Вернулся его посланец. Оказалось, что пяти тысячное войско Татибана самовольно начало штурмовать Третий бастион.

— Вот неумный! — воскликнул князь. — А ты что думаешь?

— Ему, наверно, Тотоки присоветовал, — усмехнулся Ипацугу. — В Третьем бастионе и на подступах к нему сидят отборные отряды — уж я-то знаю. Так что, как говорится, трудов будет много, а толку мало... Но навряд ли они нас попросят о помощи. Да и погода стоит холодная. Ложитесь-ка, госнодзи, и почайвайте спокойно.

Госнодзи и вассал не без ехидства посмотрели друг на друга и усмехнулись.

Вести войну объединенными силами многих княжеств оказалось делом невероятно сложным. Вернулся очередной посланец и доложил, что князь Татибана выступил вовсе не по приказу Итакура, а по приказу пameстников Нагасаки, а скорее всего, по тайному их подстрекательству.

Ехидные улыбки сползли с лиц вассала и госнодзи. Дело приняло такой оборот, что тут уж было не до смеха.

Когда Тадакуни снова залез под одеяло, еще хранившее тепло его тела, он был серьезен.

Как только князь Тадасигэ Татибана услышал боевой сигнал в лагере Набэсима, он отдал приказ немедленно выступить. Князя обуревали разноречивые чувства. Он презирал Мацукура, виновника этой смуты, гневался на него за недавнее оскорбление, учиненное ему и его войнам, когда он потребовал трупы убитых ими мятежников, он опасался, как бы вся слава в предстоящем бою не досталась одному Набэсима — а как иначе понимать приказ Итакура: выступить, только убедившись, что Набэсима добился прочного успеха? Вот так приказ! В эти ночные часы гнев, подогретый впом, все сильнее завладевал Тадасигэ. Теперь он гневался уже и на самого Итакура.

Получив приказ, войско Тадасигэ с громким боевым кличем, от которого, казалось, содрогнулось звездное небо, ринулось вперед, во главе с хатамото и ронинами.

Итакура вадрогнул, услышав этот клич. Значит, Татибана все-таки нарушил приказ. Остановить его? Итакура задумался. А если напористый Татибана и в самом деле сумеет прорваться в замок? Итакура заколебался...

Он пекал наместников Нагасаки, но оба, как пазло, куда-то запропастились.

Между тем Сакакибара и Баба, слышав шум в лагере Татибана, разом выскочили из походной палатки.

Они быстро поняли, что произошло. Спотыкаясь о камни, остушаясь в темноте и шлепая ногами по лужам, оба бросились к лагерю Татибана, но на полпути встретили самого князя верхом на коне.

— Что вы задумали?

Тадасигэ рассвирепел окончательно. Они еще смеют спрашивать! Как будто не они прислали ему накануне письмо с явным намеком: «Не зевай!»

— Набасима ворвался в замок. Не желаю плестись в хвосте! — бросил он, с трудом подавляя гнев, и хлестнул коня.

Между тем, вопли Набасима были еще весьма далеки от победы. В эти минуты они, по колено в воде, брели через речку у подножья Сосновой горы.

Войско Татибана, обогнув земляную насыпь, устремилось к главному равнину Третьего бастиона и к воротам.

Сакакибара и Баба, обескураженные пеласковым обхождением князя, остались на дороге, в толпе нехотинцев.

Подвыпившие солдаты рвались в бой, зато те, кому вина не досталось, шагали в угрюмом молчании. Очутившись в самой гуще солдат, наместники окончательно растерялись. Истинные администраторы, менее всего они разбирались в тактике, управлении боем — все эти военные тонкости были делом Итакура и Ивая. Однако оба чувствовали, что неловко слояться без дела в такую минуту...

И растерянные наместники пустились в путь вместе с солдатами.

Узнав об этом, Тадасигэ нехотя повернул коня. Не ровен час, заденет их кто-нибудь в свалке... Как ни горяч, ни безрассуден был Тадасигэ, а этого он допустить не мог.

— Негоже вам вязываться в свалку как простолюдинам. Не подобает вашему званию!

Наместники повернули обратно и понуро зашагали к лагерю Мацукура. Среди пастоящего боя эти политики до мозга костей выглядели на удивление пелены.

Заметив Сакакибара и Баба, в лагере Мацукура пасторжился.

Ночь постепенно светлела.

К восьми часам исход сражения у бастиона Амакуса полностью определился. Из шестисот человек, теснившихся на узкой вершине Сосновой горы, сотни две были убиты камнями или стрелами. Начался прилив, и переправа исчезла. Один за другим воины обращались в бегство, стремясь обратно, к подножью. Многие срывались с крутизны и гвбли на коньях своих же товарищей. Даже подобрать убитых было почти невозможно. Раненых и простых нехотятцев оставляли лежать там, где их убили.

Когда бой закончился, стрелы, торчащие из тел убитых, соберут, наверное, защитники бастиона Амакуса, а тяжело раненные получат вскоре «удар милосердия» от Дзюдаю Курахати и его подручных из передового отряда. Вот и все...

Тюбэй Асидзука решительно запретил пускать в ход мечи и конья против воинов Набасима, которые доберутся до вершины. После восьми часов, рассчитывая, с наступлением полного прилива, противник будет отрезан от основных войск и лишится подкрепления. Поэтому, чтобы справиться с ним, стрел и мушкетов, оружия, поражающего на расстоянии, будет вполне достаточно. Так и вышло: воины Набасима очутились под перекрестным огнем точно нацеленных стрел и пуль; дальше они не могли сделать и шагу.

Эмосаку Ямада вместе с другими вождами восстания руководил боем со стены Главного бастиона. Вдоль каменной кладки был устроен дончатый настил, чтобы можно было стрелять из луков и мушкетов, наполовину выскрывшись над стенкой. Рядом с Эмосаку стоял Тюбэй Асидзука. Тут же находились несколько связных. Дамбэй Масуда руководил защитой Третьего бастиона.

Внизу, прямо у ног Эмосаку, темпела спина укрывшегося в окопе Дзюдаю Курахати. Эмосаку недолюбливал этого человека. Нет, никаких особых оснований для неприязни у него не было, и все же Дзюдаю внушал художнику безотчетную антипатию. У другого конца парапета, ближе к морю, стоял флейтист Бернардо. Время от времени Эмосаку бросал взгляд внутрь Главного бастиона, туда, где находилось жилище Сиро.

Окруженный свитой, прямой и строгий — а может быть, неподвижный от растерянности, — Сиро сидел на походном сиденье перед большим расклатом. Над его головой в порывах утреннего ветерка трепетало атласное

знамя — последнее творение Эмосаку. В свите Сиро была и о-Кинку. Сиро был одет, как всегда, в черное с белым, с неизменным клижалом за поясом. Время от времени он опускался на колени и молился. Бросив беглый взгляд на молящуюся фигуру, Эмосаку внезапно ощутил, как в нем закипает злость. Молиться среди этого ужаса — среди огня и крови!.. Но он тотчас овладел собой. Впрочем, ладно, пусть себе молится... На что он еще годен, этот мальчик?! Наверяд ли он способен молиться со спокойной душой, возвысившись над кровопролитием и смертью. Все равно — какой смысл в его молитве? Христианский бог не скоро откликнется на молитву... Может быть, Сиро сейчас вспоминает мать и сестру, томящихся в неволе. Эмосаку снова взглянул на юношу в строгой черно-белой одежде. На груди его ярко блестело золотое расщепление.

А поодаль, в другом углу Главного бастиона, плотники Тэскэ и Рокудзо упорно трудились над митральезой, обращая внимание на кипевший за стенами бой. «Огненные стрелы», как они их шептались, не доспели ко времени.

Путаясь в бесчисленных пшурках, Тадакуни стащил с себя панцирь и слова нырнул в постель, еще хранившую тепло его тела. Но как ни беспечен был молодой князь, уснуть он больше не смог.

Вой барабанов, мушкетная пальба, крики... Тут не до сна.

Он приказал позвать Инацугу.

— Дед, мне не спится...

— Не мудрено.— Инацугу казался спокойным, но глаза его перестали смеяться.

Случится что-нибудь или уж напротив ничего не случится, — это в любом случае чревато опасностью для молодого князя и его вассалов. Тем более когда здесь сошлись войска нескольких княжеств, а князь Татибапа нарушил приказ главнокомандующего и уже штурмует Третий бастион. От чрезмерного душевного напряжения мышцы лица старого Инацугу застыли, будто окостенели. Отец молодого Тадакуни, князь Мунэсигэ Арима, все еще при дворе в Эдо; случись что-нибудь — это немедленно отзовется на судьбе его господина. Инацугу уже принял решение.

Старик безошибочно угадывал смятение Итакура. Он хорошо знал дело войны и понимал, в какую страшную переделку попал сейчас Татибана. (А в лагере Мацукура стояла глубокая тишина.)

Инацугу изложил молодому князю свой плап. Тот приказал отряду готовиться к бою. Вопреки запретам Итакура.

Белый плац Гэнъэмона Оэ, сражавшегося у ворот Третьего бастиона, вымок от крови врагов. Мокрая одежда липла к груди. Рядом с ним дрался Наокити. Сжимая копьё, он перегибался через паранет и разил карателей; когда же из-под коня ударял фонтан крови, он невольно вздрагивал сам.

XX. Первый бой Наокити

— А-а-а! — яростно кричит Наокити. Он неумело, двумя руками сжимает свое копьё, наносит удар и сбрасывает со стены очередного врага. Он целит в плечо, в лицо, в шею. Брызжет кровь.

— А-а-а!

Самурай, падежно защищённого шлемом и панцирем, Наокити подпускает поближе и обрушивает на него тяжёлый камень. Камней много. Приготовленные заранее, они лежат тут же под рукой. Со стоком, который рвет душу на части, самурай валится вниз.

— А-а-а! — истошно, во всю силу легких, кричит Наокити и замахивается на следующего.

Двое, четверо, шестеро... Число жертв растет. Наокити кричит все громче. Его крик уже похож на рыдание, в нем звучит отчаянная тоска. Он бледен, лицо припало землестый оттенок, но он вновь и вновь поднимает копьё.

— А-а-а!

Лицо забрызгано кровью, он хочет обтереть его, но ладонь скользит по коже. Дрожь отвращения сотрясает тело: и руки и копьё мокры от крови. Наокити вытирает копьё и ладони о землю, потом быстро выпрямляется; какой-то самурай опять лезет вверх по стене.

— А-а-а!

Не пошал! Самурай, вытянувшись во весь рост, схватил воткнутый у края стены флажок, круто повернулся и спрыгнул. Топча раненых товарищей, прихрамывая — верно, вывихнул ногу, — пошел прочь. У них это, кажется, считается подвигом — захватить хотя бы флажок. Ага, вот он, следующий, на очереди.

Рука вцепилась в деревянную обшивку стены, Наокити примеривается и с силой опускает копье.

— А-а-а!

Нет сил упясть дрожь, зубы стучат так, что кажется — стук этот слышен по всему бастиону. Одежда Наокити вся промокла от вражеской крови. Кровь быстро стынет на зимнем ветру. Глаза вылезли из орбит, словно он захлебывается в воде.

— Молодец, Наокити!.. Молодец! — кричит ему Гэнъэмон Оо, но Наокити не слышит. До сознания смутно доходит, что кто-то его зовет. Он не слышит ни барабанного боя, ни колокольного звона. Товарищи, враги — все исчезло. Он занят лишь одним: колет и сбрасывает тех, кто лезет наверх...

За стеной, поодаль, был насыпан еще один земляной вал, пониже внешнего, и вырыты длинные окопы. Это была вторая линия обороны. В окопах, скорчившись сидели крестьяне. Они ливыряли в раненых или, на короткое свое счастье, еще невредимых самураев камни величиной с кулак, и те, кто, благодаря личной храбрости или слепому случаю сумел перебраться через стену, тоже гибли, даже не успев взглянуть этой засады.

Внезапно Наокити почувствовал, что вокруг стало как-то особенно шумно. Сидевшие в окопах крестьяне придвинулись к внешней стене и принялись помогать передовым отрядам защитников.

— А-а-а!

Наокити уже почти лишился голоса. Его глаза неотступно следят, как враги упорно, по собственным трупам, все лезут и лезут вверх. Впрочем, кто мог бы с уверенностью сказать, что видел Наокити в эти минуты?..

Тээмон Мипаёсп был ранен в бедро. Однако рана, нанесенная копьем какого-то самурая, оказалась не опасной.

— Святая Екатерина, да разве папи люди похожи на обыкновенных мужиков! — взволнованно бормотал Тээмон, пока ему перевязывали рану.



У башни между Вторым и Третьим бастионами засели Кинсаку и Собэй с мушкетерами. Прямо перед ними был лагерь Тадакуни Арима. Там все уже пришло в движение, боевые ряды шумели и волновались, словно колеблемые ветром. Войско Арима готово было с минуты на минуту выступить на подмогу Татибана. В соседнем с Арима лагере Мацукура по-прежнему царил молчок.

— Четвертый... Пятый...— считал про себя Кинсаку. Каждую пулю он надкусывал, оставляя на свинце перовый след зубов.

Собэй, высунувшись так, что стал весь почти открыт неприятелю, кричал низким от усталости голосом:

— Эй вы, Мацукура! Сейчас я вам напомню кое-что...

Он перечислял все вины и преступления врагов, вызывая их на открытый бой.

— Что же вы! Прячетесь?!

В лагере Мацукура молчали.

Негромкий голос окликнул Собэя сзади. Это был голос Кинсаку.

— Отойди...— Собэй мешал ему стрелять.— Девятый... Десятый...

На рассвете Итакура окончательно убедился в поражении войск Татибана. Ночью, когда Татибана предпринял этот внезапный штурм, у Итакура еще теплилась надежда на успех. Но теперь медлить было нельзя. Можно понапрасну погубить все войско! Итакура приказал разыскать обоих заместителей Нагасаки. Однако их нигде не было. Одного за другим Итакура слал гонцов к Татибана.

— Почему без приказа начали штурм? Отведите войско обратно!

Татибана неизменно отвечал: «Еще немного, еще одна попытка... Если снова не будет успеха, поступим по вашей воле...»

Князь и не собирался повиноваться. Посланцы доносили, что Татибана пьян. Итакура приказал князьям Арима и Мацукура вступить в бой, чтобы спасти его войско от полного разгрома. Повинуясь приказу, Арима тотчас придвинулся к стенам Второго бастиона.

Однако Мацукура особого рвения не проявил.

— Выручать Татибана! Как будто пустяковое дело!— жаловался он старшему самураю Симбю Окамото.—

Предположим, я помогу Татибана и он победит — все равно заслугу припишут ему, так как он начал первым, — но если его разобьют, виноваты окажемся мы...

— Да, сегодняшнее сражение складывается для нас неблагоприятно. Разумнее, пожалуй, воздержаться от поспешных действий... — поддержал князя Окамото.

Над войском Мацукура взвился громкий боевой клич, но лишь малый отряд двинулся на помощь Татибана.

Что же до войска Арима, то на пути ко Второму бастиону князь Тадакунэ встретил воинов Татибана. Они брели назад, унося тела погибших товарищей.

— Дед, а Татибана-то разбили! Выходит, сколько мы должны своих положить, пока доберемся до крепости! Что же это, дед?!

Инацугу сурово молчал.

— Может быть, князя Татибана уже нет в живых... — сказал он наконец. Он знал, что отвечал Татибана всем посланцам Итакура.

К Тадасигэ Татибана прибыл уже пятый посланец Итакура.

— Действия ваши — предел дерзкого неповиновения. Вы самовольно начали штурм. Вы поступили вопреки приказу представителя правительства и его помощника. Отныне вы не достойны служить великому сёгуну.

— Знаю. Но подождите немного!

Шестой посланец передавал:

— Быть может, вы не хотите отступить, осуждая меня за то, что я сам не участвую в штурме? Но это возможно лишь после того, как и действие вступят все отряды.

В этих словах слышались отчаяние и растерянность полководца, но Тадасигэ не отличался сообразительностью.

— Мои воины добрались уже до стены... Погодите...

Седьмой гонец:

— Пусть ваши воины продолжают бой, но вы сами должны немедленно прибыть ко мне.

— Ладно, ладно, сейчас... Еще немного...

Проклятое мужичье! Он был в ярости и на повстанцев, и на тех, кто в разгар боя надоедает ему, непрерывно присылает гонцов и вдобавок требует отступления.

Внезапно явились Сакакибара и Баба — до сих пор

они наблюдали бой, прячась за бамбуковым частоколом лагеря Мацукура, — и принялись уговаривать:

— Непременно отступайте! Обязательно отступайте! Тадасигэ смерил обоих свирепым взглядом.

Теперь он должен сам идти к этой злосчастной стене и выводить остатки своего отряда.

Воины Арима и Мацукура вынесли мункеты и открыли огонь. Это уже не могло изменить ход дела. Впрочем, Тадасигэ казалось, что и тут соседи действуют с прохладцей.

Вдруг он ощутил какой-то толчок, пошатнулся и упал на залитое водой поле. Пуля угодила ему в плечо.

Для войск Набэсима бой закончился к десяти часам утра.

К четырем часам войска Арима, Мацукура и Татибана отступили, унося множество убитых.

Это было поражение.

Войска князя Набэсима, атаковавшие Сосновую гору у бастиона Амакуса, потеряли убитыми триста человек.

Войска князя Татибана — свыше четырехсот семидесяти.

Воинов, прибывших из разных княжеств, и самураев из отряда самого Итакура погибло свыше восьмидесяти.

И только потери Мацукура и Арима не превышали тридцати человек убитыми.

Вблизи лагеря Мацукура валялось семнадцать трупов.

Все оказались воинами Татибана.

Однако Тадасигэ, еще не остывший от ярости, превозмогая боль в плече, заявил посланцу Мацукура:

— Своих убитых мы подобрал. Остальные пока живы.

— В таком случае мы доставим их сами...

Заходящее солнце озаряло унылое шествие. Трупы несли на деревянных носилках. У всех убитых на одежде явственно виднелись гербы дома Татибана. Большого позора нельзя было и представить! Один из ближних самураев Татибана украдкой отправился к Мацукура просить прощения за недостойный поступок князя.

Итакура приказал собраться старшим самураям всех княжеств. Вызывать самих князей не стал — он опасался открыто осудить Татибана. Присутствовали и оба заместника Нагасаки. Держался он настороженно, то и дело

исподлобья поглядывая на участников совета. Решено было вновь укрепить бамбуковые частоколы, увеличить число апрошей и вести по крепости непрерывный огонь — иными словами, продолжать долговременную осаду. Оба наместника преспокойно со всем согласились.

Повстанцы потеряли убитыми семнадцать человек, и около пятидесяти было ранено — главным образом огнем из пушек. В *хоспитале* врачи раздавали лекарства, осматривали раны. Им помогали жещины.

Тээмон Мипаёси, вконец измученный, уселся прямо на землю под стеной Третьего бастиона. В лице у него не было ни кровинки. Есть не хотелось. Рисовый колобок застревал в горле.

Рядом сидел Наокити, с головы до пят выпачканный кровью.

Воздух был пронитан пороховой гарью.

Наокити казалось, мир перевернулся: земля и небо поменялись местами. Он всегда преклонялся перед христианами — их преследовали, они умирали, терпя страшные муки... Венцом их мучений была казнь в «Адской долине», там, у Ника Ундзэн, который и сейчас мрачной громадой высился в небе. Но это была высокая смерть и высокие муки — на них нужно было взирать снизу вверх. Теперь же и кровь и смерть оказались под ним, у самых его ног. Наокити устал так, что трудно было дышать, ему мерещилась тела тех, кого он бил копьём — снова и снова, обливаясь кровью, они падали и умирали. Он не видел больше ни родной своей Северной Арима, ни дорогих его сердцу мирных дней, когда перед взором расстилалась поля с молодыми побегами пшеницы и ростками батата. Сейчас перед глазами стояли только кровавые образы сегодняшней битвы. Он как будто не мог поверить, что эта кровь пролита его руками. В ушах все еще звучал собственный крик. Казалось, это кричал не он, а кто-то другой.

Наокити вскочил и с воплем пустился бежать. Тээмон Мипаёси едва успел схватить его за завязки сандалий.

— Да ты что?!

Словно пораженный громом, Наокити запнулся и повалился на землю. Не окликни его Тээмон, Наокити, может стать, потерял бы рассудок.

— На, съешь колобок... — ласково сказал старик.

Наокити безразлично сжевал колобок. Затем снова прилег на землю и уснул. Как был, в порепачканной кровью одежде. Вскоре тепло его тела и слабые лучи зимнего солнца высушат ее...

Гэпэмон Оэ обдумывал очередные дела. Сегодня же ночью надо выйти из крепости, чтобы подобрать камни и брошенное врагами оружие.

Камни очень пригодились. Оказывается, на войне вовсе не обязательно по всем правилам рубить друг друга мечами или колоть кошем. Можно еще и колотить по головам тяжелыми дубинками и обрубать секирой цепляющиеся за парапет пальцы...

С наступлением ночи они спустят со стены корзины и соберут все сброшенные камни. Камни еще не раз помогут им.

Назпачив людей для вылазки, Гэпэмон Оэ двинулся было к Главному бастпону, как вдруг заметил старого Минаёси. Сняв белый плащ, старик укрыл им Наокити. Гэпэмон подошел, дотронулся до плаща.

— Убит?

— Спит... — В глазах Минаёси стояли слезы.

С наступлением вечера в Эдо выехал гонец от Итакура.

Отправил свое донесение в столицу и Дзиндзабуро Мацудайра. Послали гонца Сакакибара и Баба; в их допесении события излагались совершенно особым образом.

То же сделали и все князья — Набэсима, Татибана, Мацукура и Арима, — и бесчисленные наблюдатели из всех княжеств.

Итакура очутился в центре всеобщего внимания. Сумей он, в короткий срок подавить бунт и восстановить спокойствие, это стало бы подвигом, достойным зависти в нынешние мирные времена...

По Эдо ползли слухи, что силы мятежников растут прямо-таки на глазах. А что, если и в самом Эдо есть тайные христеиане?

Сёгун Иэмпу был болен. Его ослезили христиане, не иначе! Шептали еще, что на самом деле сёгуна вообще уже нет в живых.

Весть о назначении новых посланников пошла гулять по стране. Не знали о ней лишь на месте событий.

В четырнадцатый день двенадцатой луны Сигэмуно Итакура, старший брат посланника, проводил поезд Мацудайра и Тода до селения Фусими и, расстроенный, поехал обратно. Если до прибытия новых военачальников сопротивление смутьянов сломить не удастся, река жизни его младшего брата неизбежно иссякнет...

Между тем правительство вовсе не хотело вредить Итакура: задача новых посланников состояла лишь в том, чтобы содействовать скорейшему завершению дела. Мацудайра сам подтвердил Сигэмуно, что не посягнет на права Итакура и не станет вмешиваться в военное руководство. Но когда Мацудайра, переночевав в Кобори, спустится вниз по Ёдогава, прибудет в Осака и побеседует там с палестником Осацкого замка Абэ, он поймет, насколько сильны мятежники и как велико их упорство. Тогда он воспользуется всеми данными ему полномочиями.

И Сигэмуно уселся за письмо к брату. «Как можно сдержаннее, как можно короче...» — мысленно твердил он себе. Сперва сообщить о том, что в Симабара выехали Мацудайра и Тода. Потом задать вопрос: неужели мятежная крепость еще не сдалась?.. Нет, так прямо спрашивать не годится. Наиболее приличное случаю — это написать



несколько слов одобрения — от старшего брата к младшему... И все же, как горько ему было узнать, что у Мацудайра свыше полутора тысяч воинов и девяносто верховых лошадей, что в отряде Удзиканэ Тода три с половиной тысячи человек и сто восемьдесят лошадей, — а брат его, отправляясь в поход, располагал всего только пятью сотнями воинов. Новых посланников сопровождал и Ёриясу Носэ, ведавший финансами. Значит, им предоставлены немалые средства и разрешено расходовать их по своему усмотрению. А что у младшего брата? Пусть Мацудайра — член Совета старейшин и важное лицо, не так уж он богат, не так уж и знатен. А как пышны выезд и одежда его свиты! А суда, на которых поплывут посланники, — их более шестидесяти, да десять грузовых судов для лошадей ожидают их в Осака. Купцы Осака и Сакаи встретят войско со всем радушием. Для них, торгашей, нет вести радостнее, чем весть о новой смуте.

Наместник Осацкого замка Абэ, хорошо осведомленный о положении дел, предложил Мацудайра несколько пушек, ядра и порох, а также послал к нему своего мастера-артиллерию Судзуки.

Утром двадцатого дня двенадцатой луны, в тот час, когда начался шторм, Мацудайра плыл по морю на роскошном восьмидесятивесельном корабле, предоставленном ему одним из местных владельцев, а быстроногий конь гонца с письмом наместника Киото бежал по дорогам Сапъёдо *. Вскоре это письмо окончательно решит судьбу Итакура-младшего, так и не сумевшего подчинить себе соединенное войско князей, их прихотливо переменчивые интересы и стремления.

XXI. Люди этого мира

На следующее утро Эмосаку Ямада хмурым взглядом провожал молитвенную процессию, обходящую Главный бастион.

Утренняя молитва кончилась. Сиро и его свита возвращались к себе.

Накануне, празднуя победу, защитники замка возносили хвалу всевышнему, и это можно было понять. Отпраздновать победу действительно следует. Но пышче —

что означает это пышное шествие? Ведь и повстанцы понесли потери — семнадцать убитых...

Сиро был, как всегда, одет в украшенную гербами черную куртку и белоснежные хакама, но, поглядев на его свиту, Эмосаку вытаращил глаза от удивления. На юношах — шелковые куртки и атласные хакама, даже чулки из какой-то блестящей ткани. Девушки — в кимоно, расшитых золотом. О-Кику выступала в паряде, отделанном золотыми и серебряными нитями. Эмосаку вспомнил, что все дни жена была занята каким-то питьем. В ход пошли чужестрашные ткани, захваченные повстанцами во время разграбления Симабара. Эмосаку не мог понять, зачем нужна вся эта пышность, в душе поднималось чувство, близкое к гневу.

Наверняка здесь приложили руку Дзюмбэй Масуда или Тюбэй Аспдзука, что, в сущности, непростительно, даже подло. Эта разукрашенная свита — еще один обман — и все для того, чтобы усугубить темноту и фанатизм крестьян.

Эмосаку не раз уже приходилось выслушивать поистине невероятные истории из уст повстанцев.

...Как-то раз, когда Сиро не был еще столь известен, он посетил дом одного богатого крестьянина на Амакуса и обратился к его гостям со следующими словами:

— Поистине, вы достойны сожаления, несчастные... Пусть сейчас христианская вера изгнана отовсюду, и все же только она одна дарует людям вечное спасение... В скором времени в мире произойдет важное событие, и в тот час, когда оно свершится, всякий умрет там, где его застигнет смерть... Спасутся лишь те, кто всеми помыслами служит царю небесному.

«Так. Ну это еще куда ни шло!» — думал про себя Эмосаку.

Затем Сиро якобы сказал:

— Многие, как я вижу, не верят мне. Чтобы рассеять сомнения, я на ваших глазах совершу чудо.

Он поднял к небу взор и стал молиться. Вдруг с неба слетел белый голубь и опустился к нему на ладонь. Не успели люди вздохнуть от удивления, а голубь уже спускало радужное яйцо. Сиро спокойно взял яйцо, и оттуда явилась божественная картина с изображенным *дэуса* и священная книга, писанная чужеземными буквами. Громко плеща крыльями, голубь сделал несколько кругов над

головой Сиро, взмыл в небо и пропал из глаз... Сотни жителей Амакуса в тот же миг поклялись стать христианами и пали перед Сиро ниц...

Да что там! Эмосаку знал человека, который утверждал, что собственными глазами видел это чудо. Он слушал его, стараясь не выдать истинных чувств. Как могут вожди восстания потворствовать такому обману, глупейшей болтовне?!

Рассказывали еще, будто Сиро исцелил больного, а один человек, ругательски ругавший Сиро и святую веру, был поражен немотой, и ноги у него высохли. И таким рассказам не было числа. Всякий раз, когда Эмосаку слышал очередную небывлицу, он опускал глаза и лицо его как-то страшно напрягалось.

Конечно, как один из военачальников, он не мог не понимать всей выгоды от таких рассказов, но он предвидел и другое — всю опасность этой самой выгоды... Любопытно, кто их выдумывает и разносит? И кому вообще пришло это в голову?

Эмосаку чувствовал душевное отвращение к подобной лжи — он считал ее преступной. Но когда твоя родная дочь в числе других способствует этой лжи, как-то неловко быть чересчур строгим...

Среди нарядной свиты Сиро выглядел очель скромно в своей черно-белой одежде; впрочем, это должно было производить впечатление своеобразной изысканности. О-Кикку шла сразу вслед за Сиро.

Крестьяне смотрели на Сиро и его свиту, затаив дыхание. В Главном бастионе не было ни убитых, ни раненых, но у многих одежда была в крови; подбирали трупы врагов, валявшиеся у стен Второго и Третьего бастионов, потом сбрасывали их в море или передавали противнику. У многих белая одежда успела достаточно загрязниться и порвалась... а Сиро, как видно, ежедневно меняет свои хакама... Что ж, поверное, так и нужно, ведь он считается главным вождем. И все же... Эмосаку внезапно разведал скрещенные на груди руки. Что-то необычное почудилось ему в праздничной процессии юношей и девушек. Что-то возбуждающее или, вернее сказать — чувственное. Здесь, где царил война и смерть, эта чувственность исходила от них с неожиданной и властной силой. И, если быть откровенным с самим собой, он тоже поддавался ей...

Процессия удалась. Эмосаку присел отдохнуть.

Краем глаза он увидел Гэнтэмона Оа, который, пропустив процессию, вошел на бастион. Плащ его был весь в пятнах крови.

«Кто знает,— продолжал размышлять Эмосаку,— возможно, крестьянские легенды в точном счете не так уж бессмысленны. Пусть это всего лишь наивные сказки, но если в них заключена великая правда душевных порывов, вправе ли я отвергать их как досужий вымысел?..» Вот так всегда! Стояло Эмосаку в своих рассуждениях дойти до этой мысли, и он чувствовал, что натывается на препятствие, одолеть которое не в силах.

В особенности его тревожило то, что легенды о Сиро все более напоминают легенды об Иисусе. Все больше людей провозглашают при виде Сиро: «Санта-Мария». Утонченная, изысканная внешность юноши, его девичья красота вызывали в воображении людей образ святой Марии.

Но ведь это всего лишь внешность! Не следует заблуждаться насчет вполне земной сущности Сиро. Так думал Эмосаку.

Но крестьяне думали иначе. Для них облик Сиро все более сближался с образами Марии и Иисуса.

...Подоспел весело улыбающийся Гэнтэмон. Сам того не замечая, Эмосаку все время следил за ним; вот он появился в воротах, вот скрылся в помещении штаба, о чем-то, паверное, там доложил и, наконец, подходит к нему.

— Мастер Эмосаку, поздравляю!

— С чем? — Эмосаку показалось, будто его уличили во лжи.

— Во-первых, со вчерашней победой. Но еще и с тем, что Гонноска выпустили из барака заложников.

— А, с этим? Да, наконец-то... — медленно проговорил художник.

— Во всяком случае, теперь на душе у тебя станет легче...

Гэнтэмон ошибался. С освобождением Гонноска Эмосаку стало еще тяжелее.

— Это тебе мой сын обязан свободой. Благодарю!

— Да что ты! Правда, я тоже замолвил словечко, но главное, было уговорить Самбая и Скээмона из Капуса. Да и как иначе! Ведь ты — один из начальников Главного бастиона, да к тому же ведаешь перепиской и военным складом... Нельзя же подозревать всех и каждого.

Гэнтэмон огляделся по сторонам. Ни Гонпоскэ, ни Васакү поблизости не было. Наверное, трудятся на бастине Амакуса. Эмосакү тоже оглянулся. Внезапно до него дошел смысл последних слов Гэнтэмона, и он ужаснулся.

Опять Гэнтэмон словно подчеркивает, что должность ему дана вовсе не для проверки. Намекает, что он склопен, скорее, осудить Самбэя и Скээмона, которые упорно не желали доверять ему...

А Гэнтэмон продолжал говорить. Он восхищался храбростью почти безоружных крестьян. Эмосакү мимичально поддакивал. Каждое слово Гэнтэмона бередило рапу.

— Вол или лошадь — если спясть с пих ярмо — обретают такую силу, что способны с одного удара проткнуть человека рогами или забить копытами... Вот так и крестьяне — стоило им сбросить путы и начать действовать сообща, и им не страшны теперь никакие самураи.

Эмосакү наконец решился:

— Мастер Гэнтэмон, для чего так разоделась свита господина Сиро? Какой смысл в пышности? Не может ли она озлобить крестьян?

— Ты думаешь? — протянул Гэнтэмон. Он помолчал немного и снова заговорил. Его слова были полной неожиданностью для художника. — Давным-давно случилось мне слышать одну историю. Сам не знаю, почему я вспомнил ее, увидев шествие. Кажется, она не имеет к твоему вопросу никакого отношения. Однако послушай. Однажды господь наш Иисус обедал у одного прокаженного, уж не помню, как его звали, и тут пришла некая женщина и умастила тело Христа благовонным маслом из драгоценного сосуда. Тогда один из учеников Христа сказал ей: «Зачем ты совершаешь поступок столь бесполезный? Если бы ты продала это масло, ты выручила бы много золотых, и деньги эти можно было бы раздать бедным...» И стал порицать женщину. Но Христос сказал: «Не надо бранить ее, женщина сотворила для меня благо, а бедные есть всегда и повсюду и помогать им можно в любое время. Я же не вечно пребуду с вами...» * Не знаю, почему эта притча вдруг пришла мне на ум...

Из груди Эмосакү вырвался не то вздох, не то стоп. Уж не хочет ли Гэнтэмон сказать, что Сиро не принадлежит более миру сему?

Николас Кукебеккер был крайне обеспокоен. У него и так хватает забот, а тут еще эта смута!.. Что же будет дальше? Не хотелось бы оказаться участником распри в чужой стране, к тому же распри, затеянной католиками. Думая о «заботах», он имел в виду прежде всего тысячу восемьсот с лишним гульденов, которые задолжали ему князя Тарадзава и на возвращение которых теперь, пожалуй, трудно надеяться. А какая же это торговля, если кредиты не погашаются? И всему виной смута! Невозможно купить ни пшеницы, ни риса. Правительство, кажется, запретило продавать рис, пока военные действия не закончатся. С превеликим трудом удалось ему раздобыть пятьсот тридцать мешков, но позарез нужны еще три с половиной тысячи для погрузки на «Беттеп». И если голодные японцы бунтуют именно из-за того, что у них нет ни риса, ни пшеницы, то его, Кукебеккера, это совершенно не касается.

Выходит, даже против воли он все глубже увязает в проклятой смуте, а как из нее выпутаться, не знает.

Хэдзо Суэцугу, замещавший наместников Нагасаки (Сакакибара и Баба находились в армии Итакура), действовал осторожно, понимая, что голландец стремится извлечь из смуты новые выгоды. Ну, а у него, наместника Суэцугу, выгода своя. Слишком нежная дружба с чужестрапцем не входит в его планы, да и чересчур явная видимость ее — тоже. Но какая бы она ни была, эта дружба, раз представился случай, он ее использует и покажет начальству свои таланты и ловкость.

Хэдзо встретился с Кукебеккером.

— Вы невозможный корыстолюбец! — сказал он. — Да случалось ли вам вообще говорить о чем-нибудь, кроме наживы? Уверен, что никогда... Неужто все голландцы похожи на вас? Или они думают, что японцы существуют в Японии только затем, чтобы на них наживаться?

Кукебеккер усмехнулся своеобразному юмору Хэдзо; тот продолжал:

— Но люди не таковы. Человеку стыдно думать об одной корысти...

И тут полилась проповедь, удивившая Кукебеккера сверх меры. Высказавшись, Хэдзо невозмутимо ушел. Что за странный переход от деловых разговоров к рассуждениям на моральные темы? Хэдзо еще сказал: «Вдумайтесь: кто хочет собрать урожай, должен сперва посеять...



Должен внести удобрения в землю, оросить ее... Чтобы получить прибыль, следует приложить кое-какие усилия, не так ли? Говорю вам это, как друг». Кукебеккер послал Итакура через Хэдзо две бутылки виноградного вина и ящичек засахаренных фруктов.

«Всего-навсего две бутылки вина и фрукты?!» Хэдзо Суэцугу был изумлен. Ну и скуп оп, этот голладец!..

В проповеди Хэдзо таился глубокий смысл. Голландцы, ранее засевшие на Тайване, пропикли нотом в Японию и сильно мешали торговле, которую вело семейство Суэцугу и некоторые другие купцы. Случилось даже, что однажды капитан, служивший дому Суэцугу, произвел палет на голландскую факторию в Хирадо; тогдашнего начальника фактории Питера Ньютса целых пять лет продержали под домашним арестом. Поэтому Хэдзо Суэцугу хотел прежде всего подчеркнуть, что если для его отца, Хэдзо-старшего, Голландия — торговый соперник, то для него, младшего Хэдзо, это уже не так, оп — друг

голландцев. Кроме того, он напомнил, что однажды, в столице, Итакура замолвил за голландцев словечко, а во время визита Кукебеккера в Эдо оказал ему немало услуг.

И за все это — две бутылки вина и засахаренные фрукты!..

На правах «друга» Хэдзо слал одного за другим гонцов в Хирадо, он писал: «Не время приbedняться, вы должны обещать прямо и без обиняков: буду полезен всем, чем смогу».

«Всем, чем смогу». Это как же прикажете понимать? «Всем, чем смогу». Что за дурацкие слова! Но в этой стране правилам этикета и обхождению придают неслыханное значение, а что до лести и угождения чиновникам, так без этого здесь и шагу ступить нельзя...

В конце концов Хэдзо Суэцугу сообщил Итакура, что Кукебеккер готов оказать ему всемерную помощь...

В двадцать третий день двенадцатой луны Кукебеккер сделал наконец первый шаг. У него потребовали шесть бочонков с порохом, и он их прислал.

В бухте Коти, недалеко от Хирадо, стояли на якоре два голландских судна — «Де-Лайф» и «Веттен». Все другие корабли уже покинули бухту, и только эти два задержались. Пороха на них оставалось совсем немного. Кукебеккер отдал порох, но не сомневался, что от него потребуют новых услуг.

Разбить бунтовщиков оказалось не так легко, как предполагали. Недели через две паверняка последует просьба доставить еще и пушки, да чтоб были исправные...

Кукебеккер сидел над раскрытыми конторскими книгами. В книгах были записаны отчеты о коммерческих операциях, сведения о незаконченных сделках. Деньги из Эдо все еще не доставлены, он ждет их со дня на день. Нужно сделать окончательный подсчет, пристроить оставшиеся товары и поскорее отправить донесение в резиденцию губернатора в Батавию. Торговые операции 1637 года закончены. По японскому календарю, шел еще только двадцать третий день двенадцатой луны, по европейскому — было уже шестое февраля 1638 года.

Деньги из Эдо так и не прибыли, зато пришло сообщение, что правительство отправило к месту действия князя Идзу и Тода. Это осложнило положение. На сей раз двумя бутылками вина и коробочкой засахаренных фруктов не отделаешься.

Он в раздумье рассказывал вокруг стола, когда к нему явился чиновник местного князя с переводчиком. У чиновника было испуганное лицо.

Оказалось, что третьего февраля (по-японски — в двадцатый день двенадцатой луны) был предпринят штурм замка, но мятежники оказали упорное сопротивление; женщины, переодевшись в мужское платье, бросали камни в нападавших; карательное войско потеряло около шестисот человек убитыми. По слухам, штурм был предпринят не по приказу Итакура, а по наущению наместников Нагасаки. У Итакура был свой план — он хотел выждать, взять крепость измором, отрезав все пути для получения продовольствия. Наместники же ничего не знали об этом, потому дело и завершилось столь плачевно.

После ухода японцев Кукебеккер слово в слово записал в дневник их сообщение и снова принялся рассказывать вокруг стола.

«Если не вмешиваться в эту войну совершенно, — размышлял он, — как бы португальцы вновь не захватили все торговые привилегии... Мы лишимся того, что с таким трудом отвоевано Голландией у коварных католиков. Правда, они, слава господу, изгнаны из Японии. Но если я испорчу отношения с Хэдзо, я окажусь в дураках. Ибо этим немедленно воспользуются англичане, которым уже удалось оклеветать нас перед японцами, или сами японские купцы — в последнее время они что-то подняли голову. Придется идти ва-банк! Наши позиции и прибыли фактории того стоят!»

Дуальтэ Корэа, грязный и худой, ухватившись за решетку окна, изумленно смотрел на дорогу — тюрьма Омуро стояла у государственного тракта, ведущего в Симабара.

Вот неуверенной походкой бредет юноша. Он ведет на поводу копя и громко, в голос, плачет. Вот несут на носилках раненого с почерневшим лицом. Что произошло? Когда юноша поравнялся с окном темницы, Дуальтэ Корэа окликнул его. У молодого человека были выбриты волосы надо лбом — знак траура по погибшему господину.

— Что случилось?

Юноша ответил, что господин его пал в бою.

В тишине безлюдной дороги еще долго слышался плач юноши и перестук копыт.

Шел дождь, удивительно теплый. Все кругом тонуло в тумане, клубами наползавшем со стороны пика Ундзэн. За белой пеленой исчезли заливные поля и устье реки, отделявшие осажденный замок от стана противника.

Туман постепенно поднимался по холму, переваливал через крепостные стены, мягко обволакивая людей, чинивших пробоины и строивших новые хижины в крепости. Таких хижин, покрытых лиловатыми дудками камыша, было уже построено великое множество, и над каждой развевался стяг со знаком креста. Сейчас стяги поникли, намочив от дождя и тумана.

На третьем бастионе хорошили навших в бою. Вынесли большое распятие. Собрались члены военного совета и совета старейшин, молились тихо, но истово.

— Наму*, Наму, Наму, великий Будда, царь небес... — слышалось попеременно с христианскими песнопениями, полными латинских и португальских слов. И никто уже этому не удивлялся.

Туман постепенно окутывал молящихся.

Во вражеском лагере стояла удивительная, глубокая тишина. Туман все густел и густел, не только островов Унго и Амакуса — даже моря — рядом, за обрывом, не было видно; оттуда не долетало ни всплеска.

Не было видно даже каменной стены Главного бастиона; на запад от нее — сразу за алтарем, — казалось, начинался рай, блаженная страна...

Когда звуки молитв неожиданно смолкли, на дне этого моря тумана воцарилась глубокая, ощутимая тишина — внезапная тишина после возбуждения и шума битвы. У Лотосового пруда жепщины стирали мужскую одежду. Тем, кому не во что было переодеться, оставалось только ждать, когда выглянет солнце и можно будет сбросить с себя грязное платье и понежиться в богатых солнечных лучах.

Постепенно туман начал рассеиваться. Хлынул проливной дождь. Лишь немногие имели широкополые плетеные шляпы. У большинства не было даже обычных соломенных плащей, и они кое-как спасались от дождя, кутаясь в грубые камышовые циновки.

Тээмол Минаёси внезапно дернул Гэньэмона за рукав.

— Взгляни-ка... Наокити...

Сквозь разрыв в пелене тумана показалась фигура Наокити — он стоял в стороне от похоронной процессии, поглощенный каким-то запытием.

— Да, никак, он топчет пшеницу!..* — воскликнул Гэньэмон, пораженный.

— Ты угадал.

После того как прежний князь приказал разрушить замок Хара, на месте бывшей крепости разбили поле. Правда, после начала восстания крестьяне забросили его, но пшеница уже была посеяна и побеги ее поднялись над землей на целый сун¹.

— Понимаю, все понимаю... — почти простонал Гэньэмон.

Каждого крестьянина тянет к привычному труду — ему хочется топтать пшеницу, удобрять землю. Когда у него отняли это право, отняли землю, он взбунтовался...

В недавнем сражении крестьянин Наокити бился с беспримерной отвагой, но сейчас он весь ушел в работу — он топчет пшеницу, словно забыв о том, что навряд ли будет в живых, когда пшеница заколосится обильным урожаем. Если бы Гэньэмон и старый Тээмон Минаэси подошли поближе к Наокити, то поразились бы не столько тому, что Наокити с невероятным усердием принимает погони побегов, сколько выражению его лица, необычному, почти страшному от внутреннего напряжения. Работая, он словно чему-то сопротивлялся, боролся с каким-то невидимым великаном. Он и сам не помнил, сколько самураев убил в сражении. Убивать людей и выращивать хлеб — как бескопечно далеки друг от друга эти два дела! Между ними нет никакой, даже самой малой связи. Они так же различны, как мирное поле и «Адская долина»... Чтобы жить, совершив убийство, жить, спокойно, словно ничего не случилось, может быть, и впрямь не существует другого средства — только топтать эту пшеницу, даже зная наперед, что не увидишь, как ее убирают...

Старый Минаэси хорошо понимал, что творится в душе Наокити. всю молодость он провел в непрерывных боях «воюющих княжеств»* и немало повидал крестьянских сыновей, которых привели на поле брани соблазн или насилие, а то и жажда поскорее выбиться в люди.

¹ Сун — мера длины, равная 3,03 см.

Многие из них погибали, но иные, отличившись в бою, продвигались все выше, наконец, им жаловали фамилию*, и они становились самураями. Так было во времена «воюющих княжеств». Но с наступлением владычества Токугава пути к подобному возвышению были отрезаны. А здесь, в осажденной крепости, ни о каком выборе не могло быть и речи.

Дождь ненадолго стих, и снова, еще упорнее, попола из-за крепостных степ туман... И близкое море, и Наокити, топчущий пшеницу, снова скрылись в мягкой молочной пелене.

Вся семья Эмосаку участвовала в похоронной процессии. Не было только его самого. О-Кюку шла отдельно, в самом первом ряду, в свите Сиро. Остальные члены его семьи замешались в толпе. Рядом с о-Тнё шла старуха о-Соно. Распятие, возле которого они остановились, едва виднелось в сплошном тумане.

Внезапно тишину прорезал жуткий, звериный крик. Кричала женщина.

— О!.. О-о! Вижу, вижу!.. Вижу райскую землю, господа бога... Вот, вот же он, над крестом!.. Смотрите все!.. О! О-о!

Казалось, этот пронзительный крик, разрывая туман, летит к самому небу. Люди стали опускаться на колени. Многим явственно чудилось, будто они видят рай и господа бога. В эту минуту завеса тумана разорвалась, и в просвете возникла черная громада пика Ходзэ, на фоне которого витала фигура *дэуса*, подобная Будде, переходящему через горы...

— *Доминус нобискум*... Царь небесный пребывает с нами... — провозгласил Сиро сильным, молодым голосом.

— О-Тнё-сан!.. — тихо произнесла о-Соно.

— Да... — отозвалась та, поклонившись старухе.

— Сейчас туман, пика Ундзэи не видно, по какое великое множество людей молча приняли смерть за господу... там, наверху, в «Адской долине», да и в Нагасаки тоже... И все умерли с радостью, истинно с радостью. Потому что глаза их видели райскую землю и божью десницу. И они знали, что понадут туда, стоит лишь умереть...

— Да, да... — отозвалась о-Тнё.

Стоявший рядом с матерью Васаку бормотал что-то. О-Тнё прислушалась — он молился.

— Я источник силы, с верой обращайтесь ко мне, и я всею радостью в ваши сердца... Жизнь, которой вы так дорожите, воспрянет к свободе — с радостью отдайте ее господу...

Гонимокэ стоял в растерянности. А о-Тпё в эти минуты почему-то вспомнился Эмосаку. Уже делую неделю он удивительно мрачен. Он поднимается на башню Главного бастиона и часами угрюмо наблюдает за лагерем Мацукура...

Туман снова сгустился, но под его белым покровом крестьянин Наокити не переставал умирать пшеницу. Наверное, только это могло снова вернуть его к жизни.

В одном из уголков Главного бастиона, возле Сосновой башни, плотники Тэскэ и Рокудзо, присев возле огромного ствола павлонии, совещались с оружейниками Хаято и Уманоскэ; тут же был и Дзэнъэмон Яма, заглянувший в Главный бастион по какому-то делу.

— Так, говоришь, не разорвет?

— Нипочем не разорвет, бамбуковые обручи держат крепко.

— Ты уверен?..

Диаметр отверстия, пробуровленного в стволе, составлял почти восемь сун, из отверстия торчало не меньше двадцати тонких, заостренных стрел — изобретение Тюбэя Асидзука.

— Не слишком ли тяжелые стрелы?

— А чересчур легкие могут не долететь.

— Верно. Надо делать их потолще... А на конце привязать смоченную жиром тряпку... Подождем, и пусть летят...

Из стана противника уже выстреливали зажигательными стрелами толщпой в палец; к ним было приделано оперенье, чтобы были устойчивы в полете. Несколько таких стрел уже зажгли камышовые крыши. Но их можно было выстреливать по одной, и только. А теперь Тюбэй Асидзука хотел пускать разом по двадцать и тридцать таких стрел, по более тонких. Оружейники и плотники еще долго совещались.

В кузнице у Сосновой горы ярко пылал раздуваемый мехами огонь. Там отливали ружейные пули. Со всех бастионов сносили сюда ядра и пули, залетавшие в замок.

Их запасли столько, что хватило бы на много сражений. Плавить и отливать заново железные пули было нелегко, зато свинцовые изготавливались просто. Тут же рядом ковали копьа, затачивали и приводили в порядок мечи и алебарды, поломанные в сражении. Ведь новых копий и мечей взять было неоткуда — только у врага.

Дзэнъэмон Яма огляделся вокруг и вдруг громко расхохотался.

— Смотри-ка, и мечи, и копьа, и ружейные пули... Всем снабжает нас великое японское государство... Можно сказать, получаем обильные дары от великой Японии и этим же дарами лушим ее войак.

Все засмеялись.

— Ну, раз великая Япония жалует нас копьами, мечами и пулями, — продолжал Дзэнъэмон, — так будь у Итакура хоть сотня жизней в запасе, все равно погибелл ему не миновать... — и, снова засмеявшись, вышел из башни. Однако что-то мрачное таилось в его насмешливом голосе, и, уловив это, многие перестали смеяться. Забавно, конечно, что оружием снабжает их не кто иной, как сам противник. Но это, пожалуй, по причина для веселья. Ведь оружие и боевые припасы все равно будут убывать... Пули еще есть, а вот пороха становится все меньше... Правда, серы хоть отбавляй, да что толку?..

Смех угас. Люди снова молчаливо работали, окутанные туманом. Только в труде люди ощущали течение времени.

Наокити топтал пшеницу. В этом привычном деле он бессознательно стремился вновь обрести прежнее состояние духа, забыть, как он колол, рубил, давил камнями людей, стереть из памяти зрелище убийства, хлещущую кровь, вываливающиеся кишки... Раненные в живот — все! — зажимали живот руками, точно пытались затолкать кишки обратно...

Дзюдаю Курахати никогда не учили топтать пшеницу. Как был, в окровавленной одежде, он явился за бамбуковую ограду, в барак, где содержались заложники. Вид его испугал даже часового.

Убийства напомнили Дзюдаю о днях его молодости, вновь пробудили в нем то странное чувство удовлетворения, которое он ощутил когда-то, попав из простых самураев в любимцы капризного и своевольного князя Курода: словно и не было долгих лет лишений и невзгод.

Ворвавшись в барак, он вывел оттуда Кумэ, женщину лет двадцати восьми. Он давно уже заметил ее сквозь ограду.

— Будешь помогать стряпухе в бастионе Амакуса... — бросил он.

Кумэ была женой самурая из княжества Мацукура, взятая заложницей в Симабара.

Кругом не было ни души — все разбрелись кто куда.

Кумэ по выразительности лица сразу поняла, чего он от нее хочет. Правда, Дзюдаю был обрит, как священник. Но надежда мелькнула на миг и исчезла. Дзюдаю вовсе не был священником по призванию, его вынудили обстоятельства, и он принял постриг, только и всего.

Заложники злобно глядели вслед Кумэ и самурая.

На Сосновой горе Дзюдаю втолкнул женщину в свою хижину.

— Быстро, быстро...

Все кругом пахло смертью, разложением. Роились черными скопища мух. Кое-где торчали застрявшие в соснах стрелы, валялись обломки доспехов в бурных пятнах крови. По земле отчетливо протянулся кровавый след — тут проволокли трупы, чтобы сбросить в море с обрыва.

Дзюдаю швырнул Кумэ на циновку... Тело у нее было грязное, зато от нее не пахло кровью...

— Останешься у меня... в услужении...

К вечеру прояснилось, и на небе засветился бледный закат. Освещенный его лучами, Эмосаку панююшцу высунулся из-за стены Главного бастиона. Он неотступно смотрел в сторону лагеря Мацукура. Ответа все еще не было. А между тем провило уже десять дней...

XXIII. Ожидание

Глядя на лагерь Мацукура, Эмосаку напряженно размышлял. Обычный крестьянский бунт — хотя и с превеликим трудом, но можно успокоить. Как прежний вассал Арима, он мог бы даже стать посредником. Но ведь они упорно твердят, что это восстание — прежде всего, вой-

на за веру. Значит, у осажденных нет другого выхода — все сложат головы здесь, в крепости. И они начинают постепенно сознавать это. После сражения двадцатого дня в крепости появилась безумная — она блуждала по Второму, по Третьему бастиону и беспрестанно кричала:

— Вижу, вижу! Вот она, райская сторона... Смотрите, господь бог взирает на нас... Смотрите! — кричала женщина, и встрепанные волосы падали ей на лицо. Никто не пытался унять ее.

В предчувствии разгрома люди все больше возлагали надежды на небесное провидение, то есть попросту — на чудо...

Но разве можно своей смертью укрепить христианскую веру? Какая орудда!.. Эмосаку был не в силах постичь подобную логику.

Вдруг его взгляд привлекло странное зрелище. Другие тоже заметили его, за спиной художника послышались громкие, удивленные голоса. Далеко за расположенным противника, в горах, поднимался высокий густой столб белого дыма.

Лесной пожар? Нет, не пожар. Сигнал — в этом не могло быть сомнений. И не один — чуть поодаль поднимался такой же дымовой столб. От радости люди всплескивали руками. Они пока еще не чувствовали ни оторванности, ни одиночества в своей крепости, но все же отрадно было убедиться, что они не одни, что и там, вдалеке, есть люди, сочувствующие восстанию.

Все тотчас захотели зажечь ответный костер, но Тюбэй Асидзука воспротивился — надо беречь скошенную траву. Тогда решили запустить двух больших бумажных змеев со знаком креста на каждом. Подгоняемые ветерком с моря, змеи поплыли в небе над вражеским станом, они упорались все дальше, словно стремились соединиться со столбами дыма вдаль.

Каратели обстреливали змеев из луков и мункетов, но ни одна стрела, ни одна пуля в цель не попала. Это тоже показалось всем чудом.

На самом деле дым не был сигналом. В лучшем случае это было тайное поздравление с недавней победой. Хатирао, откуда поднимались столбы дыма, когда-то поселили христиане, бежавшие от гонений. Сейчас, конечно, и там вера была вырвана с корнем, но далекий дым говорил о том, что и за пределами крепости остаются лю-

ди, сочувствующие восставшим. А повстанцы радовались, глядя на дымовые столбы, и безумная, указывая пальцем на змеев, кричала, что видит на них лик господень...

Неуязвимые для пуль и стрел, змеи всеело трепетали в ясном вечернем небе.

Подведя окончательные итоги сражения, Итакура содрогнулся. Убито было не менее шестисот человек, урон же, нанесенный бунтовщикам, оказался ничтожным. Мужичье обороняло свою крепость по всем правилам военной науки. Связь между отдельными отрядами у них была, как видно, устроена намного лучше, чем у него. Шайка смутьянов, бунтовщики, стала ворон... Нет, презрительными кличками здесь не отделаться. Нужно штурмовать замок со всем усердием и искусством.

Но какими, собственно, силами он располагает? Единства в войсках нет. Мацукура и Татибана грызутся между собой по всякому поводу, а Мацукура, кроме того, не ладит с Набасима.

Единственный надежный способ сломить мятежников — лишить их всякой связи с внешним миром. Между тем самурай, семья которых захвачены повстанцами, скрипит зубами от ярости. Еще бы! Ведь штурм закончился полным провалом.

Правда, среди убитых было более всего именно ронпнов, а за них ни Итакура, ни князя не отвечают, — и сколько бы ронпнов ни убили мятежники, никому в голову не придет обвинить Итакура в том, что он понапрасну загубил своих воинов.

Весть об огромных потерях быстро распространилась по стране. Начальник гарнизона Нагасаки отправил в помощь Итакура отряд в триста воинов. Итакура приказал им немедленно вернуться назад.

Гонцы, проезжавшие через Симабара, рассказывали о дерзких песенках, высмеивающих неудачи Итакура. Стихи появлялись на стенах городских домов... Но не сами ли богатые горожане, их бесчинства и самоуправство виной тому, что началась эта смута! И они еще смеют сочинять стишки. Они еще насмеваются!

Запретные песенки пошли гулять от лагеря к лагерю. Подчиненные прощически поглядывали на своего начальника.

Среди рабочих, что возводили апроши, засыпали болотистую низменность на подступах ко Второму бастиону и рыли подкоп, тоже стали известны эти злосчастные вишни. Даже во тьме подземного хода Итакура чудилось перешептывание и насмешливое хихиканье.

Вернувшись после осмотра работ, Тадакуни Арима застал Ики Инацугу за чаепитием. Старик лежал на циновке, опираясь на локоть, — в сражении двадцатого декабря он был ранен в колено. Старый Инацугу так крепко сжимал свою любимую чашку узловатыми пальцами, что, казалось, вот-вот раздавит ее; лицо его было озабочено и сурово. За все время, что они были здесь, Инацугу сам заваривал чай только во второй раз. Тадакуни пахмурился — уж не стряслось ли какой беды? Несмотря на появление князя, Инацугу лишь слегка приподнялся.

— Ну, как здоровье, дед?

Старик что-то буркнул.

— Как думаешь, когда мы возьмем накопец крепость?

— Да, пожалуй, не раньше, чем зацветут вишни...

— Вишни?! — Тадакуни был поражен. Сливы уже цвели. Неужели старик полагает, что им не удастся сломить мятежников раньше цветения вишен? Неужели ему придется торчать здесь, в убогой лачуге, еще столько времени? — Вишни?.. — невольно повторил он, словно желая убедиться, что не ослышался.

Что ж, может быть... Мятежники упорны, знают толк в военном деле, а главное — все до единого готовы на смерть. Конечно, христиане — это все равно что скотина. Когда их казнили, их так и считали, как скотину, — две головы, три головы... Однако недаром говорится: «Червяк длиной в один сун, а душа — в целых пять сун». Если они все-таки люди, то существует заповедь: «Не отнимай у человека его стремлений...» Но даже если они все-навсего червяки, все равно справиться с тридцатью семью тысячами червяков — дело нешуточное!

— Господин... — тихо окликнул его Инацугу и подвинулся, освобождая место подле себя. — Господин, до меня дошел удивительный слух...

— Слух? — Тадакуни по горло был сыт всяческими слухами.

— Может, и не слух... Говорят, что из Эдо к нам едут Мацудайра, князь Идзу и Удзикава Тода...

— Князь Идзу?! — Тадакули невольно бросил взгляд в ту сторону, где находилась ставка Итакура.

— Да. И похоже, что это правдивая весть: они уже близко...

— Значит, выходит, что...

— Вот именно.

Дело принимало скверный оборот. Крутой нрав князя Идзу достаточно хорошо известен. И Итакура мог наперекор разуму и обстоятельствам решиться на штурм... Каково придется тогда тем, кому выпадет начать сражение?..

— Это правда?

— Правда. Говорят, они уже проехали Осака.

Слухи о приезде новых посланников сѣгуна проникли уже во все боевые лагеря. Не знали об этом по-прежнему только в ставке Итакура...

Гонец наместника Киото, Фудзиэмон Аmano, спешил. Он вез письмо старшего брата, полное тревоги за судьбу младшего.

И еще один всадник в тот же час подгонял коня. И его послал родственник Итакура: дочь Тода была замужем за наместником города Киото.

Шестидесятидвухлетний Удзикава Тода разделял opinion зятя. Он не был осведомлен обо всем до конца, но знал, что войска Итакура почему-то топчутся на месте. Чернь, христиане, которые и внимапия-то заслуживали не больше, чем какая-нибудь кошка или даже мышь, — вздумали бунтовать! Ими руководят ронины?! Все равно — мыслимо ли дело, чтобы из-за этого взволновалось целое государство? Приходится посылать воспачальников из Эдо, собирать войска чуть не по всем княжествам! А если князья на западе и востоке, сговорившись, восстанут — что тогда? Угроза великому дому Токугава! К несчастью, Иэмицу тяжело болен. И если смута затянется, то князья... нет, небо не допустит... В мыслях рыцаря Тода мешались привязь к Итакура и преданность государству, то есть Иэмицу. Он был взволнован.

«Не медли ни дня. Прибудешь в Спмабара, тотчас договорись с князьями и на второй же день постарайся взять крепость штурмом. Если крепость до Нового года

взята не будет, уважение к нам стран соседних упадет, да и ты в глазах народа нашего можешь оказаться посмешищем», — писал он Итакура.

Узнав от наместника Осацкого замка о тяжелом положении войск в Симабара, старик от гнева перемешлся в лице.

Князь Идзу пытался отговорить его от писания письма:

— Конечно, мятежники — все мужичье, не более, но дерутся они на славу... Поэтому не стоит, пожалуй, давать советы издалека...

Мацудаира сочувствовал старому рыцарю.

Итакура ждал.

Теперь он ждал прибытия пороха и пяти пушек, которые заказал у голландцев в Хирадо через наместника Нагасаки. Шесть бочонков с порохом уже прибыли. Но пушки, которыми располагал Итакура, были чересчур малого калибра. Такими крепостных стен не разрушишь. Если бы удалось пробить брешь в стенах Второго или Третьего бастионов, крепостью можно было бы овладеть, правда, не без потерь, но все-таки можно.

В 1600 году к побережью Бунго случайно прибило голландский корабль «Лифд» *. На нем было девятнадцать пушек. Они-то и сыграли поистине решающую роль в битве при Сэкигахара. Итакура знал об этом. Знал он и о мощи голландских пушек. К тому же с тех пор минуло больше тридцати лет, и артиллерийское дело ушло вперед...

О девятнадцати пушках Итакура не мечтал, хоть бы пять прислали!

Сакакибара и Баба, желая, видимо, загладить свою провинность, слали срочные письма в Нагасаки, наместнику Суэцугу, требуя поскорее добыть оружие у голландцев.

XXIV. Военный совет

Лазутчики, во множестве разосланные Мацудаира по всем княжествам, сообщали ему, что замыслов измены или восстания против центрального правительства они не обнаружили. Мацудаира приступил к выполнению второй части порученной ему миссии — расследованию подлин-

ных причин крестьянского бунта в Симабара и на Амакуса и почти уже составил представление об истинном характере событий.

По словам Скэбэй Дородо, это был христианский бунт, однако другие лазутчики твердили, что мятеж вызван не только причинами религиозными.

Итак, Скэбэй Дородо, побывавший только в крепости, утверждал одно, а те, кто обследовал еще и районы Амакуса и Симабара, уверяли, будто причина совершенно в другом.

Значит, смуту породило не стремление свободно исповедовать новую веру. Просто в ходе времени особенно с той поры, когда повстанцы заперлись в осажденной крепости и у них появилась организация, когда они научились действовать сообща, как бы сама собой возникла потребность в некоторых идеях, духовных основаниях, способных объединить людей, и естественно и закономерно, что крестьяне обрели их в христианстве. Главной же причиной смуты стали произвол и жестокость в княжествах Мацукура и Тэрадзава, и это было столь очевидно, что не пуждалось в доказательствах. Кто первый сказал, что это христианский бунт? Мацукура и Тэрадзава. Все ясно, Дзиндзабуро Мацудайра, все! Не поспешить ли тебе с донесением в столицу? С донесением политическим! А каким должно быть политическое донесение? Оно должно внушать доверие, показывать глубокое понимание событий. Это не означает, однако, что подлинная их сущность получает в таком отчете верное отражение.

Какую же выгоду сулит ему, Мацудайра, донесение, в котором он, отлично зная истинных виновников, свалит тем не менее всю вину на христиан? Во-первых, и это — важнейшее, он тем самым не заденет чести и достоинства правящего дома. И даже больше — он непременно докажет, что восстание началось по подстрекательству иностранцев, иноземных варваров, чуждых моральным установлениям священной Японии, а это, в свой черед, будет способствовать объединению страны. К тому же такое объяснение будет доступно разуму толпы.

А если в конечном счете его донесение будет иметь последствия огромной исторической важности, приведет к «закрытию страны»*, например, то ему, Дзиндзабуро Мацудайра, одному из влиятельных чиновников страны, нет до этого никакого дела.

Ну, а так называемая истина? Он был поражен пейстой изобретательностью слуг Мацукура по части пыток. Чего стояла одна только «пляска в плащах», придуманная Мондо Тага, старшим самураем княжества... Впрочем, когда восстание будет подавлено, и Мацукура и Тэрадзава можно будет призвать к ответу, понести им, — на том и покончить с неприятной историей. Не может правительство отвечать за самоуправство князей! Решено! Скажем, что бунт от начала и до конца — дело рук христиан: во-первых, это выгодно правительству, во-вторых, удобопонятно народу...

Так два враждебных лагеря, вступивших в смертельную схватку, повинувшись каждой своей необходимостью, вместе создавали единую цепь причин и целей восстания...

Итакура и Ивая обсуждали, как лучше провести военный совет. Предстояло обсудить итоги штурма и наметить план дальнейших действий. Приближался Новый год*. Никому из рядовых воинов и самураев даже и в голову не приходило, что этот Новый год придется встречать в боевом лагере. Они были совершенно уверены, что разгром мятежников займет не более десяти дней. Для бедного самурая Новый год — большой, торжественный праздник. И вот досада, все обернулось столь неприятным образом...

Собрать совет. Ну, допустим... А кого позвать? Согласия между князьями нет и нет; после этого позорного провала разброд и распри усилились, и если соберутся князья, как бы не вышла непристойная ссора.

Итакура созвал на совещание старших самураев. Он не станет им навязывать готового решения — пусть поразмыслят сами. Он надеялся хоть этим способом пробудить в них сознание общности. Поэтому, когда они собрались, Итакура лишь поблагодарил их за ратные подвиги в минувшем бою и, не упоминая о понесенных потерях, спросил:

— Каково ваше мнение о тактике, которой нам следует держаться отныне? Надлежит ли придвинуть линию наших укреплений ближе к крепости и ждать, пока силы смутьянов иссякнут, или же следует предпринять новый штурм? Вот где нужен ваш совет и ваше решение. Прошу всех высказываться, не чинясь. — И Итакура занял место рядом со всемп.

Самураи недоумевали, они даже растерялись. Зачем этот созванный наслух совет? Хорош главнокомандующий! Пальцем о палец не ударил! Но надо было что-то придумать — это понимали все. Противник явно превосходит их в умении, и если прямо смотреть в лицо обстоятельствам — Итакура прав, надо постараться найти решение...

И старейшины решили... на время разойтись, посоветоваться со своими князьями и затем снова собраться в боевом лагере Набэсима.

...Старший самурай Набэсима то и дело бахвалился подвигами некоего Ооки. Двадцать пятого декабря этот Ооки с подручными пробрался ко Второму бастиону и сумел проникнуть в ров, сообщавшийся с водохранилищем осажденных. По этому рву он намеревался войти в крепость. Правда, смутьяны по растерялись, поспешили ко рву и стали лить нечистоты прямо на голову, а палили из мушкетов так, что кое-кто из отряда не вернулся обратно. Но зато сам Ооки подстрелил одного смутьяна, это уж точно... Старейшины слушали его с недоумением. «Всего-навсего одного?..»

Если не считать подобной пустой болтовни, то по-настоящему говорить им было не о чем. Впрочем, только это и спасало их от ссоры. Набэсима, Арима, Татибана и Мацукура были соседями, но чтобы старшие самураи собрались в отсутствие маэка из Эдо — еще недавно о том и помыслить было нельзя; их тут же обвинили бы в заговоре против государственной власти. Лишь появление врага, равно опасного и для князей и для столицы, сделало их встречу возможной.

Вот и ронины тоже. Свободно разгуливают по всем лагерям, разыскивают знакомых, долго и нудно рассказывают им о своих злоключениях. До начала военных действий это было также немислимо.

Решение старейшин можно было угадать заранее. И точно, в разгар беседы о пустяках старший самурай Набэсима парек неожиданно:

— Сами видите, укрепления в нашем лагере пока не закончены. Наилучший выход — без спешки построить все необходимое, а уж потом пусть главнокомандующий приказывает. Согласны?

На том и порешили.

Ответ Итакура несколько удивил старших самураев.

— Я тоже так полагал. Вы сказали мне откровенно

все, что у вас на сердце. Благодарю вас. Отсрочить штурм на десять или на двадцать дней в нашей власти. Осложнений от того не предвижу. Я хотел бы только, чтобы вы не пожалели труда и построили все, что нужно.

Ивая тоже, кажется, вздохнул с облегчением.

И только один Ипагуцу недоумевал. На совещании он почти все время молчал: во время штурма князь Тадакуни не совершил подвигов, достойных упоминания; к тому же болела рана. О близком прибытии князя Идзу и Удзикапэ Тода никто из самураев не заговаривал. Ведь это был только слух, о котором неуместно говорить при Итакура. И все же... Инагуду снова и снова ломал голову над истинной целью совещания, пытаясь прочесть на лице Дзиндзабуро Мацудайра подтверждение слухов о прибытии нового важного чиновника. Но Мацудайра, подобно остальным, молчал и лишь морщил лоб, размышляя. «А следовательно... — вывод запрашивался сам, — следовательно, знает один лишь Дзиндзабуро Мацудайра!» И Инагуцу решил молчать. Другие тоже не обмолвились ни словом.

Шел двадцать девятый день двенадцатой луны.

С тех пор как на горе Хатирао появились дымовые сигналы, в крепости ежедневно запускали змею, а ночью подавали знаки фонарями, однако дымовых столбов больше не было видно. Противник стрелял по змеям и фонарям, но ни один выстрел не попал в цель. Это укрепляло веру в чудесное покровительство неба, но не смягчало разочарования. Сигналов больше не было. Может быть, их схватили, этих тайных единомышленников на горе Хатирао?

Тюбэй Асидзука велел прекратить сигналы.

— Они просто-напросто поздравили нас с победой. Мы им ответили, и довольно... Как только у карателей что-нибудь переменится, нам будет подан новый знак, вот увидите. Так что подождем до новых сигналов...

В крепости все оставалось без перемен. Только обстрел со стороны моря постепенно усиливался, и каждый день рапило по несколько человек. Один повстанец попал в плен. Да еще обнаружили два дезертира.

Это никого не удивило. И никого не встревожило. Во всякой войне бывают перебежчики. У осажденных не было тайн, разглашение которых причинило бы им ущерб.

Противник наверняка знал, сколько оружия и продовольствия имеется в крепости — стоило им подсчитать, что унесли повстанцы со складов Мацукура и Тэрадзава в первые дни восстания. Что до плана крепости, его Мацукура помнил отлично...

Так что, если в крепости и произошли перемены, то только в душах ее защитников. После штурма двадцатого дня двенадцатой луны Сиро всего раз обошел бастионы. Остальное время он проводил у себя, за игрой в сёги *.

— Господин Сиро удивительно спокоен, удивительно, — рассказывала о-Кяку, возвращаясь в хижину после очередного дежурства.

«Да он попросту скучает, наверное... Ничего, скоро станет не до скуки...» — хотел сказать Эмосаку, но промолчал, заметив растроганную улыбку на лицах сыновей и жены, — Сиро, играющий в сёги, особенно умирлял их.

— А сегодня у нас такое случилось, такое... — продолжала о-Кяку.

— Ну, что, что? — заинтересовался Гонноскэ.

Лицо его светилось, словно не было этих тягостных дней, проведенных в бараке, среди других заложников.

— Да все этот Иноскэ...

— Иноскэ?!

Иноскэ был известный буян и забияка из деревни Кутиноцу, верзила, ростом в шесть сяку с лишком. Когда он сердился, то мог схватить камень и запустить, в кого придется. В такие минуты никто не мог с ним сладить. Вот только ума ему всегда чуть-чуть не хватало. И цеголял он в одежде из рогожки, скрепленной грубой тесьмой. Сперва он был в лучшем отряде. Как-то раз, недовольный своим скудным пайком, Иноскэ ворвался в продовольственный склад, распырял сторожей, схватил два мешка, взвалил их на плечи и унес, за что получил изрядный нагоняй.

— Иноскэ теперь телохранитель господина Сиро...

— Иноскэ? Да ведь он придурковатый. Не случилось бы беды... — встревожился Васакү.

Эмосаку был безразличен Иноскэ, безразлично то, о чем рассказывала о-Кяку, но он с любопытством наблюдал за серьезными, обеспокоенными лицами детей и жены.

— Ах, в отряде от него никакого толку не было. Он только и умел, что безобразничать. Совсем от рук отбился. Тогда пачальник отряда привел его к господину Сиро, чтобы тот отругал его. Но, чудо! Едва этот задира очутил-

ся перед господином Сиро, как тут же присмирел и стал кротким, словно голубь...

«Какая пелопусты! Дурачка — в телохранители. Что толку от его дурацкой силы?..» — возмутился Эмосаку. Он чувствовал, что с каждым днем расширяется пропасть между ним и семьей...

— В этот миг раздались выстрелы с кораблей, — продолжала рассказывать о-Кику. — Иноска побежал куда-то, разыскал крышки от котла, нацепил их на себя как доспехи и загородил господина Сиро.

— Видите! Даром что дурачок, а ведь все понимает... — вздохнула о-Тиё.

«Святой», играющий в сёги, под защитой телохранителя-дурачка в доспехах из кухонной утвари.. Ну и пу!

Теперь возникнет еще одна легенда. Эмосаку ощутил горький привкус во рту. Сегодня утром по пути в Главный бастион он тоже заметил, что Сиро играет с кем-то в сёги. Хотя он видел Сиро мельком и издали, картина эта взволновала его, врезалась в память.

Профиль юноши, задумчиво глядевшего на игральную доску, живо напоминал лики ангелов, которых он изобразил колесопреклоненными по обе стороны чаши со святыми дарами. И еще ему показалось, что Сиро похож на того ангела, который спустился с небес к Христу на Масличной горе *. Гравюра на меди, изображавшая эту сцену, когда-то служила Эмосаку образцом. То была гравюра из альбома «Пятнадцать картин из жизни святой Марии».

«Отчего я не могу, как другие, покорно и просто верить вот в такого Сиро, каким он показался мне, когда я смотрел на него без злого чувства?..» — внезапно спросил себя Эмосаку. И он вдруг подумал о бежавших из крепости изменниках. Убили их? Вряд ли. Не может быть, чтобы так уж сразу убили... Ведь там, наверно, знают, что в крепости не одни только фанатики...

XXV. Вселенская республика

Крестьяне льнули к о-Соно: отчего-то возле этой старухи становилось легче на сердце. В сопровождении дочери и зятя она каждый день обходила крепость, будто она была главным руководителем восстания. И людям стали пужны ее беседы.

— Скажи, старая, а что с нами после смерти будет? — спрашивали ее то и дело. Это был важнейший вопрос, касавшийся самой сущности веры.

— *Анима* покинет наше тело, а тело обратится в прах, в пыль, понятно? — И о-Соно хлопала рукой по своему грязному кимоно. Поднималось облачко пыли. Одни улыбались, другие, напротив, становились серьезны.

— А куда же она денется, эта, как ее, *анима*?

— *Анима*, или, по-нашему, душа, — как покинет брешное тело, так сразу попадет в судилище, и судить ее будет сам владыка небес. За добрые дела получишь награду, а за злые — не миновать наказания.

— Вои оно как?!

О-Соно все выколачивала пыль из кимоно, и окружающим начинало казаться, что ее сухопьюкое, старое, хотя и стройное не по годам тело, того и гляди, рассыплется само собой, и что держится оно еще только благодаря этой самой *анима*. И смерть показалась им прахом и пылью, очередным звеном жизни, когда уже не остается места для страха.

В бастионе Амакуса старуху поджидали оба ростовщика.

— Бабушка! — позвал ее Хикодзо.

— Что тебе?

— Если человек совершил дурной поступок, что его ждет после смерти?

— Тэнгу* схватят грешника, швырнут его в *инферно*¹, и будет он терпеть там вечные муки...

— Тэнгу? — испуганно переспросил Дайхати.

— Тебя как зовут-то?

— Меня? Дайхати... В крещении — Педро...

— Ну, вот что, Педро... У тебя ведь было много земли?

— Много...

— Других заставлял на себя работать, а денег им не платил? Верно ведь?

— О-хо-хо-хо...

— Так знай: нет страшнее христианских тэнгу.

Оба ростовщика окончательно пали духом. Христианский ад, именуемый *инферно*, где живут христианские тэнгу, обладал для них поразительной реальностью и потому особенно устрашал.

¹ И н ф е р н о — ад (*португальск.*).

— А что христиане считают за грех?

— Кто нарушил заповеди господни, тот, значит, согрешил. Согрешить можно и словом, и помыслом, и делом...

— Бабушка, а еще ты нам растолкуй, что это за диво такое — «первородный грех»?

— Это грех, в котором ты повинен еще с материнской утробы. Потому что наше грешное тело само по себе — сосуд греха... И падо стараться, чтобы больше у тебя грехов не прибавлялось.

— Вот так история, еще и родиться не успел, а уж на тебе — грех! Ой, ой, ой! До чего же она страшная, эта христианская вера! От нее спасения не жди! — сокрушался Дайхати.

— В этой жизни спасения и быть не может, на то есть рай.

— Ох, ох-хо... — ушыло вздохнул Дайхати.

— Послушай, бабушка, — не обращая внимания на огорченного приятеля, медленно заговорил Хикодзо: каждое слово стоило ему больших мучений. — Я уже признался, что давал деньги в рост, самое малое по десять, бывало, правда, и по тридцать моммэ на сотню... Теперь это камнем легло на мою *консиенца*.

— Слыхала я, что святая мать наша Мария не разрешала брать больше тридцати моммэ, — отвечала о-Соно.

Хикодзо облегченно перевел дух. Ведь он брал не более тридцати! Значит, он избегнет той неведомой безжизненной пустыни, которую называют *инферно* и где страшные тэнгу будут терзать его, когда *анима* покинет его грешное тело. Однако о-Соно не дала ему успокоиться.

— Но пусть ты и не нарушал этой заповеди, однако первородный-то грех — на тебе, да и других грехов, паверное, немало...

Смерив Дайхати и Хикодзо пристальным, недоверчивым взглядом, о-Соно внезапно переменила тему:

— Ну, а с этим как? — Старуха жестами изобразила метание копья.

— А как же!.. Вот, погляди! — Оба показали ей руки — ладони были в кровавых мозолях.

— Скоро слова будет штурм, это уж точно. Тогда держитесь! Ведь здесь у нас, — о-Соно указала пальцем на землю, — здесь у нас *Голгофа*, понятно?

— Что такое *Голгофа*?

— Гора, где распяли на кресте господа нашего Киристо-сама¹.

Вдруг, бросив изумленных ростовщиков, так и не понявших, как *Голгофа* очутилась в крепости, старуха проворно двинулась к роще. Перед одной из хижины она остановилась, словно ожидая чего-то... Это была хижина Дзюдаю Курахати.

Вскоре, откинув заменявшую дверь циновку, оттуда вышел хозяин. Он был, по обычаю, угрюм и сумрачен. Вслед за ним вышла молодая женщина.

— Вот ты, оказывается, каков... Значит, люди правду сказали...

— Хм... Выходит, правду... — криво усмехнулся Дзюдаю.

Будь этот мир в здравом рассудке, разве осмелилась бы какая-то старая деревенская баба делать замечания ему, самураю? Но ведь здесь, в крепости, была, как выражался Дзэнъэмон Яма, *«вселенская республика»*...

О-Соно резким движением вытащила женщину из-за спины Курахати. Женщина была молодая, светлокочая. О-Соно пристально посмотрела на ее руки.

— В Симабара жила? — тихо спросила она.

— Да...

— В крепость взяли заложницей?

— Да...

— Значит, жила в бараке?

— Да... — Лицо женщины выражало не свойственную молодости покорность; но что еще оставалось ей теперь — одна только покорность.

— Муж — ближний самурай Мацукура?

— Да...

— Бедняжка... Ну, будь здорова. А ты, господин Курахати, не обижай ее, слышишь?

Лицо Курахати наливалось кровью, еще минута, и он оборвет мужичку по-старому, как привык. Но о-Соно уже отвернулась от него и снова посмотрела на Кумо.

— Да, делать нечего... Ты ведь не христьянка?

— Нет. Мать была христианкой, но потом отрелась...

— Так, так... А как ее звали?

¹ Киристо-сама — один из японских вариантов имени Иисуса Христа; сама — очень вежливая приставка к мужским и женским именам.

— Марья.

— Вот что... Да, нехорошо, нехорошо... Вот ты, оказывается, каков, господни Курахати... Не одно, так другое... Вот ты каков... Отвечать-то за все придется...— И о-Соно посленнла прочь.— Бунго! — окликнула она зятя.

— Да, матушка?

— Те двое, ростовники, постепенно выбираются из *инферно*, а самуран, наоборот, все глубже увязают. Выходит, грешников там не убывает...

— Ваша правда, матушка...— Бунго и о-Киё шли следом за ней. Теперь о-Соно направлялась к Главному бастиону. Кладка стен Главного бастиона была почти завершена, поставили и прочные толстые ворота. К удивлению о-Киё и Бунго, о-Соно направилась прямо к воротам.

— Эй, стража, передайте господину Сиро, что о-Соно из Амакуса хочет с ним повидаться...— закричала она.

Дежурный ропни удивился, но, услышав, как радостно встречают старую женщину остальные стражники, послал одного из них передать ее просьбу.

Главный бастион, защищенный с моря обрывом и обнесенный высокой камешной стеной, стал теперь снова походить на замок, и только несколько соломенных и тростниковых хижин скрадывали это впечатление. Однако чем больше бастион походил на замок, тем сложнее становилось общение между ним и остальной крепостью.

Стражник вскоре вернулся.

— Господни Сиро приказал впустить... Пусть войдет и обождет немного, он скоро освободится,— доложил он начальнику.

— Эй ты, как тебя там... Господни Сиро велит тебе войти и ждать...

О-Соно поклонилась, потом строго взглянула на заросшего бородой начальника стражи. Как он смеет так обращаться с ней? Ведь она только что ясно назвала ему свое имя! И самые простые вещи здесь становятся ужасно сложными. Скоро, пожалуй, нельзя будет даже повидать господина Сиро, когда хочешь...

Сиро сидел на легком походном стуле, держа в руке книгу.

— Есть ли начало у царя небесного? — громко спрашивал он.

Юноши и девушки хором отвечали:

— Нет ни начала, ни конца!

Их молодые голоса отражались от каменных стен гулким эхом.

— Рад видеть тебя здоровой после недавней битвы! — приветствовал Сиро старую женщину.

— Это нам надо радоваться, видя тебя целым и невредимым...

О-Соно без промедления приступила к делу.

— Послушай, что я скажу, господин Сиро... Война — скучная штука...

— О чем это ты? — растерялся молодой человек.

— Будет долгая осада, а сражений — по так уж много... Дни пойдут один на другой похожие, скучные... От того я и говорю, что война — скучное дело... Подумай-ка об этом и чаще, чаще обходи замок. Так будет лучше...

— В самом деле...

Сиро отличался острым умом; старуха права: если к скуке еще добавится разврат, это будет равносильно гибели.

— Спасибо тебе за совет, старая. По правде говоря... — Он хотел сказать, что и сам нередко скучает, и скука-то и усаживает его за игру в сёги, но о-Соно продолжала:

— И вот еще что: все эти игры в го или сёги, песни да пляски...

Слова о-Соно поразили Сиро: ему невольно вспомнились строки из книги, — раздел «О величии мудрости господней», который он только что читал: «Мудрость господа безгранична, неизмерима, постигает прошедшее, настоящее и грядущее, знает наперед все помыслы людей и все тайные желания и думы их».

Юноши и девушки внимательно прислушивались к беседе. О-Кикю — та внимала речам Сиро с благоговейным восторгом. Тут же находились начальники Главного бастиона, среди них — Эмосаку. Рядом — Гэнъэмон Оэ. Подошел Дзимбэй Масуда. Сиро встал и поклонился отцу. О-Соно повернулась к Дзимбэю.

— Послеавтра — капун Нового года, — решительно сказала она. — Для нас Новый год не такой уж великий праздник, но ведь в замке много язычников, которые по-прежнему верят в Будду и во всякую нечисть, вроде лисиц...* Так вот, этим людям очень пужны рисовые колбки к празднику... — С этими словами о-Соно пязко склонила голову с маленьким пучком седых волос на затылке.

— Разумеется, разумеется... — спокойно ответил Дзимбэй. — Разумеется... — еще раз в задумчивости повторил он и вдруг выкрикнул, да так громко, что все стоявшие рядом вздрогнули: — Верно! Понимаю!

В долгой борьбе крайнее душевное напряжение переплетается с однообразием будничной скуки, точно нити основы в ткани; без целебного пластыря — великодушия и душевной свободы — единство исчезнет непременно.

Эмосаку был поражен мудростью этой старой крестьянки. Но про себя усмехнулся, подумав, что сказали бы *падре* в Макао, если бы узнали, что христиане озабочены приготовлениями к буддийскому празднику.

— Хорошо бы угостить и заложников в бараке. И еще я хотела просить вас, чтобы охранять заложников назначили самых честных людей и самых верующих... — с волнением добавила она.

— А что, разве случилось что-нибудь? — прошептал Гэнъэмон на ухо Эмосаку.

— Наверное. Опять что-нибудь из-за женщин...

Беседа кончилась, и о-Соно встала. Сиро приказал о-Кыку принести три пары новых соломенных сандалий. Обувь у старухи, ее зятя и дочери совсем износилась.

XXVI. Вселенская республика

(Продолжение)

После ухода о-Соно Сиро поднялся и прошел в соседнее помещение, где вокруг Дзимбэя Масуда собрались члены совета. Эмосаку и Гэнъэмон проводили его взглядом.

— Пройдемся? — предложил Гэнъэмон.

— Как хочешь.

— Нужно поговорить.

— О чем?

Гэнъэмон промолчал. Они прошли немного, потом он сказал:

— Ты, наверное, знаешь, что в ночь на четырнадцатый день двенадцатой луны сбежали бонза Кои Фукумаса и Ураноскэ Китамура из Арима.

— Да, знаю. И что же?

— Разве тебя не удивляет, что их побег не произвел ни на кого впечатления?

— Пожалуй...

— А ведь мы ничего не скрывали, не приказывали хранить это в тайне.

— Да просто эти двое — не из тех... — начал было Эмосаку, но Гэнзэмон прервал его:

— Согласен! В особенности Кон... И он, и отец его стали когда-то христианами, потом оба отреклись, Кон сделался буддийским священником, а недавно перекинулся к нам. Не подобает слишком строго осуждать ближних, и все-таки...

— Да что там, все равно от него не было никакого толку.

— Ладно, оставим бонзу. Но скажи, Эмосаку, как ты сам объяснишь то, что побег никак не повлиял на остальных?

— Гм, объяснения могут быть разные, но одно, по моему, неоспоримо — здесь, в замке Хара, люди окрепли духом.

— Ты действительно так считаешь?

— Да.

Они стояли на краю обрыва. Над обрывом нависли красивые старые сосны, ниже, скрывая от глаз море, густо разросся тростник и дикие травы.

Гэнзэмон и Эмосаку переглянулись. Что они прочли в глазах друг у друга в эту мигу? Кто знает?!

Им были видны сторожевые суда из Хосокава с высоко поднятыми флагами — девять черных звезд по белому полю. Сегодня с самого утра их пушки почему-то молчали. Обычно здесь стояло до тридцати судов, но сегодня было меньше: наверное, ушли пополнить запас продовольствия и боеприпасов или на отдых и смену.

Отсюда, с обрыва, было так же хорошо видно огромное распятие в Главном бастионе, золотой вымпел Сиро и атласное знамя с ангелами, а вдали, над кольцом осады, развевались по ветру вражеские знамена. Вот светло-зеленое знамя, на нем золотом написан иероглиф «пять»; вот знамя с красной тыквой, а вот на том знамени особым манером начертанные иероглифы: «Да пребудет сутра Лотоса благого закона»*, и множество других знамен.

Вамбуковые частоколы — форпосты карателей — вот они, совсем рядом. Кое-где между ними еще остались просветы, но это только просветы. Крепость отрезана и с моря и с суши...

— Настанет дечь, когда нам придется сбрасывать отсюда детей и жещиц,— внезапно пробормотал Гэньэмоп.

— Ты думаешь? — Голос Эмосаку звучал напряженно.

— Я только хочу сказать, что может случиться и такое.

Да, такое вполне может произойти. Однако первый, кто рпеается высказать это вслух, естественно, вызывает враждебное чувство.

— Ты знаешь, Дзэпэмоп Яма постоянно твердит о том, что здесь у нас — *вселенская республика*, а мы — ее граждане.

— Наслышан... — Эмосаку отвел взгляд.

— А ты знаешь, что это — *«вселенская республика»*? «Зачем он спрашивает? — с тревогой подумал Эмосаку. — Просто из любопытства или...»

Устремив взгляд на море, Гэньэмоп ждал ответа, но не дождался и заговорил снова:

— Дзэпэмоп объясняет, что латинское слово *католика* означает — *вселенская*, а *республика* — язык об нее можно сломать — что-то вроде страны или государства...

— Насколько я знаю, *католика* озпачает закон, путь, которым должен следовать человек. Так объясняли мне в свое время... А *республика* — такого слова я не слышал.

— Тогда другое дело. Закон, путь — это понятно. А послушать Дзэпэмона, выходит — вселенское государство или еще — страна, принадлежащая всему миру. Никак в толк не возьмешь,— засмеялся Гэньэмоп. Он смеялся долго и тихо. Чему?

Эмосаку тоже изобразил на лице улыбку. Ему стало так противно, что едва не стошнило.

— Да, по подумай, Гэньэмоп. Допустим, здесь у нас и вправду *вселенская республика*. Допустим! Выходит, *республика* рождается только в восстании, да еще вот так, как у нас, с крестьянами вместе, в осажденном со всех сторон замке! Крестьяне бросают свои поля, рыбаки — лодки и сети, а художники,— голос Эмосаку прервался,— а художники — свои кисти...

Гэньэмоп быстро взглянул на него. На высоком загорелом лбу, увенчанном седящей копной волос, обозначились вены.

Незаметно для себя оба паткнулись на опасную тему. Разговор пошел о самой сути восстания.

— Да, да! Крестьянам пришлось оставить свои поля, рыбакам — лодки, а художникам — кисти... — глухим голосом продолжал Эмосаку. — Но если ради этой *вселенской республики* надо отказаться от всего, чем жив человек, если люди вынуждены бросить все ради идеи, — значит, в идее есть какая-то ложь?! Кто, скажи мне, обрел свое настоящее дело благодаря восстанию?.. Только...

— Только бывшие самуран, ты хочешь сказать?

— Не хотел говорить, но...

— Ты прав, и я согласен с тобой. Но пойми, Эмосаку, без восстания и — самое главное — без победы в нем ничего нельзя сделать. А если мы победим...

— Если победим!.. — почти выкрикнул Эмосаку.

— Но ведь мы уже побеждаем! И в сражении десятого дня, и во время штурма двадцатого дня двенадцатой луны победа была за нами... Крестьяне голыми руками побеждают самураев, разве не так?

— Да, конечно... Все это так, но...

— Что же?

— Но... когда мы победим... и последний раз?

Надеяться не на что. Их всех ожидает гибель — теперь это должно быть ясно и Эмосаку и Гэнъэмону. А впрочем, нет. Это было ясно с самого начала — впереди только безнадежность. К чему толковать о божественном провидении, о чудесах, о непостижимой воле господней? Что отвратит неотвратимое?

— Вот ты, Эмосаку, — ты ведь и от христианства открыто не отрекался, и к властям вроде бы...

— Ты хочешь сказать, что я таюсь?..

— Мы все таились, потому и осели на земле и стали крестьянами... Ну, да ладно! Скажи лучше, что ты вообще думаешь о вере, о верующих сердцах?

— О вере?.. О верующих сердцах?

— Да. Вот тебе доверяют, ты — один из старших на Главном бастионе, ты ведаешь перепиской с противником... Возможно, ты скажешь, что одно не имеет отношения к другому... Пусть так, но все же... Впрочем, оставим это... Я — о другом... Здесь, в крепости, стойко выносят осаду тридцать семь тысяч крестьян. Неужели ты думаешь, что их мужество, их стойкость — все это впустую?

— А разве нет?..

...Победа или гибель, вера или безверие — в их беседе у каждого слова оказывалось два значения — они не по-

нимали друг друга. Одно было ясно Гэнъэмону — Эмосаку не желает разделить судьбу всех защитников крепости.

«Что ж, пусть будет так, ничего не поделаешь... — рассуждал Гэнъэмон. — Этот художник совершенно не способен увидеть и понять, что постепенно возникает в сердцах тридцати семи тысяч повстанцев, он не чувствует, как пробиваются в них ростки сознания, не ощущает, что время в крепости идет совсем особой, удивительной поступью. И его называют создателем картин, живых, словно сама жизнь? Нет, он не способен написать ничего так, как это чувствует душа, — только так, как оно представляется его глазу. Убогий ремесленник, incapable творить без болванки, без образца! Или, может быть, такова живопись, пришедшая к нам из Рима? Тогда это поистине поверхностное искусство!..»

События, о которых они говорят, он, Эмосаку, воспринимает только с точки зрения правильности, разумности. Но разве в живописи главное — правильность? Конечно, произведение искусства должно быть законченным, цельным, но какая же это законченность, если не хватает главного: надо, чтобы глаз художника как бы с разных точек охватил изображаемые предметы, чтобы он проник в суть их отношений! И вот еще что: только тогда искусство художника обретает смысл, когда он глядит вокруг себя глазами, полными любви!»

То невидимое взору, что воздвигалось в людских сердцах, Дзэнъэмон определил — как обычно, кратко и просто: *«Вселенская республика»*.

Оба молча пошли обратно по тропинке вдоль края обрыва, туда, где в отдалении виднелся Лотосовый пруд. Ветер донес до них крики безумной женщины, бродившей между хижинами.

— Послушай, Гэнъэмон, может, запереть ее куда-нибудь?

— Ты думаешь?.. — оторвавшись от своих мыслей, спросил Гэнъэмон. — Но это хорошо действует на боевой дух...

Ясно, что крики сумасшедшей раздражают трезвого, здравомыслящего Эмосаку. Однако неизвестно, что полезнее для остальных — запереть эту безумную или оставить ее свободно бродить повсюду.

— Возможно, ты прав... — рассеянно сказал Гэнъэмон.
«Этот Эмосаку не художник, он расчетливый холодный

человек и в деле ему можно довериться, хотя...» Но представить себе, что может последовать за этим «хотя», Гэпэмону было противно. Ему захотелось переменить тему.

— Вот ты говорил, что крестьянам пришлось оставить работу в поле, рыбакам — бросить сети и лодки... А знаешь ли ты, что Наокити после сражения как был, в одежде, запачканной кровью, ни слова никому не сказав, принялся топтать пшеницу?..

— Топтать пшеницу?.. Здесь, сейчас?..

Удивлен? Что ж, он и должен был удивляться — теперь Гэпэмону и думать не мог иначе!

— Да, пшеницу, неизвестно кем посеянную, неизвестно кому принадлежащую, пшеницу, которую ему все равно не суждено убрать...

Эмосаку молчал.

— Наокити не рассчитывал на урожай, и все же он не мог поступить иначе. А теперь скажи, что же ты думаешь о крестьянах, которые не могут найти успокоения ни в чем, кроме привычного труда?

Зря спросил, о чем он думает. Да, по всей вероятности, ни о чем. Смущен вопросом — и только... Крестьянин Наокити топчет пшеницу — одного это волнует, а другого нет — вот и все... Кажалось бы, все сводится к этому, а между тем стоит взглянуть поглубже — и увидишь, что на дне этого пустякового вопроса таится другой, самый главный — в чем спасение для человека?

— А мы с мастером Минаёси, когда увидели, как Наокити топчет пшеницу, чуть было не прослезились... — добавил Гэпэмон.

— А-а! А!.. — продолжала вопить безумная.

XXVII. Бурные перемены

Итак штурм отложили на десять или даже на двадцать дней. Строительство лагеря, естественно, продолжалось, однако вместе с тем, незаметно, в войсках распространились благодушие и беснечность. Пока было известно, что штурм может вот-вот начаться, боевой дух в войсках еще держался, но коль скоро главнокомандующий утверждает, что отсрочка генерального сражения на десять или даже на двадцать дней не имеет существенного значения — боевой дух войск неизбежно ослабевает...

И в самом деле, даже войны Мацукура и Татибана, пройде по малейшему поводу задиравшие друг друга, теперь нередко вступали в дружескую беседу. Крестьяне-землекопы переговаривались с повстанцами, а крепостные стрелки держали под обстрелом самураев, назначенных следить за работой землекопов.

Одним из выстрелов Кинсаку насмерть поразил крестьянина, который работал на засыпке заливного поля перед лагерем Мацукура, — пуля пробилла несчастному горло. Кинсаку целился в самурая, но промахнулся — в момент выстрела его окликнул Бернардо, который пришел из Главного бастиона повидаться с Дзэнзэмоном Яма.

— А, чтоб тебя! — С досады Кинсаку даже прицелился языком.

Лишь в самых крайних случаях повстанцы шли на убийство крестьян, которых самуран пригнали насильно и подвергали всяким издевательствам. Да и пуль было в обрез... Но больше всего огорчило Кинсаку другое. Он знал, что Собэй подозревает его в любви к убийствам... Так и есть! Собэй свирепо глядит на Кинсаку и уже двинулся было к нему, когда Бернардо растерянно вскрикнул:

— Эй, Кинсаку! Ты, кажется, убил землекопа!..

Собэй остановился, рука, готовая вцепиться Кинсаку в ворот, опустилась.

— Бедняка несчастного, нищего! Как мы, такого, как мы! — сокрушался Бернардо.

— Прискорбный промах! — тихо произнес стоявший рядом Дзэнзэмон Яма. — Прискорбный промах!.. — повторил он.

— Это я помешал ему целиться... Ты уж прости меня, Кинсаку!

— Да что уж... — Кинсаку сплюнул и, отвернувшись, быстро зашагал прочь. Дзэнзэмон, Бернардо и Собэй молча смотрели ему вслед. Вдруг они услышали крики и брань.

— Эй вы, христиане, зачем безоружных мужиков убиваете? Черти христианские! — Крикуны сидели в укрытиях, но голоса их были отчетливо слышны.

Дзэнзэмон Яма переменился в лице.

Неожиданно он подошел к стене и стал взбираться на паранет. Собэй и Бернардо испуганно ухватили его за ноги и за пояс, но Дзэнзэмон вырвался: «Я должен им ответить!» Собэй снова ухватил его за ногу.

— Оставь его! — тихо сказал Бернардо. У плеча Собя качнулась медвежья морда.

Дзэньэмон во весь рост встал на парапете.

— Прискорбный промах! Прискорбный случай! — закричал он громовым голосом. — Мы не хотели убивать этого человека, христиане — не убийцы. Если бы нам не мешали свободно молиться господу нашему, мы бы стали бы запирались в крепости... Да примет великий Будда усопшего в лоно свое, да свитится небесный владыка Будда!

Собяй приподнялся над стеной и острым глазом всматривал, не целится ли кто в Дзэньэмона.

— Дурак, негодяй, христианское отродье! Да разве твою брехню услышит Будда! Христианские черти, скоты поганые, убийцы!

Дзэньэмон Яма вытащил воткнутое в стену знамя и, широко размахивая им, повторил:

— Да примет великий Будда усопшего в лоно свое, да свитится небесный владыка Будда!

— Прискорбный промах! — снова проговорил Дзэньэмон, когда спустился со стены, и видно было, как он бледен, несмотря на загар.

— Молодчина! — сказал Бернардо вполголоса, коснувшись его рукава. Вместе вошли они в траншею.

Бернардо направился во Второй бастион, чтобы отслужить панихиду — умерла крестьянка, женщина лет пятидесяти. Покойница, как и все ее родные, принадлежала к секте Дзёдо * и перед смертью просила похоронить ее по буддийскому обряду. Конечно, бродячего монаха-флейтиста, не стриженного волос, настоящим боизой не назовешь, хотя он и считается лицом духовным; да что делать, — за неимением настоящего сойдет и он. К тому же сутры Бернардо знал наизусть. Христианин в окружении христиан, он без запявки прочел сутру по покойнице. Изысканных молитв никто не подхватывал, но порядок соблюдали, чинно, рядами сидели на разостланных по земле рогожах.

— Да, Дзэньэмон, люди рождаются, умирают... Даже свадьбы были. Жизнь не остановилась...

— Ты прав. Воюем здесь вместе с женами и детьми. Такой войны еще, верно, не было. Тридцать семь тысяч воцелали и держат осаду крепости...

— И христиане с язычниками вместе!

— Именно, именно... Как поближе к жещици и детей, — а на моем бастионе их тысяч восемь, — тверже становлюсь сердцем! И звашь, сдастся мне, не надо больше силой обращать язычников в христианство. Да и зачем это теперь!

Дзэнъэмон и Бернардо пробирались среди жещици и детей, которые вышли из землянок и укрытий погреться на солнышке. Крестьяне приветствовали Дзэнъэмона поклонами, а он дружески кивал каждому.

Дзэнъэмон Яма был моложе многих вождей — ему было сорок семь лет, но ум и прямой открытый характер принесли ему всеобщее уважение; крестьяне то и дело заговаривали с ним, прерывая его беседу с Бернардо. Однако главное было уже сказано: не стоит насильно обращать буддистов в христианство. Вот он, Бернардо, — буддийский монах по званию и христианин в душе, — разве не прекрасный пример здешинего единения?

Какая судьба ожидает сложившийся в крепости порядок, *«вселенскую республику!»*, по определению Дзэнъэмона, где христиане и буддисты, рассыпанные прежде, подобно песку, по землям Симабара и Амакуса, прежде враждебные друг другу, объединились и вместе обороняют крепость. Гибель? Смерть за веру? Возможно... Смерть... А что за смертью? Смутные очертания полуострова Удо казались Дзэнъэмону таинственной темной оградой с потайной дверью, чуть приоткрытой. А дети весело распевали:

Велика господня сила,
Падре, братья, вместе с нами.
Головы вражьи отрубим,
Победим мы, христиане!

Воинственные слова песни не сочетались с веселыми, звонкими голосами.

Струйками поднимался к небу дым от костров, женщины отстирывали запачканную в крови одежду, — вооруженная до зубов *«вселенская республика»* дышала миром и безмятежностью.

В последние дни в крепости справляли свадьбу за свадьбой. Под угрозой смерти молодые торопились любить.

— Ходят слухи, будто господин Сиро слишком отличает о-Кинку, дочь художника... — заметил Бернардо.

— В самом деле? — откликнулся Дзэнъэмон.



И больше они не говорили об этом. Разговор перешел на предстоящую ночную вылазку, предполагалось похищение бамбуковых фашиц у карателей.

Каратели становились все беспечнее.

Вскоре ожидалась войска князя Хосокава, значит, веселья и шума прибавится.

Но Итакура было не до веселья. Он выходил из себя. Теперь невозможно и думать об отсрочке штурма «на десять или на двадцать дней»...

Солице уже село... Вот он, Итакура, здесь, в самой западной точке Японии... Мужики бунтуют против властей. Они вооружены. Они не повинуются никому, кроме своего *дзуса*. Пусть у них есть начальники, которым они подчиняются, но все равно они свободны. А он? Он глава армии, окружившей мятежную крепость, он сам — словно в окружении, ибо находится в плену у силы, именуемой «правительством», и кольцо окружения сжимается, оно душит: воля правительства Токугава неотвратимо настигает его.

Вечером двадцать девятого дня двенадцатой луны в его ставку прибыл спешный гонец от Сигэмуна. Это и пятая, назначение князя Ида и рыцаря Тода дело нешуточное. Из письма брата он ясно понял это. Понял также, что в Эдо всерьез озабочены крестьянским бунтом. Отсюда, из его ставки, мятежная крепость, отделенная заливыми полями, казалась невысоким холмом. А за низкой крепостной стеной тысячи крестьян. Если бы не они, если бы не эти бесчисленные знамена, разве пришлось бы стягивать сюда целую армию? Живописцы развалины старой крепости. Но сейчас за ее стенами — тридцать семь тысяч, объединенных единой верой и единой волей. Все было просто и очевидно, но перевернуло его жизнь.

Временами Итакура не верилось, что все это происходит с ним наяву; чаще всего это случалось по утрам, когда он просыпался. Ему вдруг чудилось, будто он не в боевом лагере, а у себя, в эдоском доме. И тогда он впадал в какое-то непонятное оцепенение. Вот он поднимается с постели, бросает случайный взгляд на замок, и он кажется ему не вражеской крепостью, сопротивлению коей ему надлежит сломить, а чем-то загадочным и потому неприступным. Ведь был штурм — первый, второй... Почему же

она все еще не пала, эта крепость? Почему бунтовщики не сдаются на его милость, смиренно прося о прощении? Почему, спрашивал он себя и чувствовал, что этого он достичь не в силах.

Бунты случались часто и не были чем-то из ряда вон выходящим. Но как могут тридцать семь или, по другим сведениям, чуть ли не сорок тысяч человек собраться в одном месте — не по приказу сёгуна и не по воле своего князя! — и, бросив крестьянские труды и занятия, предаваться каким-то пеленым выдумкам, словно дети, затеявшие игру?

Итакура, истинное создание политической системы, установленной Токугава, удивлялся все больше.

Так, например, в письме, приклеенном к древку стрелы, прилетевшей из замка, говорилось, будто небо и земля — от одного корня, все сущее — едино и преступно делить людей на благородных и низких... Что касается «единого корня», от которого якобы происходят земля и небо, и единства всего сущего в мире, то это, разумеется, оставило Итакура равнодушным. От одного ли, от разных ли корней происходит все сущее — ему, правительственному чиновнику средней руки, до этого мало дела. Подобные рассуждения не интересуют его, да и для государства сколько-нибудь серьезной угрозы не представляют. Ведь люди рано или поздно обязательно умирают и возвращаются в землю, так что насчет «единого корня», пожалуй, и впрямь сказано не без смысла... Но неужели все это так важно, что нужно писать об этом в письме, нарочно посланном со стрелой?

Что же касается равенства, то это было выше понимания Итакура... Это же проще простого, думал он. Происхождение дается судьбой, и оно определяет жизнь. Что может быть важнее для человека, чем происхождение? Нет ничего более важного и быть не может, ибо без происхождения не будешь и человеком. Сёгун Иэмичу оттого и сёгун, что родился сыном сёгуна Хидэада...

Правда, в старину случалось, что крестьяне выбивались в самураи. Но коль скоро становись самураем, перестаешь быть крестьянином. Появляется совсем новый, другой человек, раз и навсегда порвавший с крестьянством. Так оно и должно быть. Мужик есть мужик. Что в мире непреложнее этого? Нет ничего более непреложного, нет и быть не может! Или взять, например, импера-

тора в Киото. Нельзя сказать, что он занят там, во дворце, чем-то важным и пужным, но все равно — император есть император, и тут ничего не поделаешь! Чудаки! «Нельзя делить людей на благородных и низких...» Чепуха какая-то! Одного этого глупого утверждения достаточно, чтобы убедиться в нелепости всех их выводов. Итакура слышал, что в местности «Рим» — главном логове христиан — живет человек, именуемый «Папа», и будто бы, когда он умирает, на его место можно выбрать нового с помощью каких-то там дощечек, на которых надо что-то написать. Разве это не доказательство, что «Папу» никак нельзя считать благородным, достойным уважения человеком?

Однако... однако холм, на котором собрались вооруженные мужики, по-прежнему торчит перед глазами Итакура, — реальность, от которой нигде не схорониться. Каратели и бунтовщики как-то незаметно поменялись ролями. Теперь уже бунтовщики угрожают ему, Итакура. Они распоряжаются его жизнью и смертью. Допустим, ему удастся избежать мужицкой пули, но если он не сломит их упорства до прибытия Мацудайра и Тода, то пусть даже его доброе имя в Эдо и не будет погублено до конца, для него самого это равносильно концу. А конец означает смерть...

Итакура вглядывался в усталое, запыленное лицо Фудзизэмова Аmano, посланца его брата.

Удар следовал за ударом. С наступлением темноты в ставку прибыл новый гонец — его послал Ии, член Государственного совета в Эдо, а немного спустя прибыл третий гонец — от Удзиканэ Тода, родственника. Нужно приготовить для него жилище. На это потребен строительный лес, а леса нет — окрестные горы опустошены совершенно. Впрочем, это — потом, это дело не срочное. Итакура чувствовал, что загнан в тупик. Что же срочное? Ведь только сегодня утром он отсрочил решающее наступление.

Учитывая горький опыт двух неудачных штурмов, Итакура хотел спокойно, исподволь укрепить свой лагерь и добиться согласованных действий князей. Теперь и на это нет времени. Через несколько дней прибывает князь Идзу и Удзиканэ Тода. А это значит, что...

Пока он размышлял, ему доложили, что смутьяны похитили все бамбуковые фашины, над которыми целый день трудился лагерь Мацукура. Пока воины ужинали

при свете костров, повстанцы утащили в крепость фашины — все до единой.

Но и эта новость уже ничего не меняла. Решительный штурм и полный разгром крепости — единственное, что сейчас имело значение.

— Смутьяны тоже, наверное, будут праздновать Новый год... — У Итакура подергивались веки.

Садакиё Ивая молчал. Праздновать-то, наверное, будут... А вот как объяснить князьям внезапное изменение приказа? Допустим, сообщить им, что перерешили — так как сюда едут Мацудайра и Тода; а что, если князья ответят — вот и хорошо, пусть едут — тогда и будет штурм... Что им возразишь? Он бы не взялся. Войска явно не хватает, штурм потребует пятикратного перевеса. У них двадцать три тысячи человек, а у мятежников — тридцать семь. Пусть даже около половины женщины и дети, все равно — у бунтовщиков двадцать тысяч бойцов. Правда, князю Хосокава приказано немедленно подвести свои войска к крепости, но к сражению он не поспеет.

Крутая, резкая перемена... Изменение приказа всегда порождает беспорядок и смуту, как бы ни был понятен этот новый приказ.

Затягивает самоубийственная. Итакура задумал самоубийство...

Однако Ивая не чувствовал себя вправе выступить сейчас против решения Итакура. Сейчас перед лицом власти они равны. Но если Итакура и впрямь ищет гибели, то что ожидает его, Ивая?

Тонко потрескивало масло в светильнике. Ивая прислушивался — треск казался ему злоедем.

Ивая вышел из хижины Итакура потрясенный. К главнокомандующему пригласили Фудзисэмона Аmano. Он пробыл в хижине до двух часов ночи.

Затем Итакура вызвал Дзидзабуро Мацудайра.

И наконец сына — Сигэнори.

XXVIII. Ночь без сна

Был уже третий час ночи, когда он разрешил сыну войти.

— Со вчерашнего вечера на него сыпались удар за ударом, но всего мучительней было убедиться, что Дзидзабу-

ро Мацудаёра, оказывается, знал о близком приезде князя Идзу и рыцаря Тода. В конце концов это понятно — ведь подчинялся он именно князю Идзу и ведал секретной службой... И все-таки — зачем было скрывать это от него, посланника правительства! Брань или упреки бессмысленны. Он не промолвил ни слова. Да и чем он, собственно, возмущен? Государственной властью?! Но ведь она одна обладает всей полнотой сведений и, доверяя их по отдельности, разъединяет всех и каждого, ведь это она разрушает связи! Поэтому, когда Дзиндзабуро небрежно бросил, что ему все известно, Итакура промолчал. Какой смысл признаваться, что слова его острым ножом поворачиваются в груди.

Знай он о прибытии князя Идзу заранее, разве стал бы медлить со штурмом? Дзиндзабуро сидел с бесстрастным видом, равнодушный к его гневному взгляду. И хотя он сидел в стороне от светильника и на лицо его падала тень, Итакура знал, что лицо его выражало именно равнодушие.

Когда вошел Сигэнори, отец сидел спиной к нему и что-то писал.

— Вы звали меня, отец?

— А, это ты...

Как странны его движения! Он рассеян. О чем-то думает. Кисть не скользит по бумаге, а движется прерывисто, с долгими остановками. Вот он отложил кисть и повернулся к сыну. Лица все равно почти не видно, потому что светильник у него за спиной.

— Да, Сигэнори, страшные дела творятся на свете...

— Как вы сказали?

— Странные, говорю, дела творятся... Мужичье, виднись ли, охристианилось, заперлось в замке, и вот уже месяц, как воины со всего государства не могут с ними справиться. Разве тебе не кажется это страшным?

Слова отца плывут, клубятся беловатым туманом в угрюмой тишине хижины.

Глаза Сигэнори свыклись наконец с полумраком, и ему показалось, что отец очень бледен. А ведь все очень просто: замок не сдается, так как смутьяны упорны. Если что-нибудь и удивляет сына, то, пожалуй, только слова отца.

— Простите, я не совсем понимаю — о чем вы...

— Ладно, хорошо.

Опять непонятные слова! Что же тогда «хорошо»?

То, что Сигэнори кажется простым, для Итакура неразрешимо сложно. Так человеку, стечением роковых обстоятельств поставленному на край гибели, простое событие — смерть — кажется самым сложным, не поддающимся разуму, и он вновь постигает простую сущность этого факта лишь в последний миг перед смертью...

— Твой дядя в Киото обеспокоен. Рыцарь Тода тревожится обо мне. Я тронут их заботой.

— Я слушаю вас, отец.

— Мерзавцы, презревшие благодетельные заветы божественного Иээсу, — основу оспов; мерзавцы, дерзнувшие презреть эти заветы ради христианства, должны быть разом стерты с лица земли!

Сигэнори растерян — он не знает, что отвечать. Речь отца так бессвязна.

— Да, страшные дела творятся... Ныне встречаешь Новый год в придворной шапке, а пройдет год, и глядишь — приходится завязывать шпурки боевого илема... Человек никогда не знает, что его ждет. Разве это не кажется тебе страшным?

— Да, конечно...

— Аркебузы от голландцев я так и не получил до сих пор. Что он там мелкает, этот негодий Хэдзо?

Вот оно, то главное, что хотел сказать отец. Ни в одной хронике не было открыто сказано об этом, но даже юный Сигэнори знал, как помогли в битве при Сэкигахара пушки, мушкеты и лекарные пушкарки с голландского корабля «Лифд»... Сейчас Итакура с нетерпением ждет голландское оружие. Он возлагал на него все надежды.

Конечно, в столице его могут осудить за это, — дескать, прибегнул к помощи чужестранцев в таком пустяковом деле, как усмирении нескольких тысяч бунтовщиков, среди которых к тому же половина детей и женщин. Но ведь и сам божественный Иээсу поступал так же! А кроме того, чужестранцы всего лишь проявляют свою признательность и добросердечие, — отчего не воспользоваться этим? «Что же он там медлит, негодий Хэдзо, наместник города Нагасаки? Гибели он моей хочет, вот что!»

Итакура всем телом раскачивается из стороны в сторону. Но вот он выпрямился, бессвязное бормотание сменилось властным приказом:

— Будешь при запасном отряде войск Мацукура. Отступать разрешаю.



Голос отца не допускает возражений. И хотя Сигэпори приказом не доволен, однако понимает, что возражать не время.

Колелется и дрожит пламя в светильнике. И кажется, что это не от ветра, проникающего в щели, а от пугающей ночной тьмы...

Молча поклонившись, сын направился к выходу. До него донеслось:

— Скоро ли зацветут вишни? Ты не знаешь? На юге вишни расцветают, наверно, рано...

Выйдя из хижины, Сигэпори ощущает гнетущую тяжесть ночи.

Три часа. Все лагеря погружены в тишину. Вот уже почти месяц, как они стоят здесь. Правда, сюда тайком пробрались торговцы, странствующие актеры и даже женщины, так что иной раз по ночам бывает довольно шумно. Но сейчас ни единый звук не нарушает безмолвия.

Заметив Сигэпори, из-за сверкающих копий стражи выскочил его оруженосец и вопросительно взглянул в лицо. Сигэпори досадливо махнул рукой.

Вражеский замок тонул во мраке. Только на вершине темного, погруженного в молчание холма раскачивался большой яркий фонарь. Это бунтовщики подавали сигналы единоверцам, скрывающимся где-то неподалеку...

Из палатки Дзипдабуро Мацудайра выскользнул Скэбэй Дородо, прошмыгнув вдоль линии укреплений и, добравшись до песчаного взморья, с тихим плеском нырнул в воду.

Рассвело.

В уединенном покое Итакура свет горел до утра. Покончив с одеванием, главнокомандующий вызвал Ивая; завтракали вдвоем.

В лагерях тоже завтракали, когда прибыли гонцы от Итакура. Был кацул Нового года, и кое-где уже готовили праздничное угощение. Повсюду громоздились бочонки с сакэ, соленьями, маринованными овощами и рыбой. Но праздничные хлопоты пришлось отложить. Гонцы передали старшим военачальникам приказ явиться на военный совет. Зачем — об этом они, разумеется, не сообщили, однако все невольно насторожились.

Слушая гонца, Инацугу крепко сжал губы, чтобы не выдать волнения. Раненое колено нагноилось и болело печально. Значит, все-таки штурму быть! Инацугу сразу все

понял, внезапная резкая перемена в планах Итакура не показалась ему ни страшной, ни неожиданной. Спокойно дожидаться прибытия князя Идзу и рыцаря Тога после того, как отдан приказ об отсрочке штурма — нет, на это у Итакура недоставало бы решимости.

— Господин, вы теперь должны быть готовы ко всему... — сказал он молодому князю.

Теперь Ипацугу был окончательно убежден, что противник много сильнее духом, чем княжеские войска. Воевать с таким противником — дело нелегкое...

Около тридцати человек собралось во дворе перед домом Итакура. Многим было невдомек, зачем их собрали. Добро бы завтра в праздник Нового года, — но зачем сегодня? Ипацугу потянул Тадакуни за рукав, шепнул ему, чтобы князь был сдержан, говорил только в случае необходимости... Итакура и Ивая еще не было. Князя постепенно мрачнели. Все чаще поглядывали на дверь.

Наконец на пороге появился Садакиё Ивая, за ним — Дзиндзабуро Мацудайра.

— Просим прощения, что заставили ждать. Главнокомандующий сообщает сегодня важную новость. А посему он намерен сперва побеседовать в отдельном покое только с господами старшими самураями, а уж потом и с князьями.

Чудеса, да и только! Вызвать в одно время и князей, и слуг и беседовать сначала со слугами. Однако надо повиноваться... Поднялся Сагъя Тотоки, старший самурай князя Татибана.

— В каком это отдельном покое? — сердито переспросил он Ивая.

— Прошу сюда... — Ивая указал на дверь хижин Итакура.

Удивления достойно! Оставить владельцев князей — пусть не самих князей, но их старших сыновей и наследников дожидаться перед дверью и приглашать первыми самураев!..

Сагъя Тотоки, поклонившись своему князю и отвесив поклоны всем остальным, вошел первым. За ним последовал Аки, старший самурай Набэсима. Прихрамывая, поднялся с места Ипацугу. Молодой князь Тадакуни задержал на нем взволнованный взгляд. Ипацугу молча кивнул ему — не как вассал господину, а, скорей, как отец, безмолвно ободряющий сына. Последним вошел Моцдо Тага,

старший самурай Мацукура,— все давно свыклись с таким порядком.

В сколоченной наспех, без настоящих окоп, хижине было полутемно. Ипацугу показалось, что здесь очень холодно, а может быть, он просто ледомогал...

Итакура сидел в глубине. Вид его поразил Ипацугу. Он знал, что Итакура немногим больше пятидесяти, но сейчас он выглядел гораздо старше. При нем пахотился только один Сигэпори, обычной свиты не было. Итакура напоминал мертвеца; Сигэпори, казалось, едва сдерживает слезы.

Главкомандующий ни с кем не поздоровался и сразу, без предисловий, заговорил о главном. Голос его звучал сурово, торжественно:

— Я собрал вас, чтобы сообщить, что по причинам, от меня не зависящим, намерен утром в первый день Нового года произвести штурм и разбить бунтовщиков. Мы обрушимся на них всею мощью. Не считаясь с потерями. Мы покончим с ними, иначе... Кто думает иначе, прошу!

Сознавая всю важность этой минуты, Итакура отчеканивал каждое слово. Но вдруг перешел на визг и начал раскачиваться всем телом. Однако и визгливая скороговорка Итакура не допускала возражений. Он даже улыбался: десять или двадцать дней нам бы все равно не помогли, самое важное — хорошо подготовиться к штурму.

Ипацугу ощутил приближение смутной угрозы.

— О-оо! — протянул удивленный Сагэя Тотоки.

Опасность, опасность, все вокруг чревато опасностью... Меняют решения, меняют приказы — так же легко, как поворачивают руку ладонью вверх, — вот превеликая опасность, когда командуешь соединенной армией. Меняй, если меняется обстановка, если произошло хоть что-нибудь важное — у противника или у тебя и если перемена эта такова, что разум и сердце остальных подчинятся неожиданному приказу... Но ведь все по-прежнему, никаких благоприятных изменений нет и в помине... Как он сказал: «Не считаясь с потерями»?.. Что ж! На то и война... Но «разбить бунтовщиков... покончить с ними!»! Неизвестно еще, кто с кем покончит... Нигде не написано, что правительственные войска обязательно побеждают мятежников... Вот она, опасность, и при том явная и грозная. План Итакура ничего общего не имеет с законами стратегии. Надо что-то сказать, и немедленно. Ипацугу крепко сидел

пальцы рук. Окажись в них сейчас его любимая чашка, от нее остались бы одни черепки.

Он уже открыл было рот, но Аки опередил его:

— Мы повинемся, господин. Ни один из нас не ослушается ваших приказов. И раз вы приказываете нам сокрушить мятежников, не считаясь с потерями, скажите лишь слово — и воины Набэсима все, как один, лягут костьми.

Инацугу молча кусал губы. К его удивлению, Итакура не дал Аки договорить.

— Странные речи! — визгливо сказал он. — Только болван обрекает свое войско на поголовное истребление! Вы извращаете мои слова. Зачем? Я лишь хотел воодушевить вас на битву. Не более! Не более! Странные речи!

Хладнокровия и спокойствия, подобающих военному совету, как не бывало. Всем уже ясно, отчего Итакура вие себя, почему решается на чистое безрассудство, и только сам он молчит об этом.

Но тут уж Аки не может молчать — ведь его обозвали болваном.

— Осмелюсь заявить... — угрожающе начал он, но молодой Сигэнори вдруг поднял голову, взглянул на отца, — и Аки понял. — Ваш гнев справедлив, но я тоже сказал это лишь затем, чтобы укрепить боевой дух самураев. — Видно было, что ему стоит немалых усилий смирить себя. — Весьма сожалею, я дерзко прогневал вас... — твердо закончил он.

Саптя Тотоки быстро взглянул на Инацугу. Ждет, чтобы тот высказался наконец.. «На этот раз первенство в бою — ваше!» — ясно говорил его взгляд. Но старый Инацугу снова дал опередить себя.

— Итак, завтра утром — генеральный штурм крепости, — прежним, спокойным и торжественным тоном произнес Итакура.

Других мнений не было, да и быть не могло.

— Завтра первый день Нового года. Смутьяны тоже, наверное, будут праздновать его, так что у нас есть преимущество — внезапность.

Итакура не знал достоверно, празднуют христиане Новый год или нет. Но это уже не имело значения. Совещание закончилось.

— Итак...

Итак, надо выйти отсюда и сообщить новый приказ заждавшимся князьям. Вставая, Итакура пошатнулся. Испуганный Сигэпори бросился к отцу, но отец оттолкнул его руку.

XXIX. Отмечен роком

Князья, сидевшие полукругом, разом встали, приветствуя Итакура. Голоса звучали глухо — князья были недовольны. Посланник заставил их ждать. Но открыто своего недовольства они не выказывали — Ивая и Дзиндзабуро Мацудаёра были все время с ними. Оба уловили настроение князей и нахмурились.

Старшие самураи подошли к своим господам — кто стал рядом, кто чуть позади — и зашептали им на ухо. Полукруг дрогнул, заволновался, глаза лихорадочно заблестели. Взгляды были прикованы к Итакура, стоявшему в середине; рядом с ним стоял Сигэпори, но обеим сторонам — Ивая и Мацудаёра. Подойдя к Тадакуни, сидевшему пискосок от Итакура, Инацугу поклонился к нему и тихонько проговорил: «Решающий штурм крепости решено начать завтра утром», потом взглянул на Итакура и чуть не ахнул от изумления.

Лицо главнокомандующего, мертвенно-бледное в полумраке хижины, здесь, в лучах солнца, стало неестественно красным. В особенности глаза — Инацугу почудилось, будто они палились кровью...

Когда шум и ропот улеглись, Итакура заговорил, медленно и сурово:

— Я потревожил вас ради важной новости. Из Эдо изволили выехать к нам Побудзупа Мацудаёра, князь Идзу, и рыцарь Удзинкаэ Самон Тода, посланники правительства. Вчера ночью нарочный доставил мне эту весть. Они покинули Эдо в третий день двенадцатой луны. В ближайшие дни придут к нам...— Он остановился и налитыми кровью (так, по крайней мере, показалось Инацугу) глазами посмотрел на князей; они не выразили ни малейшего удивления. Одишь лишь Мацукура потупился. Что ж, возможно, он, главный виновник смуты, и впрямь не знал об этом. А может быть, знал и избегает его взгляда,— не ожидал, должно быть, таких последствий... Прибытие князя Идзу — члена Государственного совета означало, что Мацукура, как и ему, Итакура, оставалось одно — любой

цепью сокрушить наконец мятежную крепость. Вот она виднеется вдали, эта крепость, на покрытых бледной весенней зеленью холмах — перед нею оба они равны...

Князья молчали по-прежнему. Как видно, самурай предупредили, что Итакура не в себе и даже обозвал Аки болваном.

Мрачный Сигэнори смотрел на отца, который, забывшись, вновь принялся раскачиваться всем телом.

— Итак, в ближайшие дни сюда придут князь Идзу и рыцарь Тода. Если они, а войск у них много, возьмут крепость, и мне и вам придется навеки распрощаться с самурайской честью. Вы согласны со мной?

Все тревожно молчали.

Что они скажут, как оправдаются перед решительным, властным князем Идзу и известным своим упорством и волей рыцарем Тода? Князь Идзу не из тех, кого можно ублажить дурацкой вежливостью: дескать, трепещем от радости, видя вас в добром здравьи... А если он спросит: «Что, видно, мужички причивляют вам, господа, немало хлопот?..» Только теперь они поняли волнение и тревогу Итакура.

— До сих пор я всячески щадил войска и потому наметил план тщательной подготовки. Однако ныне обстоятельства изменились... — Он взвизгнул, затем громко откашлялся. — Итак, завтра, до рассвета...

Князья и самурай выпрямились и застыли.

— ...приказываю начать штурм. Решительным и смелым натиском, не щадя жизни своей, мы овладеем замком. Завтра праздник — первый день Нового года. Мятежники не ожидают нападения. «Застать врага врасплох — залог победы», — так гласит закон военной науки. Я знаю, у каждого из вас наверняка свои... разного рода соображения и мнения, но ради общего дела прошу вас забыть о них... — Он снова взвизгнул. — Сражение двадцатого дня мы проиграли оттого, что между князьями не было согласия. Ведь перед нами — всего лишь сборище мужиков, а вся эта их затея — пуста и безрассудна. И не пристало нам, рыцарям, и нашим славным воинам показывать им спину. Мы прослышем невеждами в ратном деле. Посудите сами, какая молва о нас пойдет, когда мы не сумеем взять эту проклятую крепость? Отступать буштовщикам некуда, вооружение их скудно. А у нас нет нужды ни в чем. На их стороже ложь, на нашей — правда. Мы — как небесные

облака, смутьяны — как земная грязь. Поэтому они не устоят. Нам ни к чему хитрить, прибегать к уловкам — мы просто сразим их нашей мощью. А они — уже смущены духом, я знаю! Они стреляют из мушкетов и луков? Пусть! Мы подберемся к стенам вплотную и возьмем их. Увидите, как ловко мы сделаем это, да и потеря будут невелики... А уж в рукопашной схватке верх будет наш... Наш...

Итакура начал с воодушевлением, потом заговорил тише, а конец речи пробормотал, словно заклиная самого себя.

Инацугу что-то прошептал на ухо молодому Арима. Князь встал.

— Разрешите мне... Я совершенно согласен со всем, о чем вы изволили сейчас доложить нам. Полагаю, что и остальные согласны. — Тадакуни обвел глазами лица князей. — А всему праву первенства в предстоящем бою прошу передать мне, Тадакуни Арима, как вы обещали еще накануне прошлого игурма!..

— Есть ли другие мнения? — по-прежнему сурово спросил Итакура.

Но других мнений быть уже не могло. Вопрос решился. Все облегченно перевели дух, задвигались, зашептались.

По знаку Итакура внесли бочопок сакэ. Одни из приближенных стал разливать его по чашкам. Закусывали сушеной каракатицей, соленьями. Пока князья угощались, Ивая подзывал старших самураев и вручал каждому письменное наставление.

«Завтра с седьмым ударом колокола * привести войска в готовность, дать залп из орудий и из мушкетов и с боевым кличем начать штурм.

Хранить тишину, приняв на сей счет строгие меры. Всем, кроме старших начальников, быть в пешем строю. Оползательные значки укрепить на правом плече. Пароль и отзыв — «Зпамя». Войскам арьергарда стрельбы из мушкетов не вести. Огни погасить, выставить охрану».

В лагере Арима готовили праздничное угощение — рисовые кодобки, морских окуней, маринованную утку, устриц, вымоченных в барде... Однако новогоднему шире суждено было превратиться в пир перед сражением.

Инацугу распорядился плести из бамбука настилы: перед Третьим бастионом, который предстояло штурмовать Арима, были заливные поля, и войско могло там завязнуть. Бамбук имелся в лагере в изобилии; его доставили из Курумэ, вотчины Арима.

Превозмогая боль в колене, Инацугу без усталости ходил по лагерю, проверяя, как идет подготовка. Молодые самураи толковали о подвигах, которые они совершат завтра, когда ворвутся в замок. Для многих это было первое сражение в жизни. А пожилые, из неудачников, перешептывались по своим палаткам. У одной Инацугу остановился и услышал такой разговор:

— ...самое главное на войне — добрые и злые предзнаменования. По законам учения Инъян * — весна и лето входят в ян — сферу света, и это время благоприятно для любых начинаний, а зима и осень — в инь — сферу тьмы. Если воюешь осенью и зимой — жди беды... Да еще в первый день Нового года, священнейший день в году. Все его празднуют, и знатные, и простые... Можно ли в такой день затевать сражение, убивать и самим головы класть?! Как бы не получилось так, что победу одержат смутьяны... Правда, говорят, будто они тоже празднуют, и потому их можно застичь врасплох. Да так ли на самом деле?

Инацугу пошел дальше. От подобных речей боевой дух, конечно, не поднимется, да теперь поздно об этом думать и распекаать говорунов поздно.

Над лагерями клубился дым от костров — варилась пища. Еды нужно было приготовить на два дня — нынешний и завтрашний. Занятые приготовлениями к штурму, самураи не заметили, что далеко в горах Хатирао снова взвился к небу дымовой столб — тайный сигнал.

Шуму и суете в стане самураев противостояла мертвая тишина мужицкой крепости.

В крепости собрался военный совет. Сиро впервые облачился в боевые доспехи. Докладывали лазутчики, бывавшие у карателей, — их было шестеро. Седьмой куда-то исчез. Один из лазутчиков сообщил, что минувшей ночью заметил в море человека, плывшего к замку, но принял его за своего и вместе с ним прошел в замок. Потом этот человек куда-то исчез.

— Наверное, лазутчик Итакура... — усмехнулся Дзэнъмон Яма.

Решено было усилить охрану, но розыска не учинять. Подобные мелочи уже не имели значения...

Скабэй Дородо насмерть было перепугался, паткнувшись ночью, да еще в воде, на смутьяпов. Но сейчас в отличном расположении духа он весело разговаривал с жепцинами у Лотосового пруда...

...Итак, Мацудаёра, князь Идау, ведет огромную армию. Он уже на Кюсю и через несколько дней будет здесь...

...В лагере Итакура со вчерашнего вечера началось заметное оживление, самураи то и дело входили и выходили из его хижин...

...Судя по всему, противник намерен предпринять штурм, прежде чем князь Идау прибудет в лагерь. Вероятнее всего, штурм начнется утром Нового года...

...Главный удар придется, очевидно, на Третий бастион, самый большой в крепости. Там и стоять митральезе, изготовленной Тэска и Рокудзо. Если же обстановка в Третьем бастионе сложится благоприятно, спешно перенести митральезу в бастион Амакуса...

...Даже при удачном ходе сражения ни под каким видом из крепости не выходить. С наступлением ночи, как обычно, спуститься вниз и подобрать камни и брошенное оружие.

Разбить на сотни летучий отряд и разместить каждую сотню там, где это понадобится...

...Разрешить жепцинам, пожелавшим взяться за оружие, принять участие в сражении...

Эмосаку Ямада заносил на бумагу каждый параграф, все уточнения и подробности. Наконец обсуждение закончилось, и Эмосаку прочитал запись вслух. Все согласилось с решением, и военный совет кончился.

Сиро, облаченный в доспехи, опустился на колени.

— *Доминус нобискум, доминус потенс, имблауерио...*
Господь наш с нами, господь могучий в сражении...

Большинство с трудом понимало смысл молитвы. Впрочем, ведь и буддийские сутры тоже едва ли кто-нибудь понимал толком...

Эмосаку был растерян: эти люди, кажется, совершенно забыли, ради чего они будут сражаться. Опп, кажется,

получают удовольствие от обсуждения чисто военных вопросов. Когда же началась молитва и все дружно опустились на колени, он возмутился: с его точки зрения война и молитва несовместимы.

XXX. Мир обмана, мир пустоты

Сиро вручил лазутчикам награду — рисовые колобки и хурму.

Дзимбэй Масуда сказал:

— Спасибо вам за труды! Мы рады, что все вы шестеро сумели подробно разведать обстановку в стане врага и вернулись целы и невредимы. Совет благодарит вас! Ну, а теперь расскажите — трудно вам пришлось?

— Труднее всего было вчера. Мы работали у Мацукура. Засыпали поля вместе с землекопами. И тут одного землекопа насмерть подстрелил кто-то из Второго бастиона. Товарищи его пришли в сильный гнев. И до того тяжело стало у нас на душе, сказать не могу! Вдруг влезает на стену господин Дзэнъэмон Яма да как закричит во весь голос: «Прискорбная ошибка! Прискорбная ошибка!» Но землеконы слушать его не стали и давай клясть наших и ругать. Обидно было слушать.

— Верно, верно, — подхватил Дзэнъэмон слова крестьянина. — Значит, вы там были. Кинсаку целился в самурая, а попал в несчастного землекопа. Нехорошо случилось. Мы все сокрушались, что так вышло.

Дзэнъэмон осуждал подобные убийства, и его слова у всех нашли сочувствие. Люди как будто с новой силой осознали, что война, которую они ведут, не похожа на обычные войны.

Вперед вышел рослый крестьянин в кургузой куртке.

— Господа старейшины, еще раз хочу предостеречь вас, будьте начеку! В крепость наверняка проник лазутчик. Возвращаемся мы за полночь, вдруг вижу еще кто-то плывет. Сначала я испугался, но потом решил, кто-нибудь из своих. Да только, о чем бы я его ни спрашивал, он ни слова не ответил. Я тогда подумал: что спрашивать, коли у него от холода зуб на зуб не попадет. А теперь вижу — это был лазутчик. Только мы вошли в ворота, а его уж и след простыл. Прошу вас, будьте начеку, господа старейшины... Может, устроить проверку по всей крепости?

— Сейчас не до того,— ответил Тюбай Асидзука.— Невелика беда, коли один или два разведчика пробрались к нам. Мы ведь и своих тоже заслали к карателям, восьмерых,— так что мы не в убытке...— Он засмеялся, а вслед за ним и остальные.

Эмосаку тоже невольно усмехнулся. Но, поймав взгляд Гэцэмопа, сразу стал серьезным.

Гэцэмоп между тем просто хотел обратить внимание Эмосаку на удивительное сходство между ангелами на знамени и сидевшим под знаменем Сиро.

Время творило поистине чудеса! Семнадцатилетний мальчик спокойно, с достоинством, сидел во главе совета, как и подобает главнокомандующему.

Сиро заговорил:

— Все вы потрудились на славу! Мы рады вашему благополучному возвращению. Помолимся же за успех тех восьмерых, что остались во вражеском стане! — Он перекрестился. Остальные тоже: загрубелые руки, успевшие привыкнуть к оружию, сотворили крестное знамение.

То, что произошло, было очень важно. Ведь лазутчики вполне благополучно пробыли в стане врагов свой срок. Сумели приспособиться. Некоторые добрались даже до далекого Хатирао. Они могли не вернуться, но вернулись, все до единого.

Пришло время расходиться, но всем хотелось еще немного потолковать друг с другом. Гэцэмоп направился было к Эмосаку, но его задержали Скээмоп и Самбэй из деревни Кацуса. «О чем они?» — мелькнуло у Эмосаку, но в следующую минуту все трое уже подходили к нему.

— Мастер Эмосаку, прости! Мы сомневались в тебе! — сказал пожилой Скээмоп, глядя Эмосаку прямо в глаза.— Это мы с Самбэем настояли на том, чтобы забрать в заложники твоего сына. Прости нас!

Скээмоп и Самбэй склонили голову. Эмосаку как-то неестественно поклонился им. Он не знал, что отвечать.

— Ты понял их, Эмосаку? — пришел на помощь Гэцэмоп.— Поговори с ними не торопясь, если у тебя на сердце не утихла обида.

— Обида моя давно забыта... Я думать о ней забыл,— в полной растерянности говорил Эмосаку.— Вначале я действительно усомнился в пользе восстания, но сейчас

совершенно... — Он выжал из себя эти слова с большим трудом, так и не закончив фразы. Не удивительно — ведь в душе своей он уже предал восстание.

— Правда? В таком случае вдвойне нехорошо было держать в заложниках твоего сына. Еще раз просим простить нас!

И, слова поклонившись, Скээмон и Самбэй отошли.

— Нет, нет, напротив, это мне надлежит... — пробормotal он им вслед.

Подошел Дзэнъэмон Яма.

— Близится решающий час! — бодро возгласил он. — Завтра Новый год, и если «великая Япония» вздумает напасть на нас, мы не оплошаем! Проучим их хорошенько. И тогда сможем начать переговоры с князем Идзу. *Все-ленская республика* наша пойдет вширь. Верно?

— Верно, верно! — успокоил его Гэнъэмон. В голосе его была спокойная уверенность — уверенность накануне битвы, когда исчезают последние сомнения и все становится ясным.

— Как думаешь, Эмосаку? — спросил Дзэнъэмон.

— Да, да, в самом деле... — неопределенно отвечал тот.

Что он мог ответить еще?! Он так и не свыкся с собой — предателем. Он сел на камень — один из тех камней, которые припасли для обороны Главного бастиона. Гэнъэмон с Дзэнъэмоном уселись рядом и беседовали о положении в своих бастионах. Гэнъэмон сказал, что Тээмон Минабэи занемог.

«Я послал в лагерь Мацукура письмо, — думал про себя Эмосаку. — Писал, что пришел сюда против воли, только потому, что моего сына взяли в заложники...»

О, как глупо все вышло! Ведь он же не предатель. Просто он убежден, что это восстание ничем не поможет христианству. Однако всем своим существом понимал крестьян, ибо они не могли жить по-прежнему. Где же истина? Где выход?!

Внезапно Гэнъэмон и Дзэнъэмон прервали беседу и встали. Поднялся и Эмосаку. Сиро, сопровождаемый свитой, направился из Главного бастиона в обход крепости. Позади Сиро придурковатый силач Иноскэ нес нарисованное Эмосаку знамя.

— Хо-хо, ни дать ни взять рыцарь Ёсицуна и оруженосец его Бэнкэй, — пошутил Дзэнъэмон под одобрительный смех.

— Гэпэмон, Дзэнэмон, вам пора! — крикнул Тюбэй. Поклонившись Эмосаку, оба направились к воротам. Гэпэмон, как видно, собирался еще что-то сказать Эмосаку, потому что, сделав несколько шагов, он вдруг остановился и оглянулся на Эмосаку, который тоже смотрел ему вслед. Но потом Гэпэмон, видно, передумал и продолжал свой путь.

Задыхаясь от быстрого бега, примчался Васаку — выслушать распоряжения отца о размещении стрелков и летучего отряда. После сражения двенадцатого дня Васаку исправлял при нем должность вестового.

Обойдя вместе с сыном все подразделения Главного бастиона, расставив стрелков и отдав необходимые указания, Эмосаку вообразился на камешную стену, что напротив бастиона Амакуса. Отсюда был виден весь вражеский стан.

В лагере Набэсима к небу устремились дым бесчисленных костров. Вдали, на холмах, в лагере Арима тоже пылали костры. Только в лагере Татибана костров было гораздо меньше. Значит, войску Татибана, потерпевшему жестокий урон в последнем сражении, приказано быть в арьергарде.

Спустившись со стены, Эмосаку вместе с сыном вернулся домой. Надо было хоть немного передохнуть.

У входа в хижину сидела о-Тиё. Она закончила плести соломенные сандалии для мужа и теперь шила защитные рукавицы со знаком креста.

Раньше о-Тиё отличалась веселым нравом; бывало, никак не усидит на месте, когда Эмосаку заставлял ее позировать, но здесь, в крепости, она совершенно переменилась — стала замкнутой и молчаливой.

— Завтра сражение... Придетесь, пожалуйста, нелегко... — обратился к ней Эмосаку.

— Вот как? — сказала она и — больше ни слова.

«Уж не больна ли?» Он заглянул ей в лицо, но она быстро отвернулась и скрылась в хижине.

В последнее время о-Тиё с волшебным прислушивалась, когда Васаку читал из книги «О чем христианину знать должно». В молодости она тоже была крепцева. Когда же власти приказали всем христианам отречься, она объявила, что принимает учение Дзёдо, однако прежней своей веры не забыла. Теперь вслед за Васаку она с осо-

бым усердием повторила на утренних и вечерних службах молитвы.

Усадив рядом сестру и брата, Васаку читал вслух:

— «Сблизься с верным другом, утепись сердцем в беседе с ним — вот одна из радостей мира сего, но не мирская дружба успокоит дух твой. Ибо мир полон тревог, сомнений, обмана и лжи, и трудно обрести в нем друга истинного...» Погляди вокруг, Гонпоскэ,— говорил он.— Разве все мы здесь, в крепости,— не истинные друзья? Мы братья! Среди нас нет соперников, нет знатных или низкородившихся... Быть может, ты не встретишь здесь святых или ангелов, но все равно — не кажется ли тебе, что здесь наступил рай?

Таков был их сын, их Васаку, хотя ни мать, ни отец никогда не принуждали его принять христианскую веру. Не мудроно, что Эмосаку сторонится сына. Он, Эмосаку, не способен увлекаться, как юноша... Сын считает, что жизнь в крепости и есть та жизнь, которую надлежит вести христианам. Дзэнъамой Яма говорит о том же, имея в виду *вселенскую республику*. Но Эмосаку стоит на своем — это противоречит естественному закону природы. А беспощадный гнет, притеснения, поборы, которые терпели христиане, разве не противоречат? Какой же порядок считает он справедливым? На это Эмосаку ответить нечего.

Пусть так! И все же то, что творится в крепости, не пойдет на благо христианской вере — в этом-то он убежден! Убежден? А если у них не было иного выхода, кроме восстания? Тогда, в те три дня, охваченный душевной смутой, он писал для повстанцев знамя и принял наконец решение — пошел с ними. Но легче ему не стало. Его мысль, подобно змее, кусающей собственный хвост, вгрызалась сама в себя мертвой хваткой, и теперь уж невозможно было оторвать хвост от головы.

В сущности, ему следовало остаться навек в тиши собственного дома. Он рисовал бы свои живые картины, как имедуется живопись европейская, добывал бы пропитание искусством и размышлял бы на досуге, постепено постигая смысл сущего. А он вместо этого сказал себе: «Иди, испытай все сам! Иначе тебе не избыть сомнений. Другого способа нет». И, взяв копьё, он ушел с повстанцами.

«Испытай все сам...» Легко сказать. Вот Васаку быстро решает все — даже вопросы жизни и смерти. Что ж, на то

и молодость!.. А он не может так.. И когда он начинал вдруг думать о том, что его путь — совершенно иной, когда чувствовал, что готов отвернуться от товарищей и уйти в тот самый мир обмана и лжи, о котором толковал Васаку, — ему казалось, что и вся его прошлая жизнь, и судьба, ожидающая тридцать семь тысяч человек, обреченных на неизбежную смерть — обман, все — пустота... Какой же предстанет собственная его жизнь и жизнь тысяч людей, запечатленная на белом листе этой пустоты?

Эмосаку с волнением вглядывался в молодое разгневившееся лицо Васаку.

XXXI. Мир обмана, мир пустоты

(Продолжение)

Когда приготовления к бою были закончены, Эмосаку вместе с другими обошел бастион и вернулся к себе в хижины.

В это время от Дзимбэя Масуда пришел нарочный. Эмосаку должен был отправить письмо, обсужденное и написанное три дня назад. Он достал стрелу и, поминувая клей, перечитал письмо. Ему стало обидно: до чего неуклюже оно составлено! Впрочем, чего ждать от деревенских старейшин, которые от крестьян ушли, а самураями так и не стали!

«Ныне сошлись мы вокруг господина нашего Сиро, ибо знали, что вознамеритесь перебить нас всех до единого. В крепости нас двадцать тысяч с оружием, это большая сила, но говорим вам — если бы вы зла нам не чинили, все бы иначе вышло; так думают все наши. Теперь же ничего другого не остается, как воевать. Мы для себя самурайских наделов не просим, не желаем земель и княжеств. А что хотите вы перебить нас всех до единого, так мы все, хоть и полагаем свою распрю прискорбной, готовы биться насмерть, так что род человеческий в Симабара и на Амакуса прекратится навечно... Тому уж двадцать дней, — словно дождь, сыплются на нас выстрелы из мушкетов и аркебуз, но ни один в цель не попал, и чудо сие ободряет наши души. Мы подобны муравьям, проникшим в стены чертога. Ни единого раисного не найдете вы в нашем замке. Спросите стрелков, тех, что палят с кораблей, — и они подтвердят, что выстрелы ваши вреда не наносят».

Кто составлял письмо, Эмосаку не знал. (Несколько дней назад, возвращаясь с военного совета, он попал под холодный дождь, простудился и слег. Письмо утвердили без него.) Писать так открыто о численности своего войска было явной глупостью... Уверять в том, что, кроме восстания, у них не было иного выхода, — значит, унижать себя. И к чему это — «род человеческий в Симабара и на Амакуса прекратится навечно»? Что же до того, будто вражеские ядра и пули чудесным образом не причиняют вреда — это просто-напросто ложь, пустое бахвальство!

Возможно, Тюбэй и Дзимбэй задумали отправить такое послание накапуе боя, чтобы смирением ввести противника в обман... Во всяком случае, так понял письмо Эмосаку. Но частное решение подтолкнуло Эмосаку к неверному общему выводу: люди зачастую выносят свои суждения бессознательно, думая лишь о собственной пользе. Эмосаку схватил кисть и, хотя в послании адреса указывать не надо было, приписал: «Господицу Матаэмо-ну Носэ». Узнай об этом Васакү, он, наверное, сказал бы, что отец поддался искушению дьявола...

Обмазав стрелу клеем, Эмосаку прикрепил к ней край письма, обмотал лист бумаги вокруг древка, надел на него бумажный футляр и вышел из хижины. Теперь пужно взобраться на паранет Третьего бастиона и послать оттуда стрелу в лагерь Мацукура.

Выйдя из Главного бастиона, Эмосаку стал пробираться по траншеям. Темное, покрытое тучами небо низко нависло над крепостью; холод пронизывал до костей. Еще темного — и начнет сыпать ледяная крупа. С трудом находя дорогу между людьми, заполнившими траншею, Эмосаку вылез наружу и быстро зашагал вдоль длинных рвов. Время от времени со стороны Лотосового пруда, не видного ему из-за крепостной стены бастиона, доносились крики и смех, показавшийся ему неуместным.

Неожиданно его окликнули откуда-то сверху.

— Мастер Эмосаку, поднимитесь-ка сюда, взгляните!

На стене стояли Самбэй и Скээмон и с ними еще множество людей. Все смотрели в сторону Лотосового пруда.

— А в чем дело?

— Да вы поднимитесь... — Помогая Эмосаку взобраться на паранет, Самбэй покатывался со смеху.

Вокруг Лотосового пруда лепились бесчисленные

хижины. На берегу собралась толпа мужчин и женщин, оттуда доносились веселые, звонкие голоса, выкрики, смех.

— Что там происходит?

— Да вот, взгляните сами...

Это старуха о-Соно, пегласная предводительница всех женщин с островов Амакуса, провозглашала нечто вроде заклятия канпам *, обитающим в Лотосовом пруду.

Несмотря на хрипловатый голос старой о-Соно, каждое ее слово доносилось с удивительной четкостью.

— Эй, речной Таро, выходи! Выйди, послужи господу нашему Христу! Становись на подмогу господину Сиро! Слушай нас, речной Таро!.. Эй, речной Таро, водяной владыкой Арима! Твой хозяин князь Наодзуми Арима, ох, и дрянной был господин! Может, чуть получше нынешнего Мацукура, а все-таки — дряпной! Отец его, князь Харубобу, умер праведным христианином, а сын — Наодзуми, отрекся, напрочь от веры отшатнулся, откатился... Вот и докатился до чужих краев, до области Хюга... А тебя, речной Таро, он забыл! Так ты ему напомни о себе, Таро!

Слушатели смеялись, хлопали в ладоши, хором подхватывали: «Эй, речной Таро! Слушай нас, речной Таро!»

Старая о-Соно продолжала:

— Эй, речной Таро, господин твой Наодзуми развелся с прежней сулругой Мартой и взял в жены внучку сёгуна Иэясу, понял? А молодая жена и напещчи мужу в опочивальне — всех, мол, христиан перебей! Ох, сколько душ он загубил! Сколько в огне пожег! Эй, речной Таро, неужели ты будешь храпеть верность такому пепутовому господину и все молчать да молчать? Выходи, речной Таро!..

Люди опять подхватили:

— Выходи, речной Таро!

— Выходи, речной Таро!

Рядом с Эмосаку тоже раздались веселые возгласы, и если бы Дзэнъэмон Яма не призвал к тишине, то, пожалуй, все население Второго бастиона принялось бы вызывать водяного, рискуя привлечь внимание противника.

Эмосаку спустился со стены. Это было неприятно. Его коробило, когда брали прежнего господина. Где им понять, как много выстрадал князь Наодзуми! Мало того что покойный его отец Харубобу был христианином, — его еще обвинили во взяточничестве * и приказали покопчить с собой. Наодзуми чуть было не лишился наследства. Ему пришлось заключить второй брак — с благородной Куни-

химэ, которая нестужленно ненавидела христиан. Наодзуми велел подданным отречься. Угрожал смертью. Однако христиане не испугались, более того, они сами искали смерти, говоря, что смерть откроет им путь к вечному блаженству: «Господь наш Иисус тоже испытал перед копчиной крестную муку...»

Наодзуми растерялся. Увидев его колебания, Хасэгава, тогдашний наместник в Нагасаки, доложил Ияэсу, что Наодзуми покрывает христиан. Перепуганный князь решил разом покончить с еретиками. Он вызвал восьмерых ближних самураев-христиан и, едва сдерживая слезы, приказал им изменить веру: пусть они только притворятся, что отреклись!.. Пятеро из сочувствия к господину согласились, но трое отказались поотрез. Эмосаку хорошо помнил речь, сказанную Каиэмоном Такэто. Твердо и ясно прозвучала она здесь, в Главном бастионе, — в ту пору крепость Хара была еще княжеским замком.

— Осмелюсь почтительнейше промолвить. Долг наш перед царем небесным превышает службу господину земному. Самой жизнью нашей в сем мире обязаны мы милости божьей. Господь наш, царь небесный, запрещает скрывать веру. Не могу пойти наперекор совести и принять па душу вечный грех. Воздать господу за его великую милость — единственное, чего хочу...

Хасэгава настаивал, чтобы князь предал огню всех троих. С женами и детьми! Наодзуми, конечно, страдал, не в силах отдать подобный приказ. Но смертельный страх перед благородной Куви-химэ победил.

Ребенком Эмосаку видел их казнь. Воспоминание об этом словно выжжено в его памяти раскаленным железом. Восемь человек — Лео Каиэмон Такэто и его сын Паоло, Андреа Мондо Такахаси и его жена Иоанна, Лео Скээмон Хаясида, его жена Марта, девятнадцатилетняя дочь Маддалена и двенадцатилетний сын Якоб, — распевая молитвы, шли под стражей в тюрьму, а стоявший вдоль дороги народ громко моллся пресвятой деве Марии. Около двадцати тысяч христиан из других мест пришли в город. Они хотели ободрить и воодушевить мучеников. К ним присоединились и сами горожане. Три дня и три ночи люди жгли костры. Никто не спал. Дабы рассеять страхи князя Наодзуми, самураи не надели мечей. Князь выслал отряд стрелков, приказал толпе разойтись. Но люди не боялись смерти. А солдаты стрелять не решались.

В день казни тюрьму окружило целое скопище народу. Выбрали доверенных. Они сказали Наодзуми, что вовсе не помышляют освободить несчастных силой, ибо собрались только для того, чтобы отпеть их после смерти.

Построили хижину, внутри вбили в землю восемь столбов, вокруг столбов навалили груды сухого камыша и соломы. Хижину обнесли забором. Во дворе тоже сложили солому и хворост. Огонь полз медленно, от ограды к хижине, к столбам. Солнце опускалось в пучину огня.

Эмосаку хорошо помнил пламя, взмывающее к алому, предзакатному небу, помнил запах горелого мяса, лихорадочное возбуждение толпы. Когда осужденные были мертвы, толпа, не слушая окриков палачей, прорвала ограду и ринулась в огонь, стремясь извлечь останки. Трупы вытащили, отвезли в Нагасаки и с молитвой погребли в христианском соборе.

Наодзуми обрек на смерть даже сводных братьев Франциско и Маттео, сыновей его отца, но, видно, под конец ему стала отвратительна собственная жестокость. Год спустя его перевели в Хюга — он сам попросил об этом.

Было это двадцать три года назад. А через два года после его отъезда приехал еще более жестокий Мацукура.

Эмосаку помнил и цвет того пламени... Когда-нибудь Эмосаку его напишет...

Он хорошо понимал душевные муки Наодзуми, так ему, по крайней мере, казалось. Князю пришлось покинуть родные земли, уехать на чужбину, подданные же последовали за ним, почти все остались на земле, превратились в крестьян... Среди них был и он, Эмосаку.

Да, Эмосаку хорошо понимал: Наодзуми всеми помыслами стремился к жизни.

А трое его самураев — и после, когда пришло владичество Мацукура, еще многие, многие такие же, как те трое, — всеми помыслами стремились к смерти.

Стремление к жизни...

Стремление к смерти...

Наодзуми хотел жить ничем не стесненный, свободно, как князь, владетель земли и крестьян. Ради этого он покинул земли своих предков.

А верующие мечтали о свободе духовной и презрели власть господина. Ради этого они предпочли смерть на земле своих предков.

Но здесь, в этом замке, — кто здесь стремится к жизни? Или — к одной только смерти?

Небо потемнело еще сильнее, время от времени сыпалась ледяная крупа, ноги скользили в жидкой грязи.

Стиснул в правой руке стрелу, а левую — крепко прижав к груди, Эмосаку пагал к Третьему бастиону.

Неужто вера способна, словно хорошо отточенный меч, разрубить падвое жизнь человеческую, обречь человека на смерть... или на жизнь? А разве нельзя следовать естественному закону природы и, подобно отшельнику, презреть ложь и пустоту жизни; исповедовать свою веру молча, оградившись от гонений листком бумаги, — всего лишь листком бумаги! — на котором слова отречения? Разве это зазорно — умереть своею смертью, как умирают растения? Спрятать веру в груди, в сокровенной глубине сердца и тихо довести ее до могилы? Это было бы так легко и так просто. Ведь возлюбленные, когда не могут соединиться, идут на смерть.

Что, если бы князь Наодзуми явился сюда, на осаду крепости? Ведь те, кого приговорил он к сожжению, не проклинали его, умирая. Землей владыка по имени Наодзуми Арима попросту не существовал для них, им не нужно было даже отрицать его власть, ибо они давно преступили ее в душе. А он, Эмосаку? Он притворялся, он подписал ложное отречение. Вот почему он утратил право презреть службу господину земному. Эмосаку понял это давно...

В штабе Третьего бастиона Гэнъэмона не оказалось. Он ушел вместе с Тэскэ и Рокудзо устанавливать аркебузу. Эмосаку вошел в помещение и присел передохнуть. Вскоре вернулся вымокший до нитки Гэнъэмон.

— Я должен отправить письмо — то, что составлено в двадцать восьмой день двенадцатой луны, — пояснил Эмосаку; если письмо посылалось не из Главного бастиона, следовало доложить об этом.

— Вот как? А куда именно?

— В лагерь Мацукура.

— Можно мне выстрелить?

— Изволь.

Гэнъэмон сузил лук под мышку; они подошли к стене. Ледяная крупа сменилась моросящим дождем, но вскоре

и дождь перестал. Люди усердно рыли окопы, вбивали в землю заостренные колья — на случай, если карателям удалось бы преодолеть внешний обвод.

— Да, противник будет драться с остервенением, уж в этом я не сомневаюсь. Ведь и у Мацукура положение отчаянное...

Гэпэмон поднялся на стену и громко выкрикнул надлежащие слова: «Слушайте, воины Мацукура! Принимайте стрелу с посланием!» Он с силой натянул и отпустил тетиву. Видно было, как стрела вонзилась в земляную насыпь, над которой развевался стяг Мацукура — синее полотнище с красной полосой.

Когда стрела вылетела из лука, Эмосаку ощутил какую-то страшную пустоту в душе. Ему показалось, будто вместе со стрелой полетела частица его собственного сердца...

Они снова мпновали ряды вымокших до нитки людей, рывших траншеи, и возвратились в штаб.

— Ничего, не упывай, мастер. Завтрашний бой окончится как и предыдущий. А любопытно, что о нас скажут люди через десять или через сто лет?

— Через сто?..

Как! Вместо того чтобы думать о настоящем и настоящем, Гэпэмон обращает свои помыслы к будущему, — значит, и он бежит от реальности.

— Да. Так бывает с картинами — сперва их не признают, но проходит время, и все видят, что они и впрямь хороши.

— Бывает, но редко.

— Я часто думаю — как страдал Христос, когда его распинали, он, должно быть, думал: вот распнут меня сейчас вместе с разбойниками, а что станет с моим учением? Но ученики его понесли святое учение по миру. Их одержимость способна потрясти. Теперь учение господина достигло Японии и помогает нам с тобой обрести вечную жизнь.

Гэпэмон никак не относился к числу восторженных слушателей и оттого до сих пор был понятен Эмосаку. Однако Гэпэмон опередил его. Не лучше ли в таком случае просто последовать за ним? Ведь подражает же он европейским художникам!

Раньше все свои волнения и заботы он поверял холсту, но сейчас рука его шарит и не находит привычной

кисти — вместо пее коньё или стрела, и сам он теперь подобен чпстому холсту...

— Не хочешь ли проведать старого Минаёси? Он болен...

— А, это тот старик с Тапагасима?

— Он самый. Совсем плох, боюсь, не влживет.

— Жаль...

— Жаль? А он рад...

Минаёси лежал на рогожной подстилке и читал книгу. Старик являл собой образец христианина ранней эпохи. Сейчас уже редко встречались люди, сподобившиеся принять все три тапштва: крещение, конфирмацию и причастие у *падре*. Увидев вошедших, он отложил книгу.

— Да, педаром славится земли Арима! Взгляните, сколь дивная книга! Ее принес мне одни крестьянини. Напечатана в *семинарио* в Кацуеа... Хотите, я вам почитаю из пее?

На обложке латинскими буквами значилось: «О страстих господних». Старик прочел им то место, где Иуда предает Христа за тридцать сребренников, и Христос, зная об этом, говорит: «Я приму эту муку так, словно уже покинут господом нашим»⁶.

Понурившись, Эмосаку вернулся в Главный бастиоп, доложил, что стрела с письмом послана, и направился к себе в хижищу. О-Кики только что вернулась от Сиро. Она плакала и говорила, что сама не знает почему, но ей так жаль господина Сиро... О-Тиё утешала дочь, приводя в пример многих девушек, погибших за веру.

«Все неверно, все обман, — думал Эмосаку. — Может быть, и о-Тиё жаждет стать мученицей за веру? А о-Кики плачет. Наверное, влюбилась в Сиро, глупая...» При мысли об этом Эмосаку почувствовал, как будто что-то уходит из сердца, что-то очень дорогое...

В эту ночь где-то далеко в море свирепствовал ураган. Море глухо ревело, и волны с силой бились о скалы...

XXXII. Первый день первой луны

Временами слышался громкий треск, словно кто-то колл дрова. В стапе карателей уснули немногие: большинство, закрыв глаза, тревожно прислушивалось к рокоту моря. В четыре часа утра на вершине ходма зазгут боль-

шой фонарь и трижды выстрелят из аркебузы. Некоторые, так и не сумев заснуть, вглядывались во тьму, словно старались рассмотреть, что происходит в крепости. Там стояла мертвая тишина.

Оставалось еще не меньше часа до условленного времени, когда внезапно где-то возле Третьего бастиона прогремел боевой клич. «Уже знают, наверное, — значит, опять тяжело придется», — шептались люди.

Однако это кричали не в крепости.

Князь Арима, вдоволь повасмежавшийся над легкомыслием Татибана, на сей раз сам очутился в столь же бедственном положении, причем события разыгрались под стенами того же Третьего бастиона.

Третий бастион был хорошо укреплен. Там размещалось свыше пяти тысяч отборных бойцов из крестьян южного Симабара. Вместе с повстанцами с Амакуса они составляли костяк восставших. Было даже известно имя их вожака — Гэнэмон Оэ.

Когда в сражении двадцатого дня князь Татибана, не дожидаясь приказа, послал на штурм свое войско, старый Инадугу, старший самурай Тадакуни Арима, рассордился: «Татибана помышляет лишь о том, чтобы выслужиться...» Но теперь речь шла о собственном его войске, и он призадумался. И чем больше размышлял, тем яснее понимал, что другого выхода у них и впрямь не остается. Молодому Арима нужно опередить войска остальных князей и добраться к подножию стен первым. К тому же на сей раз право первенства доверено ему, а это означает не только честь первым пачать штурм, но и обязанность первым войти в мятежную крепость. Князь Тадакуни Арима был от природы юноша добродушный, но сейчас и он охвачен воинственным пылом, и старый Инадугу должен был учесть и это, и все возникшие и возникающие обстоятельства.

В два часа ночи Тадакуни скомандовал выступление. Острия копий неясно поблескивали в темноте. Пехотинцы тащили бамбуковые настилы. Вот они бесшумно выбрались за линию заграждений. Прошли заливные поля. Сразу за рвом вздымался крутой, покрытый вязкой глиной склон, вершиной упирающийся в крепостную стену. Пока восьмитысячное войско Арима достигло рва, протел почти целый час. В этом и была главная причина их неудачи. Они должны были быстро пройти по склону и, с ходу



продолев стену, ворваться в крепость. Если они задержатся здесь, их постигнет участь Татибана — восемь тысяч воинов превратятся в беспорядочную неуправляемую толпу.

Они уже возле рва, но в замке по-прежнему мертвая тишина. Неужели смутьяны спят? Вряд ли...

Море еще бушевало, но ветер неожиданно утих. В три часа ночи Тадакуни подал команду. От отряда к отряду покотился боевой клич. По легким мосткам воины перебрались через ров и, обнажив мечи, с копьями наперевес ринулись вверх по вязкому склону.

Ни Мацукура, ни Набэсима, ни всем остальным князьям и во сне не снилось, что Тадакуни Арима замыслил опередить их. Они решили, что бунтовщики узнали о штурме и напали первыми. Но в замке было по-прежнему тихо, словно там и не слышали боевого клича воинов Арима.

Несколько дней подряд шли дожди пополам со снегом, земля раскисла. Люди спотыкались, валялись вниз; стоило упасть одному, и вниз катилось уже несколько человек с обнаженными мечами в руках. Десятки воинов получили

раны от своих же товарищей. То там, то здесь в полной тьме слышались отчаянные вопли.

Вдруг над стенами крепости забрезжил неясный свет. Кое-где появились языки пламени.

— Пожар у них, что ли? — тревожно сказал Ивацугу.

Нет, это был не пожар! Когда воины, размахивая мечами и копьями, оступаясь и падая в жидкой грязи, искарабкались, наконец, на вершину крутого холма к стенам Третьего бастиона, из-за хранивших безмолвие стен в них полетел огонь: десятки горящих факелов. Факелы поджигали знамена и одежду самураев, раненных своими же. Гребень стены светился. Пылали склоп и подножье холма. Бунтошники дали залп из мушкетов. Из луков разом вылетали сотни стрел. Атакующие начали шититься. В это время на них обрушились огромные камни и бревна, они с грохотом катились по склопу и шлепались в ров, поднимая фонтаны воды, но прежде успевали с глухим стуком удариться о чье-нибудь тело, поразить одного, а то и сразу добрый десяток воинов. Но воины цепь за цепью упорно лезли вверх по грязному склопу.

В короткое время было убито или ранено несколько сот человек.

В ставке наконец поняли, что боевой клич издавали не мятежники, а отряды Арима, задумавшие первыми ворваться в крепость.

— Излишнее рвение хуже перадривости... — с досадой говорили в лагере Набэсима, не зная еще, какие тяжкие потери несет Арима.

В четыре часа утра, в назначенный час, на холме загорелся большой фонарь и раздались три выстрела из аркебузы. Часть войска Набэсима двинулась на питури Второго бастиона, другая часть пошла на приступ Сосновой горы; в это время небольшой отряд повстанцев, выйдя из крепости, теснил и колол копьями разбитое войско Арима. Отступление — удел побежденных; а когда путь отступления — отвесный склоп, приходится волей-неволей катиться вниз кувирком...

— Эй, храбрецы Курумэ! Если уж надумали биться первыми — давайте лезьте сюда, к нам!

— Собрались нападать, так лезьте сюда, как положено в настоящем бою! А то не успели прийти, а уже удираете, — надевались крестьяне, преследуя отступавших. Вскоре они возвратились в крепость и крепко заперли ворота.

Повстанцы быстро узнали пароль карателей и усердно выкрикивали условное слово; они давно уже были за крепостной стеной, а многие воины Арима, охваченные подозрением, все еще дрались друг с другом в крошечной тьме...

Крепостная стена в том месте была не выше семи сажу, стояла она на крутизне, и поэтому Третий бастион возвышался на целых семь кан, а Второй — вдвое выше — почти на четырнадцать. Отовсюду летели, глухо шлепались оземь бревна и камни. Острые обломки черепицы рапили сильнее, чем стрелы. Со стен сыпались не только горящие факелы, но и пылающая солома, тростник, циновки и соломенные мешки, и самое ужасное — горячая зола. Повстанцы поджигали и сбрасывали вниз целые крыши, сплетенные из камыша; в их пламени корчились десятки людей. Потом на карателей полилось нечто странно прохладное, ужасно липкое и вонючее; нечистоты в ведрах подтаскивали к парапету самые крепкие из подростков и женщины.

— Эй, самурай, жрите да жирейте!

Воины Набасима, осаждавшие Сосиновую гору, бились не менее ожесточенно. Перед ними были высокие, отвесные скалы. Тропинки были узкими и обрывистыми, взбираться приходилось по одному. Но не успели они переправиться через Оэ, как начался прилив. Вода прибывала, отрезая арьергард наступающих. Отряды в замешательстве сгрудились на берегу. Повстанцы вели по ним прицельный огонь.

Воины Набасима и Арима заготовили множество длинных лестниц. Повстанцы сбрасывали их вниз. Но вот нескольким карателям удалось перебраться через стену. Заколото, зарублено пять, десять крестьян. В доказательство подвига самурай должен принести голову врага. Но почти никому не удавалось благополучно вернуться с добычей, большинство гибло; их убивали ударом в спину, когда они, присев на корточки, отсекали головы убитых врагов. Ипой самурай, отрубив крестьянину голову, бросил ее через стену и торопился вниз, но голова уже была украдена. Некоторые, с кровавой добычей в руке, ухитрились взобраться на парапет, но спрыгнуть им не давали — стаскивали за ноги, срывали доспехи и, перерезав горло, швыряли через стену.

Запах горящего дерева, потрескивающей сосновой смолы мешался с пороховым дымом и зловонием серы, с

вошью печистот, с теплым запахом крови. Внезапно среди отрядов Набэсима раздались душераздирающие вопли.

Прорезая ночную тьму, из-за степ Третьего бастиона пелся поток огней. Просвистев в воздухе, огни впивались в легкие солдатские доспехи. Это горели пропитанные маслом тряпки, обмотанные вокруг толстого древка, — вступила в действие самодельная митральеза.

В одно мгновение войско Арима потеряло около тысячи человек. Выносить убитых и раненых было некогда — на каждого падо было ставить по двое. Ошеломленные, растерянные вояки топтались на покрытом вязкой грязью покато́м пространстве.

Знамена Арима превратились в клочья; почти ни одно не уцелело. Мацукура стоял как раз за отрядами Арима. Он вступил было в бой, но и это кончилось плачевно.

Когда взошло солнце, Тадакуни Арима ужаснулся; он не узнал окружающих крепость склонов. Знамен с крестом по белому полю развевалось на стенах против прежнего вдвое, — а внизу все напоминало долину реки после наводнения: огромные камни, между ними застряли толстые бревна, но еще больше, чем камней или бревен, — трупов... От горящих бамбуковых лестниц и решеток поднимался белый дым. А на решетках повисло множество мертвых тел.

Старого Инацугу нигде не было видно. Неужели и он убит?

Стало совсем светло. И тут из замка, где до сих пор молча, сосредоточенно убивали врагов, впервые грянул боевой клич:

— Сант... Я...го!..

— Сант... Я...го!..

Голоса звучали все громче, сильнее, пока не слились наконец в мощный хор.

— Сволочи! Орут свои заклятья...

А сверху горделиво и победно несло: «Сант-Яго!.. Сант-Яго!..»

Тадакуни рассеянно смотрел на бредущих мимо воинов. Вот кто-то тащит самурая, перекинув безжизненное тело через плечо, животом вверх. Самурай кажется переломленным пополам. Тадакуни остановил солдата, спросил, что случилось. Солдат ответил, что его господину бревном перебило позвоночник. У другого самурая огром-

ным камнем был разорван живот. Из-под кольчуги свисали кишки, волочась по земле, словно длинные, толстые веревки розовато-белого цвета. Тадакуня присмотрелся — самурай еще дышал, зажимая руками рану, как будто хотел запихнуть кишки обратно в живот... Вот слуги несут господина, разрубленного от плеча до груди и почти голого. Они рыдают так громко, что даже не слышат вопроса Тадакуня, и, не глядя на него, проходят мимо.

Накануне сражения Итакура приказал сыну находиться в арьергарде войск Мацукура. Сигэнори не стал перечить, хотя ему, конечно, хотелось быть в числе первых. Отец отдал ему почти весь свой личный отряд, добавив пятьсот человек, присланных Сигэмуна из Киото.

К семи часам утра исход битвы был предрешен. Здесь хватило бы трех слов — обращены в бегство! Но Итакура все еще не решался признаться в этом. Окруженный небольшим числом всадников, он скакал на черном коне в полном облачении, за спиной развевался боевой стяг с полумесяцем. Размахивая жезлом, он бросался от одной толпы отступавших к другой.

— Неужели струсила, молодцы? Поворачивайте обратно! К крепости! За мной! — кричал он.

Но войны Арима не хотели больше сражаться. Давя своих солдат, Итакура помчался к лагерю Мацукура.

— Войско Арима несет большие потери. Нельзя оставить их без поддержки. Прошу вас немедленно выступить на замену!

Мацукура был мрачен.

— Мы деремся с самого рассвета до сего часа. Но против огня смутьянов мы бессильны. Решили на время отступить — посмотрим, как пойдет дело дальше. И вам, господин Итакура, советуем сделать то же...

— Ждать! Вы... Именно вам пристало бы... — У Итакура вырывались слова ненужные, да и бессмысленные в такую минуту. — Вы, вы виновны во всей смуте! Вам следовало сражаться впереди других... Не хотите? Вы попладитесь за это!

Что же Мацукура? Отважно бросится в битву или пропустит угрозу мимо ушей?

Мацукура молчал. Никакие силы не могли бы сейчас заставить его вступить в бой. Сигэнори с отрядом не вид-

по. Как только Итакура отъедет, Мацукура отдаст приказ отступать, и тогда уже сын Итакура примчится за поддержкой.

Вне себя от ярости, Итакура поскакал прочь; он тут же послал одного из приближенных к князю Тадакуню Арима.

— Прошу не присылать ко мне гонцов слишком часто,— отвечал Арима.— Мы штурмуем замок с самого утра, но буштовщики осыпают нас градом пуль и стрел, у нас множество раненых и убитых, и ваши гонцы только мешают нам. Сейчас мы подбираем убитых и раненых. Дайте срок, и мы ворвемся в крепость...

Значит, и Арима выжидает.

Тогда Итакура послал Ивая к князю Татибана. Войны Татибана завтракали, как ни в чем не бывало. Время от времени, точно спохватываясь, они стреляли из ружей и издавали боевой клич.

— Насколько могу судить, князя весьма храбро атакуют смутьянов, и крепость скоро падет,— хладнокровно отвечал Татибана.— Тогда мятежники непременно побегут к моему стану. Я должен встретить их достойно — в согласии с точными указаниями господина Итакура.

В свое время Татибана тоже пришлось туго, но никто не поспешил ему на выручку, и потому сейчас он отнюдь не собирався посылать свое войско на помощь другим.

— Когда мятежники побегут, мы станем их добивать... Вот моя задача на сей раз...

От Набэсима посланец долго не возвращался. Войско у Набэсима самое большое, но ему достался и самый обширный участок осады. Воинов отделяла от крепости речка, вздувшаяся из-за прилива, мелководная бухта и крутые утесы. Сбиваясь в кучи, войны становились превосходной мишенью для лучников и стрелков.

— Это конец...— сказал себе Итакура. И все же не посмел отступить. С тыла его подпирало правительство — вот-вот придет Мацудаира, князь Идзу. А слова и сирава конопшались князя, злобно следившие за действиями друга.

Подбежал Сигэнори.

— Отец, князь Арима труслив и не желает двинуться с места, а князь Мацукура...

— Знаю. Не смотри на трусов! Будь с теми, кто стремится вперед. Бейся отважно...

Сигнорин поскакал в лагерь Мацукура. Наверное, просить о повторении атаки.

Отец видел сына в последний раз.

XXXIII. Первый день первой луны

(Продолжение)

Ивая и сам не мог бы объяснить, почему ощущает страх. Но лицо Итакура, взгляд, которым он провожал сына, — все предвещало близкую развязку.

Ивая направился к ставке Арима. Ему никак не удавалось пустить коня вскачь — мешали толпы воинов, тащивших раненых и убитых. Тадакуни он нашел не сразу — сказали, что князь отлучился по какому-то делу в лагерь.

— Ну-ка, пошевелитесь еще разок! Или мните себя великими героями?! — заорал Ивая старому Инацугу — тот сидел, обхватив руками распухшее колено, и не поднимал глаз от земли.

— Не взвольте гневаться, мы подбираем раненых и убитых... Прошу вас, повремените немного, — тихо попросил он.

В такой просьбе не откажешь. Будучи человеком военным, Ивая и сам видел и понимал все. Прав Инацугу, потерь слишком велики, идти на приступ снова невыносимо. Что он доложит Итакура?

Однако вышло, что доклада более не требовалось. Ивая не сдержал удивленного восклицания. Итакура слез с коня и засунул свой жезл за пояс. Значит, отныне он занимает место простого пехотинца и берет в руки копьё и меч.

Прикрывал Итакура небольшой отряд, менее двух десятков людей: свита и несколько гопцов, в разное время посланных князьями. Итакура побежал вверх по склону. Он размахивал копьем — семейной святыней, переходившей из поколения в поколение, — и прозательно вскрикивал.

В крепости, разумеется, тотчас догадались, кто перед ними: па Итакура были нарядные доспехи ярко-синего цвета, за спиной — боевой стяг с полумесяцем. Слепой и

тот понял бы, что это — сам верховный военачальник. После отступления Арима и Мацукура в крепости произошла замена бойцов. Вместо охрипших, усталых голосов полстелли из-за стены сочные, сильные.

Ивая загородил Итакура дорогу. Ему хотелось крикнуть: «Вы обезумели!» Но вместо этого он произнес:

— Осмелюсь заметить, посланнику сёгуна и военачальнику не пристало так поступать.

— Я знаю, что делаю, — услышал он почти спокойный голос. — Я — начальник, ты — мой помощник. Если мы вместе пойдем туда, это придаст духа остальным. И не тревожься, я в здравом рассудке!

Ивая похолодел. Лицо у Итакура было иссиня-бледное. Будто отмеченное смертью!

Место для атаки Итакура выбрал неудачное: между Вторым и Третьим бастионами словно протянулось узкое ущелье. (Правда, в случае успеха, отсюда можно было с выгодой развивать дальнейшее наступление.)

— Воли ваша... — пробормотал Ивая.

Он оглянулся и увидел неподалеку Дзиндзабуро Мацудайра, Сакакибара и Баба с копьями в руках. Итакура вытаскил из-за пояса жезл — золоченый, он блестел в лучах солнца — и, обернувшись, пронзительно-хриплым голосом закричал:

— Вперед! За мной! В атаку, молодцы!.. — Но никто не последовал за своим вождем.

Все стрелки, все лучики крепости целились теперь только в маленький отряд Итакура. Мацудайра, Ивая, Сакакибара и Баба бросились врассыпную, спасаясь от огня и стрел. К основанию стены вел подъем длиною около тридцати коп, а Итакура и его свита проворством молодости не отличались. В тяжелых доспехах они медленно бежали вверх.

В дело вступили мастера стрельбы из дерева Ипэ; половина отряда полегла, перебираясь через огромные каменные глыбы и бревна, сброшенные утром во время штурма. Пули и стрелы не давали поднять головы. Слова раздались мощное:

— Сант... Я...го!..

Итакура божал, размахивая жезлом, опираясь на копьё, как на посох. Задыхаясь, он все же добрался до подножья степы, на которой сверкали металлические наконечники бамбуковых копий и топорики алебард.

Подул ветер. Едино атакующие достигли стены, как из-за леса копий на них посыпалась горячая слепящая зола. Стрелки из Миэ стреляли теперь сбоку, пули летели вдоль стены.

Вот длинное копьё нацелилось на Итакура. Кобаяси — оруженосец и телохранитель — поддел мятежника копьём, стащил со стены и тут же отрубил ему голову. Приближенные надеялись, что Итакура хоть немного передохнет, но он уже ухватился за решетчатую обшивку стены. В этот момент оттуда швырнули огромный камень.

Камень врезался в самую макушку шлема. Итакура рухнул наземь. Один из повстанцев зацепил длинной «медвежьей лапой» боевой стяг Итакура и потянул к себе. Стяг разорвался. Итакура попытался встать, опираясь на застрявшее в стене копьё. Копьё сломалось. И тут же в сердце ему угодила пуля. Кровь хлынула струей. Покачнувшись, он упал на обезглавленный труп крестьянина. Кобаяси, отшвырнув голову, бросился к господину. Голова заскакала вниз по круче.

Ивая стоял поодаль, ближе ко Второму бастиону. Стрелы и пули летели здесь чаще сверху, чем сбоку, а стоило кому-нибудь из карателей взобраться на парапет, к нему тотчас же сбегались повстанцы с длинными копьями, точь-в-точь рыбаки, бьющие рыбу острогой.

Ивая взмахнул копьём снизу вверх, но кто-то из повстанцев намертво ухватил его копьё кончиком накопечника, а одно из длинных, сверкающих копий, угрожающе нацеленных сверху, приподняв наплечник, пронзило ему плечо. Рапа была не тяжелой, но удар свалил Ивая с ног. Копьё его сплюснлось дернулось, однако рук он не разжал. Тогда перерубили древко.

Боевой стяг Ивая — вышитая золотом пятерка на бледно-голубом поле — был разодран в клочья.

Дзипдзабуро Мацудайра вышел на бой в роскошной одежде, за спиной у него торчал тройной алый стяг с пучком белых перьев. Когда под прикрытием самураев он стал пятиться назад, стяг послужил превосходной целью для крепостных стрелков. Поначалу пули падали Дзипдзабуро — они валили одного за другим его приближенных, но затем и он был рапен в ногу.

Рядом с Итакура лежали его самураи Огава и Акабанэ. Остальные, подхватив Итакура, стали спускаться вниз. Не прошла она и десяти шагов, как он испустил дух. Тело

уложили на одну из валявшихся кругом лестниц. Когда Ивая подбежал к ним, Итакура был уже мертв. Опустившись на землю спиной к замку, у толстого бревна, служившего ему защитой, Ивая пытался собраться с мыслями.

Сигэнори кричал, — сколько хватало силы в молодом голосе, — он требовал от Мацукура повторения атаки.

— Можно ли спокойно смотреть, как гибнут другие? Только там, в крепости, вы найдете свою честь!.. Я помогу вам — ведь так и было решено!

Мацукура холодно ответил:

— Приказать начать атаку — недолго, да навряд ли мы возьмем крепость одни. Здесь потребны соединенные усилия всех господ князей. А посему посмотрим, как пойдет дело дальше.

Мацукура издевался над ним, прозрачно намекая, что не ему бы здесь приказывать.

Сигэнори настаивал.

Но князь не собирался идти на верную смерть, подобно Итакура или его отпрыску. Итакура — посланник сёгуна, а он, Мацукура, хоть и впопыхи в смуте, как-никак владетельный князь, у него здесь замок и земли. Погибнуть от рук собственных мужиков? Этого еще не доставало!

— В таком случае мы атакуем первыми! — обратился Сигэнори к воинам отца и воинам, присланным дядей Сигэмуна. — Воины Мацукура, за мной!..

Но воины Мацукура продолжали сидеть. Они не собирались нарушать свой отдых. Расталкивая их, Сигэнори рванулся вперед... Земля, которой засыпали заливное поле, пропиталась водой, и ноги вязли. Вдобавок, часть поля перед крепостью только начали засыпать, и оно превратилось в жидкое месиво. До крепости было еще довольно далеко, когда пал, сраженный пулей, самурай Гэндзаэмон Кото, несший бунчук. Бунчук у Сигэнори был очень красивый — красная тыква-горлянка на длинном песте, а сверху маленький медвежонок. Теперь тыква валялась на земле.

«Вперед! Вперед!» — подбадривал воинов Сигэнори. Место для лобовой атаки было на редкость неподходящим. Бастион стоял на высоком холме, воины пытались подойти к стенам, забрасывая заболоченное поле лестницами и

бамбуковыми щитами. Все было тихо. Болото оказалось таким глубоким, что, свалившись с лестницы, невозможно было влезть снова. Те, кто добрался наконец до подножья замка, не знали, что делать дальше. Сигэпори растерялся...

Ивая вдруг заметил, что справа от него отчаянно бьется отряд Сигэпори, сражается в самом неприступном и трудном месте. «Бейте в гонг!» — приказал Ивая.

Отступление... Сигэпори отходил под торжествующие крики врага. Правда, лишь немногие поняли, что удары в гонг — сигнал к отступлению. Линившиеся начальников, потеряв связь друг с другом, войны метались по полю. Окровавленные, перемазанные в грязи, не смея отступить и не в силах проинкнуть в крепость, они бессмысленно гибли под пулями повстанцев.

Войско Набэсима растерянно топталось на берегу вздувшейся от прилива речки и несло тяжелые потери. Когда пришла вест о гибели Итакура, самураям выдали саки, и они снова пошли в наступление; число убитых и раненых увеличилось.

К полудню штурм закончился. Поражение было полным.

Раненых и убитых оказалось четыре тысячи человек. Наибольший урон понесло войско Набэсима. Другие отступили в десять часов утра, но Набэсима не услышал сигнала к отступлению и держался до двух часов пополудни.

Среди воинов Татибана, весь день без толку проторчавших на берегу Арима, убитых или раненых не было вовсе.

Тяжело раненные стали умирать после полудня, легко раненные стонали, уцелевшие валялись от усталости. Накануне почти никто не спал, и теперь все, кому не нужно было убирать трупы или ходить за ранеными, уснули там, где их застал сон.

Повстанцы, по слухам, потеряли не то девяносто человек, не то даже пятьдесят. Во всяком случае, не более сотни.

В стане карателей все затихло. К лебу тянулись густые столбы дыма — это сжигали на кострах трупы. В сумерки задул порывистый ветер. Он дул с моря, донося ликующее пение врагов, и, смешиваясь с дымом, пахнувшим смертью, несся к подножью Ундзэн...

В ставке стояла глубокая тишина. Сигэпори выслушивал соблазнования князей, но отвечать был не в силах.

Убито более двадцати гонцов, присланных князьями из разных частей Япоии. Как объяснить их гибель? Виповны в этом те, кто их прислал сюда. Но кому до этого дело? А спросят с оставшегося в живых Ивая!

Нет, не в том его долг, чтобы безотлучно пребывать подле бездыханного Итакура! И Ивая решил — послал за помощью к князьям Хосокава, владельцам Хиго, к Курода в Тикудаэп, к Симадзу в Сацума. В свое время Итакура не раз собирался обратиться к ним за помощью. Но почему-то не решился. Почему? Сейчас не время размышлять об этом.

Ивая проводил гонцов, затем, переговорив с Сиганори, распорядился отправить тело Итакура в Симабара, в храм Этодзи, и предать там сожжению. Прах Итакура ближнему самураи Мурасамэ и Ито должны были доставить в Киото — пусть старший брат распорядится о погребении...

Ивая проводил тело Итакура до побережья Арима. Пронзительно свистел ветер. На обратном пути Ивал захватил в лагерь Татибана, приказал выделить воинов на случай внезапной вылазки, затем побывал у Арима, Набэсима, Мацукура и Исахая, распорядился немедленно привести в порядок разрушенный кое-где частокпол. По самой земле стелился дым, пахло горелым человеческим мясом.

Чем бы ни окончилась битва — победой или поражением, — на смену тут же является политика.



Не успел Ивая вернуться в ставку, как навстречу ему выбежал один из тайных агентов Дзиндзабуро и сообщил, что войско князя Идзу и рыцари Тода вот-вот прибудет в Кокура. Князь Идзу спокоен, зато рыцарь Тода весьма разгневан тем, что крепость еще не взята.

Ивая созвал на совет Дзиндзабуро Мацудаира, Сакакибара и Баба, Хаяси и Макино и Сигэпори Итакура. Они доложили о потерях.

Часть войск княжества Набэсима все еще продолжала сражаться, так как приказ об отступлении не был доведен до отрядов. Но сейчас это уже не имело существенного значения. Вопросы войны отступали на второй план. Теперь следовало думать о трудностях политических! Иными словами — держать ответ перед правительством сёгуна.

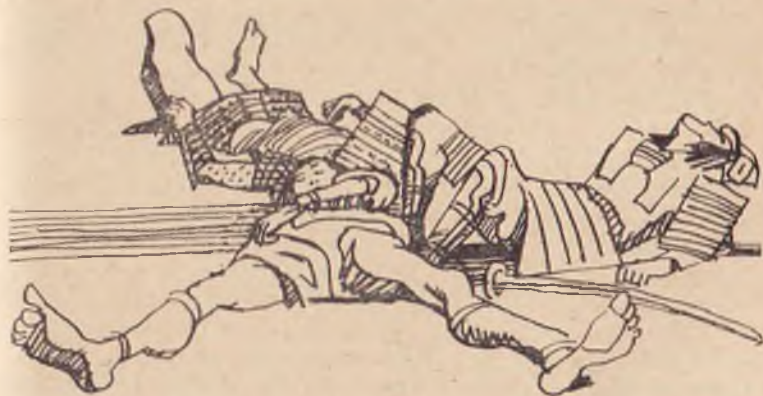
Следует ли сразу сообщить обо всем в Эдо? Или послать донесение князю Идзу?

Однако никто не извещал их, что князь Идзу и рыцари Тода стоят рангом выше, чем Итакура и Ивая...

Значит, докладывать прямо в Эдо. Но как? Как лучше составить донесение?

К вечеру Ивая написал следующее:

«По договоренности со старшими самураями княжества Набэсима, Арима, Татибана, а также Мацукура, подтвердившими согласие свое питурмовать крепость, произвели мы сегодня на рассвете нападение на смутьянов.



Хотя воины Набэсима подступили близко к крепостной стене, преодолеть ее они не смогли. В войско Набэсима имеется некоторое количество раненых и убитых.

Воины Арима еще до рассвета придвинулись к стенам крепости, но, встретив изрядный отпор, отступили, имея немало раненых и убитых.

Князь Мацукура с войском не смог подойти близко к крепости, но некоторые его самураи сражались храбро, и в его войске имеется много раненых и убитых.

Когда войска князей Арима и Мацукура не смогли далее двигаться, мы, во главе с командующим Итакура, вышли вперед, приказав им следовать за нами, но они не последовали. Мы добрались до стены, призывая остальных двигаться вслед за нами, но ни один человек не помог нам. Сигэаки Итакура был убит в тот самый миг, когда ухватился рукой за край стены. Я был рядом с ним и тоже получил ранение. Два его ближних самурая убиты. По этой причине мы отступили.

В войске князя Татибана все целы.

Первого дня первой луны.

Садакиё Ивая».

Если они там, в Эдо, прочтут его письмо внимательно, то поймут, что за причины побудили столь внезапно предпринять штурм, да и ход самого сражения станет им понятен.

С наступлением ночи ветер утих.

Ивая вспомнил, что перед рассветом Итакура, уже отъезжая, сказал ему:

— Итак, с Новым годом...

Потом он вдруг заговорил о божественном покровительстве, которое даровало небо самураям... Конца Ивая не расслышал. Голос Итакура поглотила предрассветная тьма.

XXXIV. Полчища мух

На совете, созванном Ивая на следующий день, было очень невесело. Тадасигэ Татибана подробно перечислил потери своего отряда в предыдущем штурме, и едва сдер-

живался, чтобы не сказать: «Ну как, попробовали?» Молодой Итакура сидел подле Ивая и угрюмо поглядывал на Мацукура и Арима.

Если так пойдет дальше, войску карателей грозит полный разброд. Если Арима и Набэсима скажут сейчас, что вынуждены отойти, дабы пополнить ряды, Ивая не возразит им ни словом, потому что их потери действительно велики.

Однако было некое обстоятельство, которое удерживало князей, — прибытие князя Идзу и Тода. Их ожидали назавтра. Князья имели случай вновь убедиться в существовании центральной власти.

Набэсима, Арима, да и все, что сидели здесь, — знатные, могущественные владетели, и еще недавно были на равной ноге с Токугава. Правда, теперь главы родов должны были по закону находиться при дворе сёгуна, они и сейчас там находились, однако их отпрыски по-прежнему не желали являться с худородными исполнителями воли Иэмицу. Итакура был посланником правительства, но для них он оставался всего лишь способным чиновником, выскочкой. Прибытие новых посланников само по себе не озаботило их. Для них — так им сначала казалось — это было нечто вроде возведения второй крыши над уже существующей, а Мацудайра — владетель замка Оси в Мусаси, каких-то тридцать тысяч коку дохода, да войско немногим более тысячи человек — и Тода — маленький замок Огаки в Мипо, две тысячи сто пятьдесят человек войска, — были просто способными чиновниками, и только. И все же, пусть этот Мацудайра — самурай не настоящий и не знаток военного искусства, князья не должны позволить, чтобы его постигла судьба Итакура, погибшего, можно сказать, на их глазах. Княжеская честь не допускает этого. Придется, кроме того, отвечать за нерадивость и нерасторонность. А Иэмицу не упустит случая расправиться еще с одним знатным родом.

Личность военачальника, его происхождение и боевой опыт уже лишены значения. Князья в полной мере ощущали это. Времена «воюющих княжеств» давно прошли. Бесплезно предаваться воспоминаниям о былых сражениях. Наступили иные времена. По этим временам уже нельзя было не считаться с Мацудайра, князем Идзу, посланником правительства, начальником, каким бы худородным он ни был, потому что князь Идзу исполнял волю

сёгува, и всякий приказ князя Идзу неизбежно становился его приказом...

Совещание не решило почти ничего. Вот только к приезде Мацудайра и Тода нужен новый дом с комнатами для приемов и для отдыха, а крышу крыть нечем. Ни камыша, ни томá — густой камышовой плетенки, ни древесины не осталось — весь лес в окрестностях замка вырублен. Придется, видно, опять просить князя Хосокава...

Ивая внимательно наблюдал за князьями. Татибана держался высокомерно, ни на кого не смотрел. Удрученный огромными потерями, Набэсима не поднимал головы. Лица Арима и Мацукура были искажены бессильным гневом. Хорош Новый год! У Мацукура в живых осталось только восемнадцать самураев. У некоторых его вассалов жены и дочери томились в крепости, в бараке для заложников. Его люди сражались с беззаветной храбростью и погибли. А как бранили его вчера и Итакура, и Ивая, а затем и Сигэиори!

Разглядывая лица князей, Ивая думал о Мацудайра. Князь Идзу — умел, очень умел. Он в расцвете сил, ему сорок два года. Сумеет ли он собрать войска в кулак и одним ударом овладеть крепостью? Предпочтет ли долгую осаду и примется вновь строить заграждения и рогатки, как то предлагал Итакура, чтобы не спеша уморить бунтовщиков голодом? Так будет или по-другому, непреложно одно — Мацудайра одолеет укрывшихся в крепости мужиков и ронинов. В этом можно не сомневаться! В противном случае что ожидает здешних князей?

И если Мацудайра это удастся, заслугу его будет трудно переоценить. Почему? Да потому, что тем самым он докажет, что при центральном правительстве, постепенно укрепляющем свою власть, любой мятеж обречен на поражение, попросту невозможен, что невозможен так же союз крестьян и ронинов. Те из ронинов, у кого есть услуги, будут взяты на службу правительству, а мужики навек останутся мужиками. Сейчас христианство объединяет их; следовательно, уничтожение христианства предотвратит возможность нового союза ронинов и крестьян. Восстание ронинов? Ну, его подавить много легче.

Мысль Ивая прихотливо разветвлялась, как ветки дерева, по одно ему было ясно — подавление мужицкого бунта необходимо для дальнейшей карьеры Мацудайра. Вот что важно! Ступеньки новой общественной лестницы

замечаются с каждым днем все более твердо и определенно. И вот еще что важно! В ответе он за гибель Итакура или нет? Может быть, ему надо скакать в Симабара и встретить Мацудайра там?

Но Ивая решил остаться и ждать.

В третий день первой лупы Мацудайра и Тода морем прибыли в Симабара. Они уже получили известие о гибели Итакура. Поручив командование старшим самураям и Тэруцуна, сыну Мацудайра, они поспешили в замок, где потребовали подробного доклада обо всем, что случилось с самого начала восстания. Особо расспрашивали о гибели Итакура.

Будучи в дороге, Тода каждый день нетерпеливо ожидал вестей о падении крепости. Он надеялся втайне, что Итакура удастся овладеть ею прежде, чем они с Мацудайра придут туда. Еще из Кокура он отписал князю Огасавара, что намерен покончить с мятежниками на следующий же день по прибытии в Симабара. «Мыслимо ли столько возиться с этой сволочью? — раздраженно писал он. — Что подумают о нас в заморских странах? Да и в самой Японии, того и гляди, над нами начнут смеяться. Несчастье спасает нас: что, если б не мужичье, а князья восточные или же западные вопли в стовор и начали восстание?» Тода был крайне удручен и встревожен. Вспоминал о своем письме к Итакура. В тот день тоже шел снег... Ему вспомнилось даже, как он подумал тогда: «Странно, здесь, на юге — и вдруг снег...»

Мацудайра сдерживал нетерпение Тода. Еще в дороге он понял, что когда тридцать с лишним тысяч человек сплочены единою волей, то справиться с ними нелегко, даже если это чернь.

Именно это порождало его сдержанность и осторожность. Вот почему весть о разгроме в новогоднем сражении, которая потрясла Тода, оставила Мацудайра спокойным — по крайней мере, внешне.

Лазутчики, посланные в Симабара, принесли неожиданные вести, и первая неожиданность была та, что горожане не только не скорбят об Итакура, но, напротив, говорят о нем с пренебрежением. В пример были приведены дерзкие стишки, в которых высмеивался Итакура. Пораженный Тода молчал, не находя слов.

— Да, здешними землями управлять нелегко...— задумчиво пробормотал Мацудайра.

Почему же местные жители, которые немало терпели от христиан, показывают такую враждебность к представителям власти? Принять меры против враждебных настроений народа, глубоко скрытых в сердцах и, казалось бы, столь беспричинных, составляет, пожалуй, высшее и наиболее трудное искусство в политике! Но самое мудрое, очевидно,— попросту не обращать внимания — пусть думают что хотят...

Один из лазутчиков сообщая, что в мужицкой крепости укрывается Танго Токи с семьей.

— Кто, Танго Токи? — удивился Тода.

Танго Токи — одного из сподвижников Хидэёси считали погибшим при падении Осацкого замка. Однако не прошло и двух-трех лет, как он появлялся то здесь, то там,— словно из-под земли. Поговаривали и о других сподвижниках Хидэёси, якобы продолжающих скрываться в тайниках.

— Обычная болтовня...— небрежно заметил Мацудайра, хотя известно это не показалось ему пустяком, ибо означало, что власть сёгуна не всепильна, как полагают в Эдо. Значит, сейчас годятся любые средства. Дело должно решиться любым способом, любой ценой...

В четвертый день первой луны они прибыли в Арима и тотчас же верхом объехали осажденную крепость.

— Это не замок, а просто-напросто укрепление, построенное на холме и защищенное с трех сторон морем...

— Да, пожалуй...— спокойно переговаривались они, но в глубине души оба тревожились.

Труны все еще продолжали убирать, так как уборщиков не хватало. Над псадиками, так и порою укусить их в лоб, кружились огромные черные мухи. Мухи кишми кишели на трупах, черным роем покрывали человеческие внутренности и нечистоты.

— Проклятые мухи! — вырвалось у Тода.

Оба были потрясены психодом недавней резни. Мацудайра, кроме того, неприятно удивило множество ронинов в лагерях. Их было гораздо больше, чем он ожидал,— этих людей с жадным, голодным взглядом. Пусть сейчас им удалось наесться досыта — алчное выражение по

исчезало из их глаз. Некоторые были здесь с сыновьями; появилось новое поколение рошипов: лет им было по двадцать и более, и глаза светился тот же голодный блеск, что и у отцов.

Среди рошипов, примкнувших к отряду Сигэнори, был невысокого роста юноша, одного почти возраста с Сигэнори, губастый, со светлым лицом, узким лбом и большими черными и очень умными глазами. Его звали Гонноска Юи. В новогодней битве он не участвовал, но пристально следил за ходом сражения.

На стенах крепости не было никого, кроме дозорных. Смутьяны тоже устали и теперь, видно, отдыхают... Осмотрев крепость, Мацудайра и Тода приказали князьям и старшим самураям собраться в ставке.

Мацудайра негромко произнес: «Благодарю за труды!» — и, ограничившись этим кратким приветствием, сразу же перешел к делу. Он потребовал, чтобы все князья и старшие самураи доложили о сражениях десятого и двадцатого дня двенадцатой луны, а также — о последнем штурме. Если что-то казалось ему неясным, он без стеснения прерывал, переспрашивал. Старейшины сидели как на иголках, — опасаясь, как бы молодые князья не сболтнули лишнего. Сейчас Мацудайра был для них не просто владельцем маленького провинциального замка, он олицетворял собою столичную власть. И только неопытные юнцы все еще никак не могли усвоить эту простую истину. В столице они безоговорочно признали бы полномочия Мацудайра. Но здесь, в своих вотчинах, во главе собственных войск, они чувствовали себя вполне независимо. Между тем Мацудайра был облечен полномочиями, намного превышавшими его прежнюю власть в Эдо, и молодым князьям пришлось наконец уразуметь это. Вопрос следовал за вопросом. Теперь только Мацудайра понял, с какими трудностями пришлось столкнуться Итакура.

— С прошлого года... — слова эти больно кольнули всех, — с прошлого года, несмотря на отвагу и доблесть, мы терпим неудачу за неудачей. Главная причина, я полагаю, в том, что бунтовщиков вы считаете недостойным противником, просто-напросто мужичьем. Отныне вам предстоит укрепить заграждения и насыпать высокие насыпи, с них должно быть видно все, что происходит за степной крепостью. Далее, в каждом лагере надлежит постро-

ить башию и проложить перед лагерем дорогу шириной в пять кэн. Мы усилим осаду, дождемся, пока у мятежников иссякнут шниця и боевые припасы, — словом, возьмем их измором... — Мацудайра говорил пегромко, бесстрастно, но слова звучали четко, и смысл их был понятен всем.

Приказы сыпались один за другим. Соседним княжествам предписывалось поставить древесину, бамбук, тростник, соломенные мешки, телеги, а также рис и зерно. Все расходы будут со временем оплачены в Осака серебром...

Прибыл казначей Носэ и без промедления взялся за дела. У Мацудайра имелось несколько незаполненных счетов с печатью сёгуна Иэмицу. Казалось, что его казна поистине неисчерпаема.

Не пройдет и десяти дней, как из Осака, словно мухи на сладкое, слетятся оптовые купцы. Дозволено приехать и торговцам мелким товаром. Мужчины перестанут гоняться за мальчиками: вскоре сюда слетятся еще и другие мухи — красотки; они станут удириться своими лапками и торговаться с мужчинами, назначая цену за свои прелести.

Князь Идау, как и его предшественник, устраивал совещания, все вопросы обсуждал с князьями, но затем каждое решение неукоснительно заносилось на бумагу, а подписанные Мацудайра и Тода приказы доставлялись во все боевые лагеря. Но успел, скажем, Набасима или иной князь, чей лагерь был далеко от ставки, вернуться к себе, заехав по пути к кому-нибудь из соседей, а его уже встречал посланец Мацудайра с новым приказом, получение которого надлежало подтвердить собственноручно. Установили косацу — подобие доски для объявлений и приказов.

Мацудайра старался пресечь любую возможность свары между князьями. Самовольные боевые решения были запрещены. «В свое время князья на все получают указания», — объяснил Мацудайра и подкрепил это письменным приказом. Старые самураи поначалу даже растерялись.

— Этак, пожалуй, и на крепость пойдем по строчкам приказа... — заметил один из них, глядя, как Ипацугу пишет расписку в получении приказа и подает бумагу князю Тадакуни, чтобы тот подтвердил расписку собственноручно.

— Так оно и будет! — невозмутимо подтвердил Инацугу.

Отныне молодому князю, с мрачным видом выводящему кистью подпись под приказом, следует хорошеенько попятить, что одна такая бумажка способна вмиг уничтожить княжеский род, даже самый старинный и знатный...

Итакура надрывал голос до хрипоты, но так и не сумел подчинить себе князей. Мацудаёра же заставил их повиноваться с помощью презренного клочка бумаги.

Тогда по поручению Мацудаёра еще раз посетил Сигэнори и выразил соболезнование по случаю гибели отца. Тогда отправился к Сигэнори в сопровождении Тэруцуна, шестнадцатилетнего сына Мацудаёра, и двух собственных сыновей — Удаёси и Удзицуэ; с ними был и Ивая. Они застали Сигэнори беседующим с молодым бледнолицым ронинем.

— Говноскэ Юи, — представился ронин.

Когда через несколько лет Ивая стал первым помощником Мацудаёра, наместником города Эдо и начальником полиции, ронины доставили ему немало хлопот *. Он узнал тогда, что юлоша, встреченный им в Симабара тринадцатью годами прежде, и есть знаменитый военный теоретик и ученый Юи Сёсацу. Юи протрез отказался обучать военному делу князей. Только для одного сделал исключение — для Сигэнори...

Мацудаёра тем временем вел деловую беседу с казначеем и с Хэдзо Суэцугу. Как быть с мункетами, порохом, а также с ремонтом оружия, с досками, веревками, рогожей, камышом, соломенными мешками и телегами? Где нанять плотников, кузнецов, скороходов, землекопов, возчиков и лошадей? Во что это обойдется? Хэдзо — жадный торгаш, колониальный купец. Это уже не просто муха — это клещ, подлинный клещ. «А если заказ вашей светлости обойдется больше, чем в сто кап серебра?..» — «Согласен». — «А если не хватит леса и досок, то придется разобратъ дома в Симабара и Нагасаки...» — «Отлично!»

После ухода казначея Мацудаёра и Хэдзо, понизив голос, перешли к секретной беседе. Теперь в речи Хэдзо то и дело звучали слова «голладцы», «Кукебеккер». Из купца он превратился в дипломата.

В этот вечер Мацудаёра допоздна занимался с должностными лицами и людьми самыми разными. Вдруг он уловил подозрительный шорох из-под пола. Оказалось,

там сидит человек. Его схватили; он сказал, что был нанят убирать трупы, но вдруг запел и решил поспать. Мацудайра усмехнулся, велел дать ему лекарство и отправить в тюрьму.

Но успел он улечься спать, как за оградой послышались крики: задержали повстанца. За пазухой у него пашли пистолет. Мацудайра не столько испугался, сколько удивился. До чего беспечна охрана! Просто чудо, что Итакура не отрезал голову во сне!..

XXXV. Мир тщеты

Мокрый снег, вынавший накануне Нового года, был прощальным знаком зимы. Крестьяне и не заметили, что кое-где в замке уже цветут камелии, а на камфарных деревьях набухли мягкие, нежные почки.

Вот уже месяц, как осажденным приходилось одновременно сражаться и укреплять разрушенный замок. Едва утихал бой, они выходили из крепости и собирали камни и бревна. Подбирали они и оружие, доспехи, фансины — словом, все, с чем пришли под стены крепости в ночь перед штурмом войска Арима и Мацукура. Противник поставлял им все необходимое.

И все же постепенно сказывалась душевная усталость. Да и как не пасть духом за столь долгое время! Многие повстанцы, освободившись от тяжелого крестьянского труда, поначалу даже радовались: «Легкая настала жизнь!» Но вот то в одном, то в другом месте крепости начали появляться возделанные клочки земли. Повстанцы украдкой наведывались к сторожам, охранявшим запасы зерна, и выпрашивали хотя бы горстку семян.

Если бы им удалось вернуться к привычным крестьянским заплатам, труд, наверно, обрел бы для них новый смысл. Однако надежды возвратиться к родной земле больше не было, и мысль об этом причиняла невыразимую боль.

Карателей, даже в случае полного поражения, ожидало их привычное дело — политика. У восставших крестьян вперед не было ничего, ибо у них отняли главное — труд. И все же руки сами тянулись к заступам и мотыгам — верному оружию в минувших и предстоящих сражениях — и любовно возделывали землю.

Бывших самураев и ронингов не мучила тоска по земле. Не скучал по ней и придурковатый Иноска. Однако никто ни единым словом не упрекнул их.

Об этой тяге крестьян к земле и беседовали вожди восстания, собравшись на совет. «А ведь старуха о-Соло оказалась права...» — озабоченно покачивая головой, размышляли они. Многие вспоминали, как накануне сражения о-Соло бродила по крепости и всех уговаривала: «Воевать не трудно, воевать даже вовсе легко... Война — не трудное дело... Война — скучное дело!» Люди воевали нестепленно, позабыв обо всем на свете; бой ошлялял. Но долг вождей сохранять хладнокровие.

Новогоднее сражение потрясло повстанцев, по его итоги почти испугали их: каратели потеряли самое малое четыре тысячи человек. Весть о гибели Итакура — его подстрелил не то Кинсаку «Понади в иллу», не то Собэй Медвожья Шкура, — разумеется, мгновенно распространилась по крепости. Потери повстанцев были ничтожны: менее двадцати убитых и около шестидесяти раненых. Никто из руководителей не получал даже царапины. В это трудно было поверить.

«Взять крепость штурмом им не удалось, рассуждал Эмосаку, каждый их приступ оканчивался неудачей, и теперь они попытаются взять нас на измор. А против жажды и голода не устоять... «Война — скучное дело...» Хриплый голос старой о-Соло звучал в его ушах всякий раз, когда он видел крестьян в окровавленной грязной одежде на их крохотных полях. Может быть, она одержима дьяволом, эта старуха?»

Совет подвел итоги победы, против ожидания весьма внушительные. В то же время повстанцы заметно упали духом. Как ни велики одержанные победы, по бои становились буднями, привычным делом, а победы в них казались естественным результатом всеобщего порыва, дружных усилий, справедливой наградой неба, накопец... Однако, несмотря на новую победу, положение их никак не менялось. Убито четыре тысячи врагов вместе с верховным начальником, а собственные потери не более восьмидесяти человек, — в обычной войне это было бы полной победой. Они вышли бы из крепости и заставили противника сдать-ся. Но до победы было далеко, и все понимали это.

— Интересно, что там придумал Мацудайра? — проговорил Гэнъамон.

Эмосаку в удивлении поднял голову. Впервые о представителе власти говорилось столь пренебрежительно. Даже их собственный господин, князь Мацукура, жестокость которого вынудила крестьян к восстанию, именовался до сих пор только господином Мацукура или его светлостью.

— Не знаю... Соберет, наверно, всех князей с Кюсю и направит сюда, — откликнулся врач Айдау.

— Это еще полбеды... — заметил Дзэнъэмон Яма. — Зададим им несколько раз хорошую трепку, потом растолкуем, что не хотим ни владений, ни княжеств, а добиваемся свободы для нашей веры хотя бы в Симабара и Амакуса, если во всей Японии пельзя. Эх, если б удалось договориться!..

«Ведь это все равно что требовать земли и княжества?» — мелькнуло у Эмосаку.

Дзэнъэмона слушали с напряженным вниманием.

— Так было бы лучше всего, — сказал Дзимбэй Масуда. — Да только они этого не допустят. Вспомните о муках едиповерцев наших.

— Вот именно так. Оттого-то я и заговорил о вере. Давайте же, благословясь, еще выше поднимем знамя божье в этой крепости, и пусть она станет для всех нас царством небесным, куда войдем мы с господом в сердце. — Голос Дзэнъэмона звучал все торжественней.

Водарилось молчанье. Сиро казался взволнованным. Эмосаку испытывал душевную муку; все, конечно, согласны с Дзэнъэмоном, а ему — ему претят подобные проповеди...

Молчанье нарушил Тюбэй Асидзука.

— Хорошо сказал Дзэнъэмон. Таков наш удел. Да только превратить эту крепость в рай одним нам, выходит, не под силу, тут нужна, так сказать, сторонняя помощь...

И в самом деле получилось так, будто именно каратели должны были помочь осуществлению их мечты. Кто-то фыркнул, раздался смех. Засмеялся и сам Дзэнъэмон Яма, словно соглашаясь, что выразился слишком высокопарно. И тогда весь совет — более трех десятков человек — разразился дружным, веселым смехом, так что даже свита Сиро, толком не зная, о чем речь, присоединилась к неожиданным общему веселью.

«С каких пор смех, словно дурной запах, стал противен мне?» — спрашивал себя Эмосаку. Не смеялся лишь он один.

— Так вот, друзья, — снова делаясь серьезным, продолжал Тюбэй, — нам нужно все время помнить о том, как обращались с теми, кто до конца соблюдал заповеди господни, и, укрепившись душой, подготовиться к любым испытаниям. Вспомните! Чем глубже, чем искреннее была вера, тем ужаснее были унижения, которые она претерпела.

Слова Тюбэя взволновали всех. Чем благороднее и справедливее идеи, чем ближе они к истинной человечности, тем упорнее стремятся сильные мира сего воспользоваться человеческой слабостью для подавления этих идей, добиваясь, чтобы носители нового предавали своих единомышленников и самих себя. Для этого избираются самые подлые, самые низменные средства.

— Тогда уж говорите все начистоту, господин Тюбэй. Здесь больше нет колеблющихся, все — единомышленники. Говорите же откровенно, как господин Дзэнъэмон, — попросил Гэнъэмон.

«Почему он посмотрел на меня?» — подумал Эмосаку. Вновь стало тихо.

— Хорошо, я скажу, — начал Тюбэй, слегка повернувшись к Сиро и Дзимбэю Масуда. — Думаю, что Мацудайра будет действовать постепенно. Он хочет задушить нас жаждой и голодом. Вы уже заметили, должно быть, что противник начал насыпать высокие насыпи. Их насыпали и раньше, но теперь делают еще выше, чтобы вся крепость стала у них на виду. Там же, я думаю, собираются установить пушки, поэтому и нам нужно приподнять стены, укрепить их, а также углубить рвы.

Он сказал о необходимости новых крепостных работ, чтобы как-то сгладить злое звучащее слово «голод» и «жажда». Это поняли все, потому что в глубине души каждый уже думал о страшной угрозе. От жажды и голода нет спасения. Добывать воду и пищу у противника стоит слишком больших жертв, это равносильно полной гибели их маленького *нарайсо*.

Снова наступило тягостное молчание. Вдруг чья-то рука откинула занавес позади Сиро, и перед собравшимися предстал огромный полуголый детина. Девушки в свите Сиро взвизгнули. Эмосаку заметил, что о-Кики прильнула к Сиро, пытаясь спрятаться за его спину.

Это был придурковатый Иноскэ в одной грязной набедренной повязке; с его могучего, ярко блестящего на

солнце тела стекали струйки воды. В зубах Иноскэ держал кефаль длиной с добрый сяку. Его ослепительно-белые зубы впялись в черновато-синюю спинку; кефаль билась, блестя серебристым брюшком, и ударяла хвостом по крепкой мускулистой шее великана. В руках у него тоже было по огромной кефали, он подцепил их за жабры пальцами. Окинув собравшихся суровым взглядом, Иноскэ прошел вперед, опустился на колени перед Сиро и положил рыбу на красный ковер у его ног. Кефаль теперь смиренно лежала на боку, чуть поводя жабрами. Сиро с вежливой улыбкой поблагодарил Иноскэ. Тот встал, еще раз сердито оглядел членов совета и молча удалился.

— Отличная рыба! — нарушил тишину Дзэньэмон Яма.

— Сейчас кефаль вкусная, самое для нее время!

— Даром что дурачок, а пыряет здорово!

— Ну и ловок наш Иноскэ! Все три рыбины на подбор!

— А ту, что в зубах, — схватил поди, как акула!

— Ай да Иноскэ! Ни дать ни взять — настоящий канна!

— К слову! Старая о-Соно вызывает канну из Лотосового пруда. Пусть-де отиравается в далекие края к бывшему нашему князю Арима звать его на подмогу...

Развеселившись, они оживленно обсуждали качества рыбы и ловкость Иноскэ. Казалось, его дар отодвинул, отдалил грозившие повстанцам голод и жажду. Но опасность по-прежнему висела над крепостью — у нее не было крыльев, и она не могла улететь.

Сиро, улыбаясь, переводил взгляд с лежавшей перед ним рыбы на окружающих. А Эмосаку, за все время не пророчивший ни слова, смотрел на о-Кяку: она высушалась из-за спины Сиро, то с любопытством рассматривая кефаль, то устремляя на Сиро восторженный взгляд, и краска смущения постепенно сходила с ее лица. Эмосаку снова приходил в отчаяние. Эта дуручка, конечно, опять видит чудо. И опять станет рассказывать, что, как только рыбу положили перед Сиро, она мгновенно затихла и уснула навеки...

— Ну что ж, господин Масуда, — громко сказал Дзэньэмон. — Пока что назначим каждому, кто с коньком, мечом или с ружьем, по пяти го¹ риса на день... Как думаете?

¹ Го — примерно 150 г.

Улыбки разом сбегали с лиц — все напряженно уставились на Дзэнъэмона.

Время от времени из-за крепостной стены долетал грохот выстрелов.

Решено было выдавать на каждого воина по пяти го риса...

Пули и порох беречь...

Циновки — хорошее подспорье в бою. Пули не пробивают их, колья застревают намертво...

Многое еще предложили опытные уже теперь вожди восстания. Ведь с прибытием князя Идзу осада предстояла еще более жестокая.

— Князь Идзу хитер и осмотрителен. Уж он не полезет вперед, как Итакура, которого даже собственные воины не слушались. Думается мне, что Идзу не захочет зря губить войско и рисковать карьерой, а выберет медленную, длительную осаду, — сказал Дзюдаяу Курахати.

Сиро разглядывал распростертых на ярко-красном ковре рыб с черно-синими спинками и серебристым брюшком.

— Все знают, сколь многие погибли за веру нашу, — тихо заговорил он. — Не было им числа и в нашей стране, с тех пор как пришла к нам истинная вера. Моя матушка и почтенный Кодзаэмон Ватанабэ, поехавший за нею в Удо, схвачены и теперь, наверное, уже в раю... Я принял решение и приготовился к смерти. В нашем замке, словно в царстве небесном, нет более мужиков и горожан, нет среди нас ни старейшин, ни самураев... — На мгновение он умолк, потом продолжал воодушевленно: — Попстиге, все мы готовы сообща принять смерть и вместе возродиться потом к жизни вечной!

На красном ковре ярко блестели рыбы. Повернувшись к о-Киву, Сиро распорядился приготовить кефаль и разделить ее между всеми участниками совета.

Как-то Сиро пригласил Эмосаку в бастион Амакуса, где предстояла панихида по погибшим в новогоднем сражении. Чтобы подбодрить повстанцев, вождям восстания, к величайшему их смущению, приходилось самим читать перед крестьянами проповеди. Сиро и бывший монах Бернардо были парасхват. Впрочем, последнего трудно было назвать правоверным буддистом.

Когда они пришли в бастион, Бернардо был уже там. С невозмутимым видом он изрекал настоящие кощунства:

— Ну, как теперь, уразумели? Наш мир — мир тщеты, истина только в Будде!.. А у христиан еще строже с грешниками — бога можно узреть только после смерти, и не иначе! Господь наш *дэус* отвращает взор свой от тех, кто жалеет расстаться с жизнью...

Сиро и Эмосаку переглянулись. Эмосаку не мог опомниться от изумления. «Наш мир — мир тщеты, истина только в Будде...» Да ведь это слова Сётоку...* Мыслимо ли большее поношение святой веры? Какое кощунство! Двадцать — двадцать пять лет, не более, прошло со времени изгнания испанских *падре*, по как успели извратить святое учение! А Сиро и не думает прервать невежду — с улыбкой на румянном лице он спокойно слушает проповедь нечестивца...

К вящему удивлению Эмосаку, убитый, по которому предстояло служить зауспокойную требу, оказался ростовщиком Дайхати (его алчный взгляд хорошо запомнился Эмосаку). Ростовщика схоронили на Сосновой горе, поставили деревянный крест и написали: «Здесь покоится Педро».

XXXVI. Одержимые

Люди жадно слушали Бернардо. «Ну как? Уразумели?» — спрашивал он время от времени, как бы выделяя этим вопросом важнейшие места своей речи.

— Все вы знаете, что когда-то я был буддийским монахом, а еще до того — христианином. Конечно, я стыжусь, что отрекался от веры. После отречения податься мне было некуда, пришлось вступить в буддийскую секту Фука* и таскать с собой эту флейту. Впрочем, что сейчас толковать... С этой флейтой исходил я немало провинций. Чего только не нагладелся... Да будет вам известно, секта Фука — это вроде ответвления от большой секты Дзэн. Ну, а пока бродишь по разным провинциям, секте до тебя не добраться. Ясно? Уразумели?

Увидев Сиро и Эмосаку, Бернардо умолк. Все разом повернули головы, расступились, освобождая Сиро дорогу. Однако Сиро, сделал знак, чтобы люди не отвлекались, остановился в середине прохода и глазами приказал

следовавшей за ним о-Кикю поставить ему скамеечку. Заметив старуху о-Соно, Сиро сел рядом с нею. Старая женщина низко поклонилась ему.

— Ну, раз к нам пожаловал господин Сиро... — начал было Бернардо, но Сиро тотчас же сказал:

— Прошу вас, господин Бернардо, продолжайте!

— В таком случае я, с вашего позволения, еще скажу... В молодости я был христианином, потому буддийская вера так и не запала мне в душу... А ежели я сейчас говорил насчет того, что все на свете тщета, и истина только в Будде, то ведь так оно и есть. Оглянитесь, доказательств сколько угодно!

Люди начали озираться. Эмосаку тоже невольно оглянулся и рядом со старухой о-Соно увидел Дзюдаю Курахати. Эмосаку не терпел их обоих, — и старуха и Курахати были для него исчадиями ада.

— Я говорю — доказательства перед вами. Потому что вы трижды сражались — и в десятый день, и в двадцатый, и в новогоднюю ночь, — сражались и побеждали. Да, побеждали, да только кого? Ну-ка, подумайте хорошенько... Те, кто держит ныне в осаде нашу крепость — самураи, ронины, простые пехотинцы, — они живые люди, из плоти и крови, точь-в-точь как мы с вами. Разве это не доказательство, что все на свете тщета, а? Уразумели?

Эмосаку взглянул на Дзюдаю Курахати, чье жестокое лицо выражало явное неодобрение. Крестьяне начали перешептываться.

— Так вот... — отерев пот с лица, продолжал Бернардо; подойдя, видимо, к самому трудному месту проповеди, он размахивал флейтой, помогал себе жестами. — Тут, пожалуй, кое-кому покажется, что раз, мол, все на свете тщета, так, значит, и сражения, и война наша — тоже пустое дело... Это опасные мысли, братья! Взгляните-ка на все это с другой стороны. Почему враги нагнали сюда это громаднейшее войско? Да потому, что хоть они и воображают, будто поклоняются Будде, но на самом деле в него не верят. Не знают они истинного учения Будды, потому-то и ополчились на нас... Перед Буддой и крестьяне и самураи равны, и никто не может стать рабом другого. Вот что постиг *дэус*, царь небесный. Чтобы возвестить эту истину миру, господь наш Иисус припял смерть на кресте! — заключил он, побавровев.

Эмосаку неприязненно смотрел на раскрасневшегося

Бернардо. Проповедь его была неискусна и, если разобратся, — острее, чем проповеди буддистов; в ней отсутствовала ясность, и вдобавок она вселяла ужасные, вместо того чтобы поднять боевой дух.

— Дорогие братья, хотя здесь сам господин Сиро, все же скажу вам начистоту — в буддийской вере есть тоже кое-какая правда... Разве тысячи буддистов, храбро воюющих бок о бок с нами, — не лучшее тому доказательство? Или взять, к примеру, секту Фукаэ... в древности Догэн * учил: человек, гонимый за высоким званием да мирскими радостями, величайший глупец. В пустых и призрачных мечтах проходит вся его жизнь, сильные используют его как свое орудие, о будущей жизни он и не помышляет, и не на что ему опереться в сей пустоте... Уразумели? И святой Сирай * поучал: вступивший на путь веры не поклоняется царям и владыкам. Ясно и говорю? Уразумели? Вот к чему призывали истинные буддисты, но, как вам известно, ныне таких людей днем с огнем не сыщешь... А что сказал Иэясу, когда запрещал христианство? Он сказал, что Япония — страна Будды и исконных японских богов, их да почитают, им да поклоняются. Но разве это правильно, братья? А о христианстве только и твердит, что, мол, это зловерная ересь, и ежели эта ересь распространится, так народ и вовсе собьется с пути истинного, захочет изменить порядки по всей стране и захватить власть... Потому, дескать, и следует вовсе запретить христианство. Ныне уже перевелись такие праведники, как Сирай и Догэн, в этом можете мне поверить, нынешние бои помышляют лишь о корысти. Япония — страна Будды и исконных японских богов. Хорошо! А разве плохо, я спрашиваю вас, разве плохо, если в ней будет еще и христианство? Разве после того, как буддийская вера проникла в Японию, не изменялись порядки? Да ведь сам император и Сётоку, все, вплоть до сёгунов, сами изменили их, а верили в Будду. Отчего же именно христианство должно быть у нас запрещено? Тут уж, согласитесь, концы никак не вяжутся с концами. Ясно и говорю? Уразумели? Что бы и кто ни говорил, а вера наша справедлива и истинна! Это говорит вам бывший буддийский монах Бернардо. И будь сейчас и живых праведный Сирай и святой Догэн, они были бы на нашей стороне, вместе с нами! Ясно? Уразумели?! — Проповедник умолял и поклонился.

Это была весьма прочувственная и в то же время рискованная проповедь. Бернардо утверждал истинность всех учений — и Будды, и Христа, и исконных японских богов, — христианство рассматривалось всего лишь как самая истинная религия среди прочих. Во времена великих буддийских праведников истиной истины считался буддизм, но ныне он обветшал и опоздался, теперь истиной истины стало христианство. «Все перепутал этот Бернардо! Если так пойдет дальше, — думал Эмосаку, — то христианство на японской земле вскоре не отличится от буддизма. В конце концов оно опустится до язычества». Но, может быть, мои опасения — всего лишь плод воспаленного ума?.. Эмосаку пытался уговорить себя, но на душе у него было по-прежнему скверно.

Бернардо приблизился к Сиро и опустился на колени. — Простите меня... Я, верно, наговорил глупостей.

Эмосаку рассвирепел. Коли сам признаешь, что говорил глупости, зачем было преподносить их людям с таким важным видом?!

— Спасибо вам за труды! — услышал он голос Сиро. Он окинул взглядом толпившихся кругом крестьян и увидел тупые, ничего не выражавшие лица, — как видно, откровения Бернардо попросту не дошли до них.

Сиро стал на место Бернардо, приложил большой палец правой руки ко лбу, потом к губам и к груди. Люди опустились на колени и, подражая Сиро, тоже прикоснулись пальцами ко лбу, к губам и к груди.

Сиро вытащил из-за пазухи потрепанную книгу и перелистал страницы.

— Господь да пребудет с вами! Я расскажу вам о размышлениях спасителя нашего Иисуса Христа, когда он принимал казнь. Поистине уподобился он агнцу, кроткому и терпеливому...

Люди хором повторяли за Сиро каждую фразу.

— Веицы, не ведаввшие сострадания, подняли на него руку. От головы до пят обагрился он алой кровью...

Эмосаку молился вместе со всеми, чувствуя, как подчиняется общему настроению. Проникновенные голоса крестьян будили отклик в душе. Голоса эхом отдавались в лесу, покрывавшем Сосновую гору, и уносились к небу.

Раз Сиро не сделал Бернардо ни единого замечания, значит, он, архипастырь, как бы одобряет эту нелепую проповедь. Но можно ли упоминать в христианской про-

поведи имена буддийских святых? Недевица! Ссылаться на апостолов языческой веры, которую всегда проклинали *падре*?! Впрочем, упоминание знаменитых буддийских мудрецов, пожалуй, лучше всего доходит до невежественных крестьян. С этим Эмосаку не мог не согласиться.

Когда после длинной молитвы Сиро тихо произнес: «Ступайте, месса окончена. Амми!», Эмосаку припла на ум внезапная мысль. Ведь Сиро, по возрасту своему, никак не мог воспринять святое учение непосредственно от *падре*. Весьма вероятно, что и книгу, которую он только что читал вслух, он впервые взял в руки здесь, в крепости. И все-таки это не имеет никакого значения... Просто он — одаренный юноша. А вот в искренность отца его Дзимбэя Масуда, так же как и в искренность Тюбэя Асидзука, он несколько не верил. Эти двое — обыкновенные хитрецы, политикашы.

Крестьяне расходились, почтительно кланяясь Сиро.

— Не пойти ли нам на Сосновую гору? — предложил он, оглядываясь на Эмосаку.

Вскоре они подошли к могиле Педро — бывшего ростовщика Дайхати — и молитвенно сложили руки.

У грубо сколоченного деревянного креста сидел на корточках друг покойного — ростовщик Хикодзо.

— Расскажи нам, Хикодзо, как умер Педро?

— Чудно умер... Под Новый год вдруг растолкал меня среди ночи и говорит: «Скажи, Хикодзо, умирать, наверное, больно, а?» Ясное дело, отвечаю, коли проткнут копьём или рубанут мечом, так уж, конечно, больно! А он тогда спрашивает: «А через эту боль можно спастись?» Ну, я и ответил: «А коли нельзя, так и вовсе, значит, никакого проку от боли нет...»

— И что же дальше?

— А дальше он рассказал, как три года назад оттягал у одного крестьянина землю за долги. Крестьянин тот с семьей голодал, есть стало совсем нечего. Пришлось им всем утопиться...

— Попятно...

— А потом, в повогоднюю ночь, сидел он на Сосновой горе, как вдруг стрела угодила ему прямо в сердце. Он даже ни разу выстрелить не успел.

— И это все?

— Да.

— А сейчас имя этого мироеда — Педро-Дайхати — высечено на бронзовых скрижалях в *парайсо*, и вижу его, — раздался вдруг скрипящий железный голос за спиной Эмосаку. Это была о-Соно, а с ней, как обычно, о-Киё и Бунго.

— Неужто тетушке видно? — воскликнул Хикодзо, поймав, что, кроме Сиро и Эмосаку, рядом стоят Бернардо, Дзюдая Курахати и другие важные лица, смущенно умолк.

— Видно! Еще как видно! — О-Соно вскинула к небу несохшую руку.

Даже Эмосаку ощутил нечто величественное в фигуре старухи с воздетой к небу рукой. Но тут вдруг случилось такое, чего менее всего ожидал Эмосаку.

— Неужто видно? — повторил Хикодзо. — Что ж, может быть... Дайхати вот тоже за несколько дней до смерти вел странные речи... Я, мол, все теперь насквозь вижу, все, как есть... Соцурит этак свои глаза — они у него и без того были, как иголки, узенькие, — и знай себе, болтает... Чего только не говорил!.. И, между прочим, сказал также, — с этими словами Хикодзо в упор взглянул на Эмосаку, — что в Главном бастионе есть художник по имени Эмосаку Ямада, так у этого художника дурное на уме...

— Хикодзо! — одернул его Бернардо.

— Так ведь это не я выдумал. Дайхати так говорил и при этом смотрел на небо. Он говорит: «У него на уме дурное. Потому, мол, что у меня самого имелись ширмы его работы и глядел я на эти ширмы частенько, оттого-то и знаю... Люди его картинами не нахвалятся, живые, говорят, на самом же деле он их списывает у заморских художников, а краски замешивает на ореховом масле или на яичном белке — только и дела. Да разве ж его картины — живые? Куда там!.. А уж что до веры его, так ей и вовсе цена — грош».

Сиро, Бернардо, о-Соно и Дзюдая Курахати переглянулись.

— И еще он сказал, что Дзюдая Курахати, который тискает баб, тоже человек нечуткий...

Дзюдая громко расхохотался, но тут же умолк: слова эти, видимо, больно отозвались в его опустошенной душе.

— И еще говорил... Господни Сиро, дескать, просто ребенок, мальчик с челкой на лбу... Потому он и сделался

здесь главным начальником. Так оно и должно быть, это и хорошо. Только ребенок и может здесь стать главным, на этой войне, где все вместе воюют, крестьяне, и ронины, и ростовщики, и христиане, и буддисты, и дети, и женщины, и старый, и малый... Я, мол, только теперь это по-настоящему уразумею... Так он говорил.

Все молчали в некоторой растерянности, только Дзюдаю Курахати усмехался каким-то своим мыслям.

— Послушай, тетушка, — продолжал Хикодзо, — а ведь это ты напугала Дайхати, из-за тебя он лишился покоя. Рассказала ему про страшные кары христианские и про христианских чертей. Знаешь, как он их боялся! А у него, у Дайхати, на совести смертей мужицких немало, и земли оттягал он на своем веку не один кус. — Налитые кровью глаза Хикодзо сверкали.

«Да он помещан!» — подумал Эмосаку. Воздух в крепости постепенно наполнялся безумием...

— Теперь он умер... Куда же он угодил — в *инферно* или в *парайсо*? — Хикодзо снова повернулся лицом к деревянному кресту и, усевшись на землю, низко опустил голову. — Господин Сиро, помолитесь за него... — тихо попросил он.

Сиро встал на колени.

— Агнец божий, во искупление всех грехов мира...

— Он вознесся на небо?

— Помолимся, дабы вознесся.

Наступило тягостное молчание. Сумрачное небо низко нависло над землей. Печально и мрачно звучали слова молитвы. Казалось, тень злого духа витает над осажденной крепостью.

Оставив Хикодзо в одиночестве у могилы, все направилась к Сосновой горе.

— Вот и начался Страшный суд, — неожиданно рассмелся Дзюдаю Курахати. — Только непонятно, почему первой жертвой на этом кровавом суде пал Дайхати. — Он смеялся все громче. — Но ведь он и впрямь сделался одержимым и все увидал пaskвозь. И то, что господин Эмосаку — никакой не художник, а всего-навсего подражатель и что я — обыкновенный бабник... Послушайте, господин подражатель! Ведь эта, как ее, о-Кинку — ведь она ваша дочь? Глядите за ней в оба! — Он снова расхохотался.

— Не Дайхати, а сам ты одержимый! — укоризненно одернула его старая о-Соно.

— Еще бы! — продолжал смеяться Дзюдаю.— Меня одолела скука в монастыре, вот я и подался сюда...

— А я же с самого начала твердила, что война — скучное дело...

Сиро был печален.

— Замолчите вы оба! — властно произнес он.— Христианская религия признает бесов. Но разве пристало нам, поднявшимся на борьбу, бояться одержимых? Ведь кто не одержим в сердце своем, не достоин рая!

Эмосаку показалось, будто он впервые слышит подлинный голос этого юноши. И еще ему почудилось, будто взгляд Сиро на мгновение остановился на о-Кику.

Сиро снова заспешил вперед, к вершине Сосновой горы.

— Говорят, чем выше, тем ближе к раю,— тихо сказал Бернардо.

— Господин Эмосаку, а может, и впрямь вы только подражатель, а не художник? — хрипло спросила шедшая позади о-Соно.

Эмосаку почудилось, будто с плеч его свалился тяжелый груз, и на душе стало удивительно легко.

— Ха, ха, ха! Конечно, правда! — рассмеялся он.— Конечно, правда!

Когда они наконец-то достигли вершины, Сиро захотелось послушать флейту Бернардо.

Дыхание, пройдя сквозь бамбуковую трубку, жалобными звуками понеслось к морю, мелькавшему за деревьями. Там, на волнах, все еще плавало множество трупов — убитые в первый день нового года.

XXXVII. Международные осложнения

Весь долгий путь из Эдо Удзикава Тода неотступно думал о том, как быстрее разгромить презренных смутьянов — «не то собак, не то кошек» — в их полуразрушенном замке. Он только об этом и говорил. Однако Мацудайра тревожило не только это; еще до отъезда, несмотря на снешку и суету, он понял, что беспокоиться надо не только о вооружении, войсках и боевых операциях — следует поразмыслить и о самих христианах, и в пути он окончательно все обдумал. Даже по тем сведениям, которыми он

располагал, число дел о христианах стало в последнее время огромным. На ночлегах он припомнил, что это были за дела.

Первым, паршивив запрет, к берегам Сацума подошел португальский корабль *. Корабельщики клялись, что терпели бедствие и их прибило течением, но при осмотре судна на нем оказалось шестеро *падре* и трое японцев-христиан. Казнь состоялась в двадцать шестой день восьмой луны.

Затем неподалеку от Нагасаки объявился некий Дэнхэй «Золотая Гарда», прославившийся необыкновенной силой. Он тоже оказался христианином.

Сколько же христиан было взято под стражу за этот недолгий срок? Несколько сот. В восьми провинциях — Окума, Хюга, Сима, Каи, Хоки, Бунго, Ава, Санук — христиан, кажется, не было. Но даже в далеком Мацумаэ * они встречались, и притом во множестве!

Какою бедой грозил бы их общий бунт государству! К счастью, португальцев в стране немного, и жить им разрешено только на острове Дэсима близ Нагасаки. К христианам приравнены были также и китайцы и корейцы: когда речь идет о спокойствии государства, национальность уже не играет роли.

В пути Мацудаира досконально продумал все; ведь в казнях, кажется, недостатка не было, они происходили повсеместно и беспрерывно. С тех пор как в 1567 году, в правление сёгунов Асикага *, впервые стали карать людей смертной казнью за принадлежность к христианству, массовые казни повторялись сто с лишним раз; сколько тогда христиан погибло — трудно сказать, ибо в годы наибольшего расцвета христианства число верующих в Японии доходило до пятидесяти — семидесяти тысяч человек. Само собой разумеется, существование этих сретиков — недопустимо!

Какие же меры пужно принять, чтобы полностью искоренить ересь? Мацудаира хотелось решить все до конца. Сам он ничуть не верил, будто *падре* подстрекали верующих к восстанию и смутам. Да и случаев таких не бывало. Взятые под стражу, христиане либо стойко переносили муки, либо отрекались от веры, но никто никогда не сопротивлялся с оружием в руках. Не было также случаев, чтобы христиане пытались захватить какую-либо область или удел.

Однако политика чаще всего не нуждается в правде. Необходимо, скорее, правдоподобие.

Понимает ли крестьянская голытьба в Симабара и на Амакуса разницу между португальцами и голландцами? Откуда им знать о вражде между голландскими и испано-португальскими компаниями? Варварами надо управлять с помощью варваров. И Мацудаира решил использовать в этой войне голландцев. Использовать на сей раз не только против смутьянов Симабара и Амакуса, но и против христианства в целом. Для этого католикам нужно приписать международный заговор — попытку захватить всю Японию. А помощь голландцев — представить актом, совершенным во имя спокойствия народов. Правда, между Голландией и Японией никакого политического соглашения нет. Однако правительство сбгуна в достаточной мере влиятельно, чтобы убедить голландцев не отказать в помощи. Тем более что голландцы не раз утверждали, что их не следует считать христианами. И в самом деле, похоже, что единственная их забота — барыши, и только... Вот и наместник Хэдзо подтверждает желание голландцев выказать японским властям предельную лояльность. Они уже поставили Итакура шестьсот кин пороха, а также пять больших пушек с ядрами. Правда, пушки еще не прибыли на место, но они отравлены, это достоверно известно. А если голландцы уже втянулись во внутренние дела японцев, значит, вполне естественно потребовать, чтобы они послали к мятежной крепости и корабли...

Дабы уничтожить чужеземное, прибегнем к чужеземным силам, в этом нет ничего ни предосудительного, ни зазорного. И уж совсем лишнее заносить это в исторические хроники и иные документы. Разве сохранилась хоть одна запись о том, что в решающей битве при Сакитахара участвовали голландские артиллеристы и их пушки? Политика пренебрегает подобными мелочами...

И Мацудаира послал приказ Хэдзо Суэцугу. Пусть действует.

Николас Кукебеккер усиленно размышлял. По словам переводчика Леймана, вчера из Арима пришло известие о гибели Итакура и рабении Ивая. Вслед за тем он получил послание Хэдзо. Что ж, одно к одному...

Кукебеккер раскрыл дневник фактории и принялся записывать вчерашние новости.

«28 февраля 1638 года, по японскому летоисчислению — в пятый день первой луны 15 года Канъэй,

...Прибыл голец из Арима. 14 января, а по адевному — в первый день Нового года, правительственный посланник Итакура атаковал разбойников. Бой закончился поражением правительственных войск.

Получено письмо от заместника города Нагасаки господина Хэдзо, в коем он приказывает задержать отправку судна «Де-Лайф». Судну разрешено отплыть, если до 23 января не поступит новых указаний из Нагасаки...»

Кукебеккера гораздо больше заботило именно это последнее, — больше, чем гибель Итакура. Что означает приказ о задержке судна? Последнее время ему возвращали суды и платили за товары, проданные в кредит, весьма неаккуратно; князь Тэрадзава из Карацу, например, задолжал компании тысячу восемьсот восемьдесят три гульдена... Да и рис купить было невозможно. С превеликими трудами добился он от Эдо разрешения на поставки шелка-сырца, но если так пойдет и дальше, то...

Хэдзо говорит, что «скоро корабль сможет свободно отплыть». Может быть, они хотят погасить все свои долги? О, если бы так, но сомнительно...

Вчера он послал Ноханну ван дер Брукку, голландскому губернатору на Тайване, письмо, в котором писал:

«Ваше превосходительство!

Обязан известить вас о затруднениях с отправкой судна «Де-Лайф», которое должно было выйти из Нагасаки курсом на Батавию. Соблюдая интересы компании, нам более всего хотелось бы отправить это судно в назначенный срок. Задержались мы потому, что со дня на день, а вернее сказать, с минуты на минуту ожидаем прибытия золота из столицы. Однако еще более важная причина заключается в том, что заместитель города Нагасаки господин Хэдзо приказал нам...»

Сегодня все разъяснилось. Утром переводчика Леймана вызвали к Мацуура, который сообщил ему указание новых правительственных посланников князя Идзу и Удзикаэ Тода.

Предвидывалось снять с голландских судов все оружие и послать их к мятежной крепости. Задумавшись на миг, Кукебеккер подмигнул Лейману и приказал составить следующий ответ:



«К прискорбнию нашему, судно «Веттен» вчера вечером уже покинуло гавань, имея на борту ответственного служащего компании Франсуа Кэрона. Осталось только одно судно «Де-Лайф», с которым поступим согласно вашему приказанию. Завтра я самолично отправлюсь на судне «Де-Лайф» к берегам Арима...»

— Понятно?

Мацуура пришел в восторг.

Пока Лейман ходил с письмом в городскую управу, Кукебеккер приказал кораблю «Веттен», стоявшему в бухте Кавати, близ Хирадо, как можно скорее поднять паруса и выйти в море за пределы видности, затем снова стать на якорь и ни в коем случае не приближаться к берегу. Впрочем, Кукебеккер чувствовал себя не вполне уверенно. Он плохо разбирался в военном деле. Пушки «Де-Лайфа» — морские пушки. Пригодны ли они для войны сухопутной? В бою корабли сближаются на кратчайшее расстояние и лишь тогда открывают огонь, поэтому стволы у пушек «Де-Лайфа» были короткие. Можно, конечно, заложить побольше пороха... а если пушку разорвет? Способны ли ядра поразить крепостную стену? Всего этого Кукебеккер не знал. Не знал он также, что представляет собой замок Хара, в котором заперлись отважные смутьяны. Мысль его была сосредоточена не столько на предстоящих боях, сколько на отношениях с далеким от мятежного замка правительством Эдо.

Испросив совета у князя Идзу, Хэдо Суэцугу решил пустить в дело и находившихся в Нагасаки китайцев. Китайцы были мастерами рыть подкопы, в которые закладывался порох. Это была последняя повинка осадного искусства. В Японии знали, что порох применяется для стрельбы из пушек и из ружей, но о том, что порохом можно взрывать стены, никто не слышал. Говорили, что сила взрыва способна разрушить не только внешнюю стену, но даже весь Главный бастион — его словно сдует в море. Говорили также, будто у китайцев имеются такие большие пушки, каких в Японии никто даже представить себе не мог. У пушек этих стволы диаметром более двух сажень, а ядра такие тяжелые, что их с трудом поднимают двадцать пять человек. Взрывают сразу по два ядра да еще добавляют штук двадцать небольших ядер, размером с

чайник, а пороху кладут две тысячи пятьсот кин. При стрельбе, чтобы избежать опасности, пушкарям надлежит отбегать на большое расстояние... Да, поистине, на материке артиллерийское дело и полет мысли находились на такой высоте, о какой в Японии не могли и мечтать!

Усордие голландцев и китайцев упрочит власть правительства сёгуна, а заодно покажет наглядно, что он, Хэдзо Суэцугу, лицо куда более важное и полезное, чем все эти местные князья. А какие льготы получают голландцы и китайцы! И как они будут благодарны Хэдзо Суэцугу! Хэдзо был в отличном расположении духа. Шаг за шагом подстрекал он голландцев и китайцев, и, обливаясь в предвкушении великих выгод, искусно доказывая им, что подавление крестьянского бунта должно стать и их кровным делом. Он рассчитывал извлечь из этого почти такую же пользу, как чужеземцы, надеявшиеся на щедрое вознаграждение.

По его приказу в бедных домах Нагасаки срывали дверные рамы и стенки, выдерживали столбы, подпиравшие крышу; это его нимало не смущало. Горожане покорно смотрели, как ломают и разрушают их дома; они успели привыкнуть к тревогам. Сперва они боялись, что повстанцы ворвутся в город, потом трепетали от страха, предчувствуя, что после подавления восстания, гонения на христиан — тайных и явных — станут еще более жесткими: тайных поклонников пресвятой девы Марии было более всего именно среди бедняков.

Надев широкополую плетеную шляпу, Мацудайра каждый день обходил лагерь, — во-первых, для надзора за ходом работ, а во-вторых, чтобы все привыкли видеть в нем начальника. Созывать ежедневные совещания или же сидеть в одиночестве, погружившись в размышления, было ему не по праву.

С каждым днем становилось все теплее и теплее, и все в этом южном краю удивляло его, все будило его любопытство. Он дивился толщине местного бамбука, рассматривал похожие на пальму деревья ако, могучий камыш токува, южную двковину. — нечто вроде тростника и бамбука одновременно.

Кое-где в густых зарослях кустарника ютились хижины с синими или розовыми занавесами у входа. Оттуда выгля-

дывали набеленные женские лица. Мацудаира приказал у самых хижинок кустарник вырубить — для того, наверно, чтобы осаждаемые тоже могли разглядеть и хижины, и их обитательниц.

Война была прервана неожиданно. Время от времени слышались мушкетные выстрелы, но все пространство вокруг напоминало скорее большую стройку, нежели боевой лагерь. Бамбуковый частокол доходил теперь до самого устья Урада и Оа.

Мацудаира стремился держать в постоянном напряжении и смутьянов, и свои войска — тоже. В крепость то и дело летели почтовые стрелы. «Против кого поднялись — против всего ли государства, или только против князя Мацукура? Объясните мне, и я постараюсь отыскать путь к примирению. Возвращайтесь в свои деревни, а мы готовы выдать вам две тысячи коку риса, а также освободить от годовой подати. Не бойтесь обмана, это суцая правда».

Ответное послание рассмешило Мацудаира:

«Мы навсегда покинули родные жилища и вот уже четвертый месяц терпим здесь лишения и холод. Пятьдесят долгих лет мы мечтали об этом дне, подобном краткому мигу цветения розы... Мы вступили на стезю кровавых сражений и твердо верим, что все обретем царство небесное. Как можно скорее расстаться с сим грешным миром — единственное наше стремление...»

— Какая нелепость! Кто их поймет, этих христиан! Может быть, они шутят?

И он велел доставить из Кумамото мать Сиро — Марту, его старшую сестру Рэгипу, Кохэя и других христиан, чтобы использовать их с наибольшей выгодой.

XXXVIII. Страшная война

В ночь на одиннадцатый день первой луны нарочный доставил в Эдо донесение Ивая.

Прикованный болезнью к постели Нэмцу побледнел от ярости. Худшую повесть трудно было придумать: от руки смутьянов бесславно погиб Сигэаки Итакура, отважный его вассал!

Влиятельные круги в Эдо встретили это известие не менее спокойно, чем жители Симабара. Но здесь за спокойствием таилась злоба, вызванная единством восстав-

ших, их неожиданным военным умением. Между строк короткого послания Иная не трудно было прочесть, каких усилий стоило удерживать князей в повиновении. Но правительство оставило письмо Иная без внимания. Жестокое решение (жестокое — с точки зрения покойного Итакура) о назначении нового посланника не вызвало здесь ни малейшего раскаяния. Гибель Итакура лишь подтвердила своевременность и правильность назначения Мацудайра. Никак не отозваться на новогодний разгром было все-таки невозможно, и соседним с Мацукору князьям приказали участвовать в подавлении смуты.

Князьям же Арима, Набэсима и Татибана указали строго: сыновья воевали плохо, чем допустили гибель верховного начальника. Симадзу из Сацума, Накагава из Бунго, Ипаба из Усуки и Киносита из Хипода было приказано вернуться в свои владения и ждать указа, а старшему Арима — немедленно выехать к месту боев, так как род его прежде владел мятежным краем и кому, как не Арима, помочь теперь Мацудайра в важном деле.

Князья западных земель должны были также ради безопасности владений вернуться к себе. Все они, торопясь скорее прибыть на место, бросились прочь из столицы. В Осака прибыли, растеряв по дороге большую часть свиты. Их вассалы без столичных удобств выбивались из сил и запаздывали. Те, кому удалось обогнать товарищей, скупали по пути еду, лошадей, суда и, взвинтив цены, прищипляли отставшим немало хлопот. Первые — всегда любимцы победы...

Князь Огасавара возвращался, заранее радуясь встрече со старым Миямото Мусаси, гостившим в его доме, в Кокура...

Существовал строгий порядок, определявший, сколько дней в пути должен находиться княжеский поезд. Запрещалось путешествие больше или меньше определенного количества дней. На сей раз порядком пренебрегли. Князья торопились, и на дорогах было тесно и шумно.

Каратели старались изо всех сил, но и повстанцы удесятерили рвение. Обнесли каменной стеной жилище Сиро, во Втором и Третьем бастионах окопы вырыли столь вместительные, что на дне их можно было поставить хижины. Если же карателям удастся ворваться в крепость — эти окопы превратятся в волчьи ямы. Выбранной землей

укрепляли наружную крепостную стену и обсыпали хижинки. Лишнюю землю сбрасывали в море, оно помутнело у берегов. Ранее выкопанные вдоль степ рвы углубили, между сваями вбивали целые сосны, срубленные на Сосновой горе. Работа изнуряла, грязные, перепачканные в земле люди работали дни напролет, а к ночи валились с ног от усталости и засыпали мертвым сном.

Многие считали эти рвы могилами, особенно те, которые сами не работали, а только руководили работами. В их числе был и Эмосаку.

Васаку ушибло камнем — спина у него распухла и сильно болела. Спину смазали настоем из целебных трав, и Васаку уснул. Изредка он стонал во сне. Ночью ему стало легче, и он открыл глаза. Гонноскэ, о-Кики, о-Тидэ, усталые, спали глубоким сном. Только Эмосаку лежал в темноте с открытыми глазами.

— Ты что, Васаку?

— Мне нужно...

Эмосаку вынес сына из хижинки.

Небо хмурилось, тучи скрывали звезды. Ночи стали теплее, и Васаку захотелось еще немного побыть на воздухе.

— Отец, — тихо позвал он.

— Что тебе?

— Когда к человеку приходит смерть, он умирает? — Вопрос был странным.

— Не понимаю. — Вот и его семьи коснулось безумие. Васаку — первая жертва. — О чем ты? О вечной жизни, конечно? — Он горько усмехнулся.

— Нет, отец. Я хочу сказать, что в нашем мире мы должны выбирать между жизнью или смертью. И мне кажется, что христианину надлежит выбрать смерть... Да?

— Смерть?.. — Как далеко разошлись они с сыном во взглядах!

Что это? Ему почудилось, будто в тени у Главного бастиона промелькнул какой-то человек в грязно-белой одежде.

— Говорят, японские христиане всегда выбирают смерть. Они правы, отец?

— И да, и нет. Видишь ли, сын, человеку свойственна любовь к жизни, и он всегда найдет, чем это оправдать... А ведь в крепости не только христиане... — Эмосаку зашнуровался.

— Ты хочешь сказать, что...

— Я хочу сказать, что не следует тянуть за собой на смерть людей другой веры.

— Но ведь и у них тоже своя цель... И объединяет их гнев на князя Мацукура...

У стены Главного бастиона, возле камней, сложенных в высокую кучу, притаился Скэбэй. «Смутяны копают новые рвы. Мацудайра, князь Идзу, уже прибыл в боевой лагерь, дни крепости сочтены. Зачем же повстанцам новые рвы и эти сигналы? Может быть, они хотят прорыть подземный ход и выбраться из осады?» Каждую ночь, с наступлением темноты, он вылезал из своего убежища возле Лотосового пруда и смотрел, как далеко продвинулась работа.

Вот и сегодня, он, словно лягушка, вспрыгнул на стенку Главного бастиона и затаился среди камней.

Послышались голоса; один — молодой, звонкий. Похоже, что говорят отец с сыном. Бывшие самураи, не иначе; их речь хорошо понятна, — не то что крестьянский говор.

— Когда восстают еретики-буддисты — причина ясна, с восставшем христианин — много сложнее...

— Конечно.

— Еретики разгневаны жестокостью князя Мацукура. Христианам жестокость Мацукура досадила не меньше, по главный их противник — все японское государство. Допустим, государство накажет князя Мацукура и облегчит положение крестьян — этого хватило бы, чтоб договориться, хотя, конечно, всякий бунт — преступление, и отвечать за него придется. Но буддисты еще могут спастись. Христиане же выступают против самого государства, поэтому...

— Поэтому спасения ждать нечего?

— Нечего.

— И вы, отец...

— Да, я решился...

— Выбирая между жизнью и смертью, вы, отец, решились...

— Погоди, погоди, не надо торопиться... Тебе, Васасу, — двадцать два. Гонимые — девятнадцать, о-Кину — только шестнадцать...

— Ах, при чем тут возраст?

— Возраст важен. Человек стареет, у него, как у дерева, становится больше корней, и корни эти крепкие, извилистые... Молодой ум подобен одинокому деревцу, но наступает зрелость, и думаешь уже не только о себе одном. Кладезь на весы и веру нашу, и еретиков-буддистов, и родное княжество... И будущие возможности...

Васаку молчал. Эмосаку казалось, будто в ночном мраке он ясно видит мысли сына. Почему-то вспомнились слова Хикодзо, сказанные недавно в бастионе Амакуса: «Разве он художник? Просто-напросто подражатель!..» Ну и что с того? Нет, он должен бежать от этой действительности, порвать с нею навсегда. Мысленно он уже отделил себя от всего происходящего.

— Вот вы упомянули сейчас о княжестве, отец... Но в крепости нашей нет больше деления на княжества, уделы или деревни...

...Да, он, Эмосаку, покинет все, покинет даже родного сына. Отчего это, стоит принять решение, как на душе сразу становится легко?

— Видишь ли, Васаку, вскоре сюда приезжает князь Арима, владеющий ныне землями в Побэока... Слушай же! Я скажу тебе ясно и коротко: я хочу попытаться спасти с его помощью хотя бы еретиков-буддистов, если уж для христиан невозможно что-либо сделать.

— Понимаю.

— Многих буддистов, да и немало христиан тоже, заставили присоединиться к восстанию. Их-то и надо спасти!

— Понимаю. — Голос Васаку звучал сурово, хотя казалось, он соглашается с отцом.

Скэбэй хотел было улизнуть потихоньку из Главного бастиона, но разговор отца с сыном заинтересовал его.

Полночь давно миновала. Стоял самый глухой час.

— Тебе, Васаку, безразличен и господин Арима, и судьба княжества, а для меня князь Арима до сих пор — господин и владетель княжества.

— Князь Арима отрекся от учения Иисуса и от пресвятой девы Марии.

— А тебе что за дело до этого? — неволью повысил голос Эмосаку.

— Не только отрекся, но и казнил многих верующих... — не обращая внимания на гневный голос отца, тихо закончил Васаку.

— Разве ты не знаешь, что он выполнял приказ?

— Да, но господь наш *дэус*...

— *Дэус* тут ни при чем. Наш князь... князь Арима отрекся от веры и преследовал верующих только по приказу правительства, по сам...

— Уж не хотите ли вы сказать, отец, что сам он остался верующим, несмотря ни на что?

— Да, иначе нельзя было. Ведь и пшеница не растет без семян. И чтобы вера сохранилась на японской земле...

— Вот оно как!

— Если все христиане погибнут, что станет со святым учением?!

— Так вот почему вы говорите, что предпочли бы жизнь, если бы пришлось выбирать между жизнью и смертью. Вы сказали, что у человека всегда найдутся доводы в пользу того, к чему он склонен душой... Значит, вы предпочитаете жизнь...

— Ты упрощаешь.

— А я, отец, не считаю постыдным умереть даже самой страшной и жалкой смертью...

Послышался шум. Из глубины бастиона бежали люди, освещая путь фонарями. В то же мгновение из-за груды камней неподалеку от хижины Эмосаку метнулась темная тень. От неожиданности Васаку вскрикнул.

— Мастер Ямада! Васаку! Выходите! Проснитесь! — услышали они голос одного из повстанцев. — Разбойник! Держи разбойника!

Какая прощия! Ведь это их по всей стране величают разбойниками. А теперь разбойники сами гонятся за разбойниками...

Первым подбежал Наокити. Несколько дней назад он ходил к Лотосовому пруду за лекарством для старого Мицайеи и заметил там вражеского лазутчика, с которым ему уже довелось однажды столкнуться. Наокити никому не сказал о встрече, однако стал тщательно наблюдать за Скэбэем.

Скэбэй удирал со всех ног, но грянул набат, и у входа в бастион Амакуса его схватили. Приблизился рассвет.

Однако новый день принес новость столь удивительную, что все люди забыли о почном происшествии.

В море появился чужеземный военный корабль.

Появление голландского корабля было тяжелым ударом для осажденных. Ведь христианская вера пришла в Японию из-за моря; среди повстанцев еще встречались старики, которые в молодости собственными ушами слушали проповеди португальских *падре*. Буддийская религия тоже пришла в Японию из далеких заморских стран, но кому из японцев доводилось хоть бы раз в жизни видеть индийского священнослужителя-бопзу? Никто в Японии не мыслил себе Будду в облике темнокожего индийца.

Смутное представление о различии веры голландцев и португальцев повстанцы имели, но различить чужезмцев по лицу и оттенку кожи не могли. Тем не менее все сразу поняли, что голландский корабль — на стороне осаждающих. От побережья Арима тотчас отвалила посылная лодка карателей; с корабля спустили шлюпку.

— Как видно, голландцы решили доказать свою преданность правительству Эдо. Что ж! Им прямой расчет! — сказал Дзюдаю Курахати.

— Рассчитывать да прикидывать покойный Педро умел ничуть не хуже чужестранцев, — откликнулась о-Соно. — Но Педро хорошо умер. Среди христиан тоже ведь встречаются всякие... А этот Педро как будто сам испросил себе праведную кончину. Да, иной раз не поймешь человека с первого взгляда...

Она все еще не простила Дзюдаю его проступка. Старуха сильно осунулась за последние дни. Дзюдаю посмотрел на нее и содрогнулся — в крепости не осталось ни овощей, ни какой-либо зелени.

Рядом с Дзюдаю и о-Соно молча стоял Кинсаку. Его и Собэя по очереди поднимали в плетеной корзине на верхушку высокого, врытого в землю столба — оттуда, с высоты, они стреляли в пушкарей на палубе голландского судна.

В двенадцатый день первой луны голландцы начали обстрел. Все в крепости на мгновение замерло от ужаса, но вскоре раздались громкие, веселые крики. Черные ядра, вылетавшие из клубов порохового дыма, падали далеко от берега, в море: из-за мелководья корабль не мог приблизиться к крепости на расстояние выстрела. Голландцы сделали за день четырнадцать выстрелов, но лишь одно или два ядра долетели до берега, остальные упали

в море. Однако само присутствие в море голландского корабля — он был виден из каждого уголка крепости — заставило осаждающих острее понять, до чего они одиноки. Как бороться с удручающей мыслью, что сражаются они не только со всем японским государством, но чуть ли не со всем светом?

Первая бомбардировка с моря прошла впустую. Значит, в ближайшие дни пушки снимут с корабля и установят на суше. С крепостной степы были отчетливо видны новые войска и рабочие. Теперь их стало в лагере князя Идзу не меньше ста тысяч. Они насыпали холмы для установки орудий, прокладывали дороги, засыпали болота, все ближе подтягивали к крепости линии укреплений.

Напротив Второго и Третьего бастионов насыпи росли не по дням, а по часам. Каратели хотели поднять искусственные холмы до высоты крепостных стен. Пушки, установленные на этих холмах, произведут опустошение среди повстанцев.

Тээмон Минайси, свободный от тяжелых работ, беседовал с крестьянами из Третьего бастиона во время их недавнего отдыха.

— Что означает слово «восстание»? * Прежде оно означало общность помыслов, намерений, когда люди разного положения и разных занятий были объединены общими устремлениями. Постепенно смысл этого слова менялся, и теперь оно означает, что крестьяне, подняв рогожные знамена*, борются против несправедливости, чинимой князьями и управителями...

Сквозь загар на лице Тээмона пробивалась нездоровая желтизна. Казалось, что-то изнутри освещает обтянувшую скулы кожу. Гэнэмон Оэ, с тревогой глядевший на старика, и Наокити видели эту злобедую печать смерти. Знали о болезни старика и его спутники с острова Таиэ-гасима. Уже несколько раз у Тээмона шла горлом кровь, и не следовало бы ему подолгу говорить, но...

— Вот вы, друзья, все крестьяне. Князя, чиновники обращаются с крестьянами, словно они — их собственность. Так уж повелось издавна. И многие из вас как будто сжились с этой несправедливостью. Но ведь и в старину бывало иначе. Тому назад лет полтораста мужики Ямасиро подняли восстание*, стали сами решать свои дела и вершить суд на своей земле...

— Неужто сами?



— Да, они добились этого. А чиновников от правительства, всех до единого, прогнали прочь.

— Молодцы! — восхищались крестьяне. — Выходит так, что восстание — это когда все репают сообща?

— Конечно! Крестьяне своими руками выращивают рис и батат, значит, они должны сами обсуждать и решать все свои дела и всю жизнь свою. Для того и восстание! Крестьяне — первейшее богатство страны. А их презирают и угнетают.

— Верно!

У Наокити давно уже вертелся на языке вопрос.

— Скажите, господин, — наконец выговорил он, — а что случилось в конце концов с этой крестьянской землей Ямасиро?

Тёэмон Мисабен предвидел этот вопрос. Крестьяне всегда его задавали — им нужно было знать, что их ждет. Все их тревоги и упования, отчаяние и покорность судьбе звучали в этом вопросе.

— Князя привели войска, обрушились на крестьян, да и между самими крестьянами пошли споры и свары, и в конце концов их крестьянское царство погибло. Но продержались они целых семь лет!

— Семь лет!

Нет, в этой крепости им ни о чем не продержаться так долго! Чужеземцы и те на них ополчились!

— Да, друзья, целых семь лет... В ту дикую годину кругом шла война, и земля японская совсем захирела от непрерывных междоусобиц... Но дело восставших сияло, подобно звезде во глубине небосвода!

Все взгляды невольно обратились к небу. Ярко светило весеннее солнце, плыли белые облака. Звезд не было.

— А потом, — продолжал Тээмон, — Ода Нобунага и Тойтоми Хидэеси принялись измывать над крестьянами... Хотели, чтобы крестьяне покорились их воле. Бесконечно обмеряли поля *, отняли у крестьян оружие. В былые времена все шло иначе, даже, можно сказать, совсем по-другому... — Тээмон умолк и, тяжело дыша, в полном изнеможении уронил голову на грудь. Затем через силу выпрямился и снова обратился к слушателям. Лицо у него было бледное, словно присыпанное пудрой.

— Понял, друзья? Крестьяне не являются собственностью князей и чиновников. Они такие же люди, как все. И господь наш Иисус учит нас этому. Разве будет разница между самураями и крестьянами, когда после смерти все предстанет пред ликом господним? Господин Сиро, этот посланный небом отрок, говорит: небо и земля — одного корня, все сущее едино, нельзя делить людей на благородных и низких...

Наокити не верилось, будто нет никакой разницы между ним, простым мужиком, и этим превзошедшим все науки ученым самураем Тээмоном Минаэси, приехавшим в крепость, чтобы участвовать в восстании. Да кто знает, может быть, после смерти оно и вправду так будет? Может, и вправду самураи на тот свет пожелают без своих мечей? Крестьянам тоже, наверное, не придется денно-нощной махать мотыгами да серпами... Наокити уже чудилась жизнь в *парайсо*, ожидавшая его после смерти. Но если у самураев не станут мечей, а у крестьян мотыг и серпов, чем же они все будут там заниматься? Наверное, он попадет в *парайсо* вместе с господином Тээмоном и с Гэнгэмоном. То-то вволю наслушается умных речей...

Тээмон Минаэси удалился, опираясь на плечо одного из своих молодых спутников.

— Там, на острове, госпожа Катарина Эсюни, наверное, денно и нощно молит за нас, обратив лицо в нашу

сторону! — донесся его хриловатый голос. Остальные слова заглушил падрывный камель.

Воспользовавшись приливом, голландский корабль подошел ближе к берегу и снова открыл огонь. При каждом выстреле люди неустанно пригибались к земле, но в следующее мгновение распрямляли спину и опять разглядывали диковинное чужеземное судно. Отличное развлечение среди скуки и однообразия осадной жизни! Одно из ядер угодило в Лотосовый пруд, взметнув тучу брызг. Но прицел постепенно становился точнее.

За Гэйэмом прислали из Главного бастиона. Так и есть: совет обсуждал защитные меры против бомбардировки. Впрочем, ничего дельного никто придумать не мог. Невдалеке на крутом отрывистом берегу стоял в полный рост силач Ипоскэ.

— Эй вы, чужеземцы! — кричал он — голландское судно было теперь довольно близко от берега. — Чего расшумелись — бух, бух, бух?! Да как вы смеете беспокоить славного полководца земли Арима, господина Сиро Масуда? А ну уймись! — Он так орал, что голландцы наверняка слышали его голос.

Дзэнэмом Яма, раззадоренный выкриками Ипоскэ, предложил послать князю Идзу письмо. «Разве в Японии перевелись отважные воины?! Дойти до того, чтобы просить помощи у чужеземцев?.. Позор!» — говорил Дзэнэмом. Вот о чем он хочет написать Мацудайра. От гнева он побагровел и перешел на крик. — Мацудайра позорит Японию в глазах иностранцев... Что ему слава и честь Японии!..

Эмосаку холодно слушал Дзэнэмона. Не он ли первый и свое время сказал, что повстанцы бросали вызов всему японскому государству? А теперь тревожится о чести Японии, доказывает, что у сёгуна не перевелись еще храбрые воины... Он до смешного противоречит самому себе.

— Мне стыдно, стыд жжет меня! — возбужденно выкрикивал Дзэнэмом.

— Послушай-ка, Дзэнэмом, ведь не мы же, в самом деле, притащили сюда голландский корабль! — невозмутимо произнес Дзимбай Масуда. Слова его прозвучали столь неожиданно, столь забавно посреди грозных восклицаний Дзэнэмона, что все так и покотилось со смеху. Письмо

все же решили послать. А сочинить его поручили Мунэи Мори.

Письмо получилось, как обычно, длинным и витиеватым; сперва или, как говорится, бесконечные поклоны в прихожей, и лишь затем излагалось главное:

«Вы решительно ошибаетесь, когда думаете, будто мы затворились в крепости, чтобы добиться для себя земель и владений. Мы печемся не о земной, а о загробной жизни, оттого и не хотим менять нашу веру. Но гонения ваши слишком жестоки — так люди с людьми не поступают!.. Мы за собой никакой вины не знаем; после смерти мы непременно возродимся к новой жизни на небесах, где нас ждет вечное блаженство. Уразумейте же наконец, что мы не страшимся смерти. Для чего же вы бессмысленно осаждаете крепость, обрекая на гибель тысячи ваших воинов? И теперь, когда вы позвали на подмогу голландцев...»

Эмосаку был против воли взволнован. Его потрясли не столько те строчки письма, где говорилось о славных японских воинах, чести Японии и прочем, сколько отказ повстанцев отречься от истинной веры; каратели презрели все человеческие законы — вот почему у повстанцев нет выхода! И все же, дабы не забыть хода событий, он решил пустить стрелу с этим письмом лишь в сторону лагеря осаждающих, но так, чтобы оно не попало к ним в руки...

Едва Эмосаку кончил писать, как снова раздался голос Дзэнъэмола:

— И добавь там в конце: пусть господин Мацудайра забавит нас от живых посулов. Напиши, пусть не старается зря, надоело!

Однако совет решил написать об этом Мацудайра в другой раз.

В последнее время из стапа карателей в замок непрерывно летели почтовые стрелы. Бывало, что крестьяно приносил Эмосаку по пяти стрел на дню. Мацудайра старался любым способом добиться раскола среди смутьянов...

Эмосаку тицетно ждал письма от князя Наодзуми Арима, перестали приходить письма и от Носэ и Ёкояма. Слова Дзэнъэмола о живых посулах Мацудайра растревожили Эмосаку. Неужели обещание сохранить жизнь восставшим, если они добровольно откроют ворота замка, не более чем обман?

Начальники единодушно согласились, что обстрел с моря не представляет большой угрозы, в то время как обстрел из наземных орудий чрезвычайно опасен. Поэтому, прежде чем закончить совет, Сиро предложил надежнее спрятать в укрытиях детей и женщин. Дзэнъэмон Яма не мог успокоиться.

— Это неслыханно! Это пятнает честь всего японского государства. Надо бы добиться от них ответа на наше письмо!

К Эмосаку подошел Гэнъэмон Оэ.

— Да, кетати, — сказал Эмосаку, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову. — Если в лагерь придет князь Наодзуми Арима, не вступишь ли мне с ним в переговоры?

— Отчего же, это вполне разумно, — спокойно ответил Гэнъэмон. — Именно для того, чтобы правильно наложить ему наши взгляды.

Эмосаку растерялся. До чего же он по-дурачки прямолинейнеец, этот Гэнъэмон! Все они здесь окончательно лишились рассудка! Эмосаку не удержался от искушения и загадал Гэнъэмону еще загадку. Впрочем, для Эмосаку то была не загадка, а давно мучивший его вопрос.

— *Надре* учиди нас, что нельзя противиться князьям. Всякая власть — от бога, и жестокость господ нужно принимать с радостью... А ты, Гэнъэмон, что думаешь об этом?

— Но ведь в тех же проповедях говорилось, что сперва надлежит следовать богу, а потом уже — людям... Мне кажется, и то и другое верно!

— Если оба эти наставления верны...

— Конечно, верны. Христианское учение нельзя толковать только по законам этого мира. Жизнь полна противоречий. Люди терзаются, страдают, но страдания придают им силу — силу жить и силу умереть... — Гэнъэмон умолял, задумавшись и, опустив голову, зашагал прочь от Эмосаку.

Эмосаку вдруг показалось, будто Гэнъэмон — очень далеко, — так далеко, что перед ним, Эмосаку, одна смутная его тень. Даже Гэнъэмон и тот вступил уже в царство мрака. Но разве достойна человека такая участь? Нет! Человек должен думать о действительном мире, даже в крепости. Действительный мир упорно требует от человека решений. Но решение зависит от действительных обстоятельств. А что такое — действительные обстоя-

тельства? Сегодня — это князь Идзу, это Наодзуми Ари-ма... Как же ты можешь сохранить веру, укротить ее, уклоняясь от встречи с действительными обстоятельствами?!

Между тем Гэнъэмоу и в голову не приходило сердиться на Эмосаку за неуместный вопрос. Просто он попытался представить себе, как рассуждал бы сам, если бы не Эмосаку, а ему поручили эту опасную, полную искушений должность — ведать почтовыми стрелами. Сколько коварства в каждом письме, да, пожалуй, сколько вполне разумных мыслей, — когда при всем желании не применишь слова врага за лесть или уловку...

Но не только об этом размышлял Гэнъэмон. Он думал о разнице между Эмосаку и Тээмоном Минаэси. «Эмосаку все время твердит о прежнем своем господине Наодзуми Арима, а Тээмон — весь в думах о восстании и только о нем, о несправедливости к крестьянам, царящей в государстве. Так кто же из них более предан народу? Кто прав, Эмосаку или Тээмон? — думал Гэнъэмон. — Надо поговорить с Тээмоном...»

Однако, придя в Третий бастион, он узнал печальную новость — у Тээмона вновь открылось кровохарканье, и он лежит без сознания. В ту же ночь Тээмона не стало.

Кончина его была праведной, исполненной веры, почетной... Эмосаку не желал подобной жизни и подобной смерти, он укрепился в намерении жить иначе, свободно...

XL. Верная служба

Кукебеккер был раздражен. Да и как не раздражиться! На корабле от гостей отбоя не было, они изрядно надоели всем. Корабль посещали не только знатные самураи, но и солдаты, изнывающие от скуки в своих лагерях, да еще не то роиши, не то просто бродяги — не поймешь, что за люди... Все они хотели подробно осмотреть корабль, словнялись по палубе, бесцеремонно заглядывали в каюты, нimalo не смущаясь отсутствием хозяев, — короче, совали повсюду нос.

Выгнать непрошенных гостей Кукебеккер боялся. Коль скоро он решился и угоду японским властям привести сюда корабль, значит, следует избегать самоналейших инцидентов, способных повредить его коммерции.

Но этот князь Идау то и дело ставил его буквально в тупик; Кукебеккер никак не мог понять, что у него на уме.

На следующий день после прибытия корабля в Арима к Кукебеккеру явились два чиновника с приглашением посетить вместе с переводчиком Лейманом господина Мацудайра в его боевом лагере. Кукебеккер послешно съехал на берег, но по пути заглянул в лагерь Мацукура. Здесь то ему и объявили, что господин Мацудайра со своим помощником Тода и наместником города Нагасаки сам отправился на корабль. Кукебеккер заподозрил неладное. Это не могло быть случайностью — нарочно подстроил, чтобы они разминутся: Мацудайра захотел осмотреть корабль в его отсутствие.

Иметь дело с японцами было трудно. Он, Кукебеккер, довольно пожил в колониях и всегда умел обвести туземцев вокруг пальца. До назначения в Хирадо он служил секретарем его превосходительства генерал-губернатора Аптони Ван-Деймена, в Батавии. Но четыре года в Японии дались ему нелегко. Особенно мешало то, что в дела все время впутывалась религия. Пронски португальцев, испанцев, англичан стояли великих волнений. Они были такие же европейцы, как он. Значит, он должен был смотреть в оба. А сколько пота пришло пролить, прежде чем был смягчен закон о торговле шелком-сырцом...

Но с этим Кукебеккер кое-как справлялся. А вот вести дела с японцами было труднее. В чисто коммерческие вопросы они вносили столько непужной чувствительности! Даже когда сделка бывала явно выгодной, Хадзо Суэцугу мог неожиданно заявить: «Нет, люди не таковы, человеку стыдно помышлять об одной корысти!» — и начинались длинные рассуждения о свойствах человеческой патуры. Правда, благородство Хадзо Суэцугу никогда нешло во вред интересам правительства — выгода сёгуна соблюдалась неукосятельно.

Кукебеккер должен был всячески льстить и угождать должностным лицам, потому что здесь огромное значение придавалось церемониям и этикету. В то же время японцы способны были поступать так, как только что обошелся с ним Мацудайра. — пригласил в гости, а сам отправился к нему на корабль! Словно разбойник попал! На лице — маска вежливости, а что под ней — никогда не знаешь... Кукебеккер заторопился на корабль.

Мацудайра уже готовился сойти на берег, когда купец склонился перед ним в глубоком поклоне. Мацудайра произнес краткие слова благодарности. Суэцугу и Тода держались надменно.

— Иноземец, в свое время ты говорил, что готов послужить нам. Знай же, время пришло. Если сейчас ты не проявишь усердия, прежние договоры придется расторгнуть. Начиная обстрел мятежного замка!

Ничего не ответив, Кукебеккер проводил взглядом покидающих корабль гостей. При этом ему вспомнилось, что не далее как вчера вечером, когда он, едва став на якорь, срочно послал к Мацудайра переводчика Леймана, японцы рассыпались перед ним в благодарностях. «Мы глубоко растроганы тем, что, сплывая к нашим заботам, вы соблаговолили прибыть сюда, не считаясь с трудами...»

А — сегодня? Почему же сегодня они держатся с такой спесью? Кукебеккеру рассказали, что Мацудайра тщательнейшим образом осмотрел весь корабль — и прежде всего пушки и ядра, расспрашивал о навигационных инструментах, зашел в каюты и даже в камбуз. В своих странствиях по колониям Кукебеккер повидал немало племен и народов, но людей с таким пропитательным лоботьюством и жадным интересом к науке, как здесь, он никогда еще не встречал. Они все были такими, от простолупинов до высших государственных чинов в Эдо. Оттого-то они и казались столь назойливыми! Непрерывной вереницей подплывают они к кораблю в своих утлых лодчонках, лезут во все щели, а прежде чем отираться наконец восвоему, просительно заглядывают в глаза, в надежде получить что-нибудь в подарок. Кукебеккер распорядился: кроме правительственных чинов и заместников, никого вином не поить и фруктами не угощать.

Взяв с собой нескольких пушкарей, он снова сошел на берег. Надо было подыскать место для установки пушек, чтобы обстреливать замок также и с берега. Особых надежд на действенность обстрела он, впрочем, не возлагал.

— Все равно, с суши ли, с корабля, но главное, чтобы пушки твои cobили смутьянов, — нетерпеливо говорили Мацудайра и Хэдо, сидя перед развернутой картой.

— Мы не можем подойти ближе из-за мелководья... — терпеливо объяснял Кукебеккер. — И с суши ядра не долетят, поскольку пушки поставлены слишком далеко.

Будь у нас новые осадные орудия, как сейчас в Голландии, дело шло... Насколько я мог судить, стены замка снизу сложены из земли, поэтому ядра могут лишь пробить стену, но не разрушить ее... Когда бы замок был целиком из камня, как в Европе, я мог бы обещать вашей светлости успех. Далее, их хижины... Убогие постройки, солома и камыш... Ядра продырявят их, и только. Если б на их месте были высокие дома — солидные постройки, ядра принесли бы пользу, но, ваша светлость, такие жалкие хижины... — Он не решился добавить, что на всю эту чепуху просто жалко тратить ядра.

Мацудайра и Хэдзо были несколько разочарованы, но все же обещали продвинуть линию заграждений вперед и возвести насыпи для орудий поближе к крепости. Пять пушек, посланных в свое время для Итакура, прибыли в лагерь. В тринадцатый день первой луны с корабля произвели семнадцать выстрелов из орудий, а в четырнадцатый день, в присутствии Мацудайра, Сакакибара и Тода, береговые орудия дали двадцать шесть, а корабельные — девять выстрелов. В пятнадцатый день шел дождь, поэтому стреляли всего одиннадцать раз, только с кораблей...

Как и ожидал Кукебеккер, особого успеха обстрел не имел, зато каждому стало ясно, что бунтовщики смущены, может быть, даже растеряны. Вечером четырнадцатого дня из бастиона Амакуса вышел человек. «Меня зовут Соэмон!» — закричал он вместо объяснения; он пытался узнать, почему нет ответа на последнее письмо. Письмо отыскалось только на следующий день. Бунтовщики писали, что спешиво самурай пред царем небесным бесильны... Не позор ли это — звать на помощь чужеземцев?! Не позор ли — для всего японского государства?!

В душе Кукебеккер, пожалуй, сочувствовал мятежникам. Его даже трогала их глубокая христианская серьезность, мужество их сопротивления. Они напоминали ему мучеников за веру в Древнем Риме и даже внушали некоторый трепет. Было нечто жуткое в том, что люди обрекали себя на муки ради религии, завезенной из дальних стран. В этой стране, где причудливо сплелись изысканность ума и предельная дикость, лживая вежливость и острое любопытство, — надо все время быть пастором. Прямолинейность здесь губительна.

Кукебеккер спросил Хэдзо, что он думает о письме мятежников. Тот захихикал.

— Князь Идзу — человек умный, без предрассудков... Какой-то десяток слов, написанных смутьянами, не может сбить его с толку. Его на это не возьмешь!

Хэдзо обладал удивительной способностью ошеломить собеседника. Значит, и ему нельзя отставать...

— Ну-ка, признайтесь, господин Хэдзо, вы ведь рады этой войне?

— Я?

— Подряды, взятые вами, сулят немалую прибыль.

Хэдзо расхохотался:

— Ах, вот вы о чем!

— Князь Идзу тратит десятки тысяч рё¹, то есть несколько сот кан² серебра. Вы будете в выигрыше, господин Хэдзо. Ну, а я?

— У нас есть поговорка: «Удачи во сне дожидайся». Слышите, во сне... Ждите, и дождетесь, господин управляющий!

Цены росли с неимоверной быстротой. Если раньше проезд морем от побережья Хидзан до Симабара стоил всего шесть-семь моммэ³, то теперь корабельщики не соглашались везти и за двести. Для купцов, алчущих наживы и денег, не было лучшего помещения капитала, чем война, которую вели самураи, алчущие славы. Из Осака и Сакаи прибыло множество джонок, груженных военной амуницией. После окончания военных действий Ёриясу Носэ предстояло сполна расплатиться за поставленные товары звонкой монетой. Все расчеты должны были производиться в Осака, и, оставаясь в Хирадо, Кукебеккер рисковал оказаться не у дел.оборот купцов Осака и Сакаи возрастет изрядно: на одних перевозках они должны заработать немало. Поставщики рабочих тоже досыта набьют брюхо. В лагерь каждый день прибывают самурайские отряды, — значит, неплохо заработают и строительные подрядчики... Боевой стан все больше напоминал шумный, оживленный город. Печально и жалко выглядел рядом с ним погруженный в тишину замок!

О многом размышлял Николас Кукебеккер здесь, на разумном удалении от береговых пушек. Как сложится

¹ Рё — монета весом в 15 г.; сплав из 85% золота и 15% серебра.

² Кан — 3,75 кг.

³ Моммэ — 3,75 г.

торговля с японцами после этой войны? Как поведут себя разбогатевшие японские купцы? Что, если они вздумают вложить эти капиталы в морскую торговлю? Если, кроме португальцев, испанцев и англичан, придется соперничать еще и с оборотистыми, смекалистыми японскими negociантами? Убытка не миновать! Надо обезопасить себя. Для этого... для этого выгоднее всего твердить об опасности христиан, вот хотя бы тех мятежников, чье логово сейчас перед его глазами...

Кукебеккер, не отрываясь, смотрел на замок. Там на ветру колыхались флаги с крестами, над стеной торчало множество маленьких и жалких деревянных крестиков...

В семнадцатый день первой луны с моря и с суши дали тридцать два выстрела, в восемнадцатый — восемь, в девятнадцатый — двадцать три... Из Нагасаки приплыли четыре китайских судна. Привезли одну медную и две чугунные пушки и отдали в ведение Кукебеккера. По небольшой пушке прислало каждое княжество, из Эдо прибыли мастера-оружейники Наканобу и Судзуки. Они принялись лить ядра из чугуна и свинца.

Обстрел усиливался. Иногда ядра перелетали через крепость и падали в воду, совсем рядом с кораблем Кукебеккера. Особенно яростной была канонада в двадцать пятый день первой луны, многие хижины в крепости пострадали. Мацудайра назначил чиновников для тщательного учета попаданий и перелетов.

Ответная стрельба из крепости почти затихла. Наверное, у них кончился порох и они берегли его для решающего боя.

Урок, папосимый крепости, становился все очевиднее. Кукебеккер и сам увлекся. Он знал это за собой, стоит ему увлечься, исчезнет нужда тревожиться по пустякам... К тому же князь Идзу приказал, чтобы каждый, посещающий голландский корабль, имел на то письменное разрешение своего начальника. После этого посещения праздных гостей разом прекратились.

Китайцы так и не сумели взорвать стены с помощью пороха. Слухи об огромных китайских ядрах оказались, конечно, пустой болтовней, и Кукебеккеру приятно было убедиться в этом. Теперь он стал центром внимания. Он ощущал даже своеобразную гордость, но понимал, что злых наветов ему все равно не избежать. Вскоре до него дошли неприятные слухи. Их распространял князь

Хосокава. Князь уже выставил у крепости сторожевые суда, вместе с войсками Курода он обстреливал повстанцев из мушкетов и не понимал, зачем понадобилось звать на помощь голландцев.

В двадцать первый день первой луны было сделано сорок два выстрела. Удалось пробить взрывную брешь в стене Второго бастиона, как раз напротив лагеря Набасима, благодаря чему фашины продвинули почти на двадцать сажен ближе к замку. Правда, одна из медных пушек дала небольшую трещину.

В первую неделю обстрел шел без особого успеха, так что в лагере карателей придумали поговорку: «Толку что от голландской пушки». Князь Мацудайра, разумеется, верил, что преданная служба голландцев в конце концов принесет свои плоды, но не забывал в то же время засылать в крепость свои письма. Главное же средство он пока держал при себе. Наконец князь Хосокава получил приказ доставить морем родственников Сиро — его мать Марту, старшую сестру Регину и младшую — семилетнюю Ман, племянника Сэхэя, а также Кодзаэмона Ватанабэ и его шурина Кохэя Сэто.

Пленников сопровождали пять конных стражей и семнадцать стрелков с мушкетами. На шею пленникам надели толстые, тяжелые железные кольца, ноги заковали в кандалы и в довершение всего крепко-накрепко привязали к мачтам. Это было сделано отчасти для устрашения, отчасти из предосторожности, на случай, если бы христиане вздумали отбить их по дороге; а также и для примера всем князьям: вот, мол, как следует поступать с христианами! Временно их оставили на судне: тюрьмы в лагере еще не было.

В двадцать четвертый день первой луны Кодзаэмона вызвали на допрос. Он заявил, что согласен пойти в замок и устроить поджог, если за это ему сохранят жизнь. Снявший допрос чиновник доложил Мацудайра, что лицо юноши выражало полную искренность.

«Вот как?» — коротко отозвался Мацудайра. Однако он вспомнил строчки из недавнего письма смутьянов, где говорилось, что люди отрекаются от веры только по принуждению властей и что они притворяются, будто вновь исповедуют буддизм, в действительности же, в сердце своем, по-прежнему остаются христианами. Он вспомнил об этом и усомнился.

В двадцатый день первой луны дали восемнадцать выстрелов, в двадцать третий — шестьдесят, в двадцать четвертый — сорок... Теперь уже разрушения стали очевидны.

В двадцать пятый день случилось несчастье. Разорвался ствол одной из чугунных пушек, осколками ранило в живот помощника бомбардира, голландца Гирка. Силой взрыва его перебросило через фашилы, ударило о землю, и он тут же умер. У стоявшей рядом чугунной пушки разорвало жерло и разнесло лафет. Остальные медные пушки дали трещины: пушкарки, войдя в азарт, набивали слишком много пороха. Быть может, пушки были плохо отлиты или просто не выдержали частой пальбы — так или иначе, разрушить пушечным огнем Главный бастион замка оказалось невозможным...

Пора прощаться с голландцами — рассудил Мацудайра. Он тоже знал о гневе князя Хосокава. К тому же, если голландцы останутся здесь до конца кампании, им припишут все заслуги и подвиги, что может повредить Японии в глазах иностранцев. Мацудайра созвал совет и предложил отправить голландцев прочь. Все согласилось с ним.

Погибнуть на чужой войне, в далекой чужой стране, умереть, обливаясь кровью, не успев вымолвить перед смертью ни словечка!.. У себя в Голландии Гирк был добрым камешником. И вот теперь тело его погребли в чужой, похожей на вулканический пепел земле, и нельзя было даже поставить крест на могиле, ни прочитать молитву. Не посмели даже перекреститься. Лишь пробормотали невнятно, словно про себя, молитву, а потом вполголоса сказали: «Амишь!»

В двадцать шестой день первой луны рано утром Кукебеккер приказал спустить на берег две корабельные пушки. Ничего не поделаешь, надо было нести ту самую «верную службу», о которой твердил Хэдзо Суэцугу, «служить верой и правдой», как любил выражаться Хэдзо...

Обстрел замка возобновился, но внезапно обоих наблюдателей, чиновников из Хирадо, вызвали к господину Тода. Вскоре позвали и Кукебеккера. Чиновники сообщили ему, что князь Идау и рыцарь Тода отпускают голландцев. Они могут свободно плыть, куда пожелают. Однако все установленные на берегу пушки должны остаться, а те, что не успели еще установить, надлежит спрятать с судна и поставить на берег.

Отдать все пушки? Но ведь это самоубийство! А если на морских путях, между Тайванем и Яввой, на корабль нападут пираты — китайцы, испанцы, португальцы?.. Чиновники сжалились и обещали доложить Мацудайра и Тода. В этот день с суши было произведено двадцать три выстрела, с корабля — только один.

Весть о возвращении домой обрадовала команду. Эта страшная война, черт возьми, забавляет их, но участь бедного Гирка и пули мятежников, застрелявшие в матчах, торопили их. Кроме того, если матросам можно было объяснить, что война — всего-навсего обычный крестьянский бунт, то как внушить им, что кресты на знаменах на самом деле вовсе не кресты? На следующий день Кукебеккер отправился попрощаться с Удзиканэ Тода.

— Нам передали, что можно беспрепятственно возвращаться домой. Премного вам благодарны. Однако с радостью готовы остаться еще некоторое время в вашем распоряжении, до окончания военных действий. Возможно, при каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах мы сможем сослужить вам службу верца и преданно...

— Весьма тронуты, но мы уже вполне убедились в преданности голландцев. Поэтому господин Мацудайра считает, что ваши пушки более не понадобятся. Так что можете отплывать. Что же касается орудий, то пусть те, что находятся на суше, останутся, и еще нам желательно получить всего одну пушку... — разъяснил Тода.

Соблюдая заведенный порядок, Кукебеккер отправился затем к Мацудайра. В покоях князя собрались важные лица. Мацудайра повторил то же, что и Тода. Голландцы верно послужили правительству, о чем подробно доложено в Эдо. Выразив соболезнование по поводу гибели одного из голландцев, отдавшего жизнь ради японского государства, Мацудайра добавил, что следовало бы, конечно, устроить в честь отъезжающих прощальный пир, но боевой лагерь плохо приспособлен для приемов, а главное — они совершенно не знакомы с обычаями голландцев, так что лишены даже такой возможности. Было бы весьма прискорбно, если в предстоящем сражении — а оно, очевидно, произойдет в ближайшее время — шальная пуля причинит голландцам новые потери...

Выйдя из главной ставки, Кукебеккер направился к наместнику города Нагасаки. Всем чиновникам города он преподнес на прощание вино и фрукты. Хитрец Хэдзо

Суэцугу отсутствовал. Знакомые чиновники рассказали Кукебеккеру, что, по словам пленных, в последние дни в крепости ежедневно — по пять, десять, а то и по пятнадцать раненых и убитых. И еще они говорили, что эта война по своим размерам намного превосходит Осакекие кампании. На вопрос, почему они так считают, чиновники лишь хихикали.

Кукебеккер вернулся на корабль. Голландские артиллеристы, успешные, несмотря на гибель товарища, подружиться с японскими пушкарями, о чем-то оживленно с ними спорили. «Отчего это вам так правятся мальчишки?» — спрашивали голландцы. «Не только мальчишки, женщины у нас тоже в почете. Разве вы не видели, сколько в лагере веселых красоток?»

XLI. Вместе до самой смерти

Голландский корабль отплыл.

Кое-кто верил, что подошло письмо. И все же никто из тех, кто провожал взглядом корабль, подгоняемый теплым южным ветром, не мог бы положить руку на сердце сказать, будто голландцы непросту удирают... Триста выстрелов за две недели принесли свою пользу, однако дело было не только в пушках голландцев — осажденный замок подвергался теперь ожесточенному обстрелу отовсюду: и с моря и с берега. Каратели падали из мушкетов, из пушек, в том числе ядрами весом почти в сто фунтов. Одно из таких ядер с силой плюхнулось оземь возле хижинки Сиро, когда тот развлекался игрой в го. Ядро покатилося и ранило девушку из свиты, проходившую мимо.

Само по себе это было вполне естественно: обстрел. Но, страшное дело, весть мгновенно разлетелась по всей крепости, пошли дурные слухи. Весть была неожиданная.

Разослали доверенных людей: узнать, что говорят об этом происшествии повстанцы.

Оказалось, что язычников-буддистов этот случай огорчил гораздо больше христиан.

— Выходит, господин Сиро и тот лишился защиты! Кровь и смерть приблизились даже к нему! — нерешительно вались крестьяне. — Ужасно! Выходит, сам господь бог беспомощен перед голландскими ядрами...

— Девушка ранена? Вот беда! Да поможет нам великий Будда!

Христиане не знали, что отвечать. Между собой они могли назвать это карой за слабую веру. Но ведь язычникам этого не объяснишь!

Среди христиан появились задумчивые, ушедшие в себя люди. Взгляды их выражали недоверие и сомнение.

Эмосаку Ямада следил за опустошениями, причиняемыми голландскими пушками, с жалостью и состраданием и в то же время мысленно определяя ущерб, наносимый повстанцам непрерывным обстрелом.

В последние дни он нередко вступал в беседы с подчиненными, чего избегал прежде.

В двадцать третий день первой луны в лагерь прибыло войско князя Курода, а в двадцать шестой — войско князей Хосокава.

Но больше всего изволповал Эмосаку белый крест из птичьих перьев на бунчуке его прежнего господина, князя Наодзуми Арима, который он разглядел за бухтой Сиохама, на дальних холмах, что против Главного бастиона. Князь давно отрекся от прежней веры, однако преспокойно метил крестом свои бунчуки и знамена. Эмосаку всматривался в родные стяги. Нет, клятву, данную господину, не так-то легко нарушить!

Что делать! Не похож он ни на восставших крестьян, ни на вождей их, которые в большинстве прежде служили Кописи... Для христиан важнее загробная, а не земная жизнь, важнее — что есть жизнь истинная. Долго еще вглядывался Эмосаку в крест из птичьих перьев на бунчуке князя Арима.

В середине первой луны прибыло около тысячи воинов из Сацума. Явился и князь Тэрадзава из Карацу. Подходят и остальные — Накагава из Бунго, Такэда, Инаба из Усуки, Кипосита из Хинодэ, Огасавара из Кокура... Короче, все князья западной Японии.

Да, это было потрясающее зрелище! Крепость окружило не менее ста тысяч воинов. Усердно заделывая пробонны в стенах, повстанцы нередко прерывали работу, чтобы поглазеть на вражеский лагерь.

— Вот это да! Знатию! В жизни не видел столько солдат и знамен разом! — восхищенно воскликнул Тэскэ, словно речь шла о чем-то, не имеющем к нему никакого отношения.

— Дурак! — попытался образумить его Рокудзо.

После ухода голландского корабля Кинсаку «Попади в иглу» и Собэй Медвежья Шкура вернулись на прежнее место, во Второй бастион. Кинсаку даже радовался этому — трудно попасть в человека, стоящего на палубе судна, да и расстояние до цели слишком велико. Пороха оставалось совсем мало, и его тщательно берегли, по обоим стрелкам снабжали боеприпасами безотказно. Пули отливали из свинцовых ядер, залетающих в крепость. На каждой Кинсаку делал отметку зубами. «До чего же упорный! Пули-то не виноваты!» — думал Собэй.

Всякий раз, когда Кинсаку стрелял, Тэска и Рокудзо прерывали работу и следили, куда попадет пуля.

— Ну-ка, Собэй, прицелься-ка в эту штуковину! — попросил однажды Кинсаку.

В лагере Хосокава, на одном из искусственных холмов, стоял высокий шест, похожий на корабельную мачту. На верху мачты был укреплен большой, обитый железом ящик. В ящике сидел наблюдатель.

— Да я и сам бы не прочь спустить этого молодца.

Между тем стрелять по ящику им было запрещено. Вражеского наблюдателя должны были спать отец и сын Комакириэ, тоже известные стрелки, подчиненные Тюбэю Асидзука.

Железный ящик быстро поднимался к вершине мачты на трех канатах.

— Попробую... — усмехнулся Кинсаку.

Пули перебила один из канатов. Железный ящик беспомощно накренился набок.

— Ну, каково?

— Здорово! — ахнули плотники. Но были несколько смущены, заметив, что лицо его не выражает ничего, кроме холодного упоения стрельбой. Ни у кого из их товарищей — христиан им не случалось видеть такого выражения лица. Меткость Кинсаку восхитила их, и в то же время они не могли отделаться от смутного чувства: что-то здесь не так. Что-то не так! Какая-то маленькая, едва видная глазу трещинка заметно отделила их от Кинсаку...

Запасы продовольствия иссякали. И это обстоятельство не требовало объяснений. В Главном бастионе, на складе, которым заведовал рачительный Эмосаку, еще оставались некоторые запасы, но в остальных бастионах съели не только весь рис, но и всю пшеницу, и теперь в пищу

пошла крупа, запасенная па случай, если тот или иной бастион окажется отрезанным. Увеличилось число больших поносом. Лица осунулись и побледнели. Голод подступал к крепости.

В первый день второй луны ровно в десять утра из стана карателей в крепость разом забросили пятнадцать почтовых стрел — стрелы эти словно были нацелены в маленькие, чуть заметные трещины, возникшие в сознании голодавших людей. Они прилетели из станов Хосокава, Татибана и Арима.

В присутствии Дзимбэя Масуда и Тюбэя Асидзука Эмосаку вскрыл письма одно за другим. Письма были одинаковые. Эмосаку напрягал все силы, чтобы не выдать волнения, по сердцу, казалось ему, вот-вот выпрыгнет из груди. На всех письмах стояла подпись князя Наодзуми Арима, письма были обращены к троим — Сиро, Тюбэю Асидзука и к нему, Эмосаку! Накопец-то пришло долгожданное послание!

«Все князья пожаловали сюда, так как вы продолжаете упорствовать. Здепняя земля издревле была вотчиной наших предков, поэтому и я ныне нахожусь здесь. Что побудило вас затвориться в крепости — только ли вера? Чтобы выяснить это, посылаем для переговоров трех наших воинов во главе с Городзаэмоном Арима. В крепости у него должно быть много знакомцев. Наши люди выйдут к вам без оружия. Договоримся о дне и часе, прекратите стрельбу, и они войдут к вам в крепость. Можно договориться и не входя в крепость, через стену. Отвечайте!»

В разгар обсуждения ответа прибежали узнать, как быть дальше — из лагеря Хосокава кричат, требуют прекратить стрельбу и установить перемирие...

Стрельбу прекратили, и из-за укреплений лагеря Хосокава вышел племянник Сиро — Сёхэй. Он еле передвигал ноги. Добравшись до полосы ничейной земли, он остановился и, вскинув голову, стал пристально вглядываться в бесчисленные флаги со знаком креста, развевавшиеся над крепостной стеной. Вздвигаясь люди в безмолвии следили за ним.

Сёхэй подошел к воротам Третьего бастиона. Двигался он нетвердо, с первого взгляда видно было, что он долго пробыл в темнице.

— Кто ты? Зачем пришел? — спросил Гэнэмои Оэ.

— Это я, Сёхэй из деревни Ояно, племянник господи-

на Сиро. Хочу видеть его... Принес письмо...— едва слышным, осяпшим голосом отвечал Сёхэй.

Ворота открылись, и Сёхэй впустили. Не только в замке, даже в стане карателей сочувственно вздыхали. До Главного бастиона путь был неблизкий, и Сиро с отцом, Дзимбэем Масуда, и Тюбэем Асвдзука сами вышли навстречу Сёхэю.

С чего начать, о чем говорить?

— Все ли здоровы? — дрожащим голосом спросил Гэнзэмон.

— Господин Сиро, господа Дзимбэй и Тюбэй! Госпожа Марта, Регина и маленькая Маи пока еще живы и здоровы.

Люди затаили дыхание. Это был первый гость из внешнего мира, если не считать лазутчика Скабэя. Но гость этот, стоявший перед ними с поникшей головой, был пленником, обязанным вернуться, как только выполнит поручение. Сиро сделал знак одному из юношей уступить Сёхэю место, чтобы тот сел.

Сёхэй принес два письма. Одно из них, весьма страшное, было написано Кодзаэмомо Ватанабэ и его шурином Кохэем родственникам, уроженцам острова Ояю, находящимся в крепости.

Трудно было поверить, чтобы Кодзаэмомо и Кохэй написали это письмо добровольно. Оно, словно нарочно, оскорбляло повстанцев. «По воле господина Мацудайра, — говорилось в послании, — все христиане погибнут голодной смертью, даже новорожденные младенцы и те будут убиты. Однако если из крепости выпустят христиан, которых обратили насильно, и всех буддистов, то нам, пленникам, а также матери и сестрам господина Сиро разрешат перейти в крепость, чтобы мы могли умереть вместе с вами. Несколько человек, бежавших из крепости, были радушно приняты и одарены деньгами...»

Другое письмо — от Марты и Регины — потрясло всех.

«Господину Сиро и господину Дзимбэю... Судьба отвернулась от нас, и в глубокой скорби мы обращаемся к вам с мольбою... Если вы отпустите всех буддистов, находящихся в замке, нам позволят соединиться с вами. Вы должны решиться на это. Мы же готовы идти с вами любым путем, лишь бы быть вместе. Слышали мы, что Сиро теперь ваш предводитель; самая заветная мечта наша — находиться с ним вместе. Мы стремимся к встрече и надеемся на нее, какие бы муки ни выпали нам на долю».

Все молчали. Мать и дети, Кодзаэмон, Сёхэй — никто не проявил ни малейшей слабости, все помышляли об одном — идти любым путем, даже смертным, лишь бы вместе. Какая бы судьба их ни ждала, они хотели разделить ее с ними...

Эмосаку отвернулся. Он не любил таких сцен. Сиро, разумеется, не позволил себе заплакать, но он был еще совсем молод, и мольба матери не могла не тронуть его сердца...

Совецание продолжалось вполголоса. Эмосаку отошел в сторону. Наверное, снова начнут храбриться, а он — он уже не в силах выносить пустословие и обман.

Но вот ответ подготовлен. Сёхэй собрался в обратный путь. Сиро вышел вперед.

— Что бы ни случилось, наше спасение — в вере. Возвращайся с легким сердцем! — улыбаясь, произнес он.

Эмосаку буквально обмер: в замок стучится голод, в умах и душах разброд, а этот мальчик все улыбается... Страшное чувство охватило его при виде юного, смеющегося лица. Значит, пустословие и обман, вопреки всему, чем-то привлекают людей...

Сёхэй двинулся в обратный путь, он нес завернутые в бумагу хурму, мандарины, сахар, пышки, сладкий картофель. Богатый подарок для заключенных должен был в то же время опровергнуть слухи о том, что в крепости не хватает еды.

Как только Сёхэй вышел из ворот Главного бастиона, его окружили сотни земляков с островов Амакуса: «Сёхэй!.. Послушай, Сёхэй!..»

Пришла и о-Соно, как всегда, вместе с о-Кийэ и Бунго, однако она не была уроженкой Ояно и потому застенчиво держалась сзади. Старая женщина почернела и опухла от голода.

Сёхэй сам не понимал, что говорил этим людям. Низко склонив голову и обливаясь слезами, он шагал к Третьему бастиону.

Проводив Сёхэя, вожди восстания вновь собрались в Главном бастионе. Обсудили ответ на письмо Наодауми Арима. Подписать его должны были Эмосаку и Тюбэй. «Мы огорчены, что причинили князю хлопоты, заставив его проделать далекий и трудный путь, — говорилось в послании. — Как совершенно справедливо позволит указывать его светлость, мы сами и наши предки на протяжении

нескольких поколений были слугами князя. Мы до сих пор не забыли его благодеяний и милости... Мы уже отрекались однажды от святой веры, но теперь снова и навсегда вернулись к ней... Встречу с упомянутым Городзаэмоном назначаем на завтра, в три часа пополудни, близ бухты Оэ...»

В этот вечер Эмосаку долго не разрешал жене и детям войти в хижину. Он усердно писал. Городзаэмон Арима был когда-то его закадычным другом. Но Городзаэмон последовал за князем Наодзуми в далекий край в Нобзока, а Эмосаку остался в Кутпиоцу...

XLII. Пусть сердце окаменеет, пусть слезы бегут ручьем...

У Городзаэмона Арима мучительно ныла поясница, он едва ходил. Когда его господин с сыном Ясудауми правились в условленный час к небольшому холму у реки Оэ, Городзаэмон с двумя приближенными отстал от них почти на три тэ.

Там уже собрались все воссначальники во главе с Мацудайра и Тода. Городзаэмон, приготовившись в душе к тому, что его могут убить или захватить в плен, на прощанье обменялся чашечкой сака с господином и попросил не оставить двух его сыновей — взять на службу хотя бы стремящими. Поверх коричневого кимоно Городзаэмон облачился в темные хаори* и хакама, за пояс заткнул два меча, большой и малый. У его приближенного за поясом был длинный пояс, а в руках шест с прикрепленным к нему длинным полотнищем, на котором размашистыми иероглифами было начертано: «Городзаэмон Арима — ближний самурай князя Наодзуми Арима».

Вид у Городзаэмона был торжественный. Предстояло выполнить важное дело на глазах у всего войска, а тут еще эта боль в пояснице; этот чертов прострел доставлял невыносимые муки. Больше всего ему хотелось присесть, все равно куда, пусть смотрят...

Князь Идзу, разумеется, и не подозревал об этом.

— Господин Городзаэмон, наши войска уже прекратили стрельбу, — произнес он, сверкающим взглядом окидывая свиту — не менее десятка высокопоставленных чиновников. — А там, в замке, перестанут стрелять, как только вы дадите им знак. У вас есть жезл?

Мацудайра важен, он полон достоинства. Каждый день придумывает нечто новое, немодли исполняет задуманное и тотчас же посылает донесение в Эдо.

— Я подам им знак веером, — ответил Городзаэмон; он поспешно оцуетил руку, которую завел было назад — погладить поясицу.

— Нет, этого мало. Они не разглядят из замка вашего веера.

Мацудайра достал из походного ящичка, служившего ему сиденьем, длинную полосу бумаги с начертанным на пей текстом приказа, а стоявший рядом Кацумаса Хаяси прикрепил бумагу к расщепленному на конце бамбуковому шести. Кроме того, спутникам Городзаэмова вручили требования из семи статей и послание князя Наодзуми к бывшим подданным. Эти бумаги также прикрепили к бамбуковым палкам.

— По договоренности, обе стороны должны быть безоружны, но кто поручится, что противник не возьмет с собою меч? Вам тоже, господин Городзаэмон, а также и вашим спутникам, лучше бы надеть оба меча и захватить с собой мушкет. Убедитесь, что противники безоружны, можете положить мечи и мушкет на землю, — сказал Мацудайра.

Городзаэмон со спутниками начал спускаться с холма. Поясицу по-прежнему ломило нещадно. Не успел он спуститься до половины холма, как его нагнал гонец Мацудайра. Князь сообщил, что один из главарей мятежного замка, некто Эмосаку Ямада, сохраняет в душе верность правительству, и потому желательно, чтобы для переговоров вышел именно Эмосаку... Городзаэмону все это было давно и хорошо известно. По прибытии на земли Арима он разыскивал Эмосаку в деревне Кутипоцу; это он узнал, что Эмосаку находится в крепости и первый предложил князю Арима вступить в переговоры именно с ним. Зачем же понадобилось слать гонца, чтобы сообщить то, что и так известно ему лучше, чем кому бы то ни было. Не кростся ли за этим какая-нибудь хитрость Мацудайра?

— Господин посланник приказал, чтобы вы все же подали знак веером, если к вам выйдет Эмосаку Ямада!

— Слушаюсь! Если выйдет Эмосаку, я буду обмахиваться веером левой рукой, а если Тюбэй Асидаэка — правой.

Городзаэмон спустился с холма, миновал лагерь князя Курода и вышел на общую линию укреплений. Он брел к отмели Сиохама, охваченный сильным волнением — за ним следили настороженные взгляды всего войска. Подавать знак не понадобилось — стрельба из крепости тотчас же прекратилась; наступила глубокая тишина. Отмель кончилась. Городзаэмон взглянул вверх и увидел, что из ворот Главного бастиона спускаются пять человек. У всех за поясом торчали мечи.

Городзаэмон шагал по песчаному грунту, волоча отяжелевшие ноги. По спине пробегал холодок. Вот он совсем близко от крепости. Впереди неподвижно стоит человек в черном кимоно, коричневой куртке, в полотняных хакама. За поясом — меч.

— О-о, да это ты, Эмосаку!..

Городзаэмон развернул веер. Выглядело это, должно быть, странно. Весна едва наступила. Как ни утомителен путь по песчаной отмели, но жара еще не настолько сильна, чтобы вспотеть...

— Добро пожаловать издалека, господин Городзаэмон!

В одно мгновение Городзаэмон понял все: Эмосаку по-прежнему ему близок. Страх прошел, дрожь унялась.

— Смотри-ка, да ты в хакама вырядился, Эмосаку...

Что за бессмыслицу он несет! Но ведь надо же сказать что-нибудь... Первые приветствия всегда звучат нелепо. Однако бездумно сказанные слова вызвали ответ, исполненный решающего значения:

— Да, я надел хакама, потому что вышел встретить посланца господина князя, милостями коего на протяжении трех поколений пользовалась моя семья!

— Вот оно что! Похвальная верность! — И это тоже звучит нелепо. Хвалить за верность одного из главарей мятежного войска, восставшего против власти?! Но тут же он вспомнил письмо Эмосаку, под которым стояла его личная подпись и печать. В нем Эмосаку подробно объяснил, как его заставили принять участие в восстании. «Предки мои долгие годы служили дому Арима. Для князя я готов на все, хотя бы пришлось жизнь положить, будь на то воля князя». Далее Эмосаку писал, что выйти на переговоры одному навряд ли удастся, и потому просил ни в коем случае ни словом не упоминать об этом письме... И все же он сумел выйти один.

— Послушай, Эмосаку, по условно, обе стороны долж-

ны быть без оружия. Я бы не стал возражать против того, что ты при мече, но уговор есть уговор.

— Ты прав.

Оба сняли мечи и вместе с ножнами передали их своим спутникам, приказав им отойти.

— Итак, прочти собственноручное послание господина Наодзуми Арима. Почерк у него, как ты знаешь, неважный, но...

Эмосаку принял послание с почтительным, глубоким поклоном и тут же прочел его. Оно почти ничем не отличалось от писем, ежедневно прилетавших в замок из лагеря Мацудайра. О том, что князь когда-то сам исповедовал христианство, разумеется, не упоминалось ни словом.

— Послание принял. Тюбэй Асидзука подмогает, я передам ему письмо князя...

Затем Городзаэмон на словах передал содержание письма Мацудайра и, вынув походную тушечницу, занес на бумагу ответы Эмосаку; требования Мацудайра не содержали ничего нового.

— Как обстоят дела в крепости?

Эмосаку начал говорить, не ожидая дальнейших вопросов. В крепости около сорока семи тысяч человек. Точной цифры не знал никто, но в начале года, когда у некоторых стал копчаться рпе, пришлось устроить подсчет, и оказалось, что сорок семь тысяч. Среди них боеспособных — около десяти тысяч, остальные все дети до пятнадцати лет, женщины и старики за шестьдесят... Рпеа, воды, соли и дров пока хватает. Копья и мечи непрерывно куют оружейники из Китаока и Кусяма, а также кузнецы из Фуцу, Додзаки, Ариэ... Пули для мушкетов тоже изготавливают в крепости. Но пороха вряд ли хватит до середины третьей луны...

Городзаэмон внимательно слушал. Эмосаку говорит, не дожидаясь расспросов. Значит, ему хочется сказать о чем-то еще, своем, тайном. Но сказать все начистоту у Эмосаку не поворачивался язык. Все-таки они — по разные стороны крепостной стены. На поле брани возникает своя, особая логика...

Разговор подошел к концу. Неожиданно Городзаэмон указал веером — он по-прежнему держал его в левой руке — на далекий холм Оэ.

— Сейчас там пребывают князь Идзу и князь Наодзуми Арима.

Эмосаку посмотрел туда и потупился.

— Да... — чуть слышно произнес он.

На крепостной стене, меж бесчисленных крестов тысячи его товарищей — крестьян наблюдают за их встречей. Сопровождающие стоят в отдалении, и можно говорить, не опасаясь, что их услышат. Но нет, здесь, на людях, Эмосаку не в силах произнести грязное слово измоны.

Кругом так тихо, не слышно ни перебранки, ни выстрелов.

— Если господин посланник прикажет, я приду снова.

— Понятно. Возможно, мне тоже удастся прийти еще раз... Ну, береги себя.

Они падали свои мечи, спутники, стоявшие вместе, разделились, и каждая группа направилась в свою сторону.

У передовых постов стана Курода Городзаэмона встретили два княжеских самурая. Они сообщили, что, опасаясь за его жизнь, на всякий случай держали в засаде сотню стрелков с мушкетами и двести воинов с копьями. Городзаэмон не поблагодарил их.

Эмосаку вернулся в крепость совершенно измученным и разбитым. У ворот его встретили. Среди встречавших был и Тюбэй Асидзука. Он не пошел вместе с Эмосаку, сославшись на нездоровье, и, наверное, говорил правду; но все же нездоровье было, пожалуй, лишь предлогом. Тюбэй осторожен... Ощущение безнадежности с попой силой охватило Эмосаку, когда он вошел в крепостные ворота.

Солнце закатилось, над морем стучалась мгла. Слышались голоса, читавшие вечернюю молитву.

Эмосаку подробно доложил о свидании. Потом он слушал, что говорили, о чем спорили люди, и вдруг подумал, что слово «оностылело» передает именно то, что он испытывал в эти минуты. Участники совещания громко требовали написать Мацудайра об отказе от всяких сношений. Что ж, они, пожалуй, правы. Смысла в этом более нет... Но сорок семь тысяч человек — пусть даже эти цифры несколько преувеличены, даже наверное так, ведь подсчет производился для раздачи пищи — все сорок семь тысяч умрут страшной, голодной смертью, погибнут все до единого! Разве допустимо такое? А другое разве лучше: исканет продовольствие и боеприпасы, люди обессилят, каратели ворвутся и перебьют всех поголовно. В любом случае — смерть...

Но что даст их смерть? Погиб за веру — прекрасно звучит! Но ощутимый ужас того, что скрывается за этими словами, непереносим для Эмосаку. Воображение художника ясно представило ему, что это означает. Многие, думает он, бросаются со скал в море, чтобы найти там смерть. Чем ярче рисовались его взору художника страшные картины неизбежного будущего, тем сильнее росли в душе тревога, волнение, нетерпение. Он не мог больше спокойно смотреть в глаза людям, как смотрели Сиро, Гэнъямон, Дзэнъямон, как смотрели другие вожди... И взгляд Эмосаку сам собой устремлялся вниз. Как песок сквозь пальцы, просыпались на землю остатки веры, сохранившиеся еще в его душе, и он чувствовал это. Так вот, оказывается, что происходит в душе человека, которому все постыло? Веру хранят живые люди, — не земля, не песок... Если все они умрут, если все жители Амакуса и Симабара погибнут, что станет с верой? А может быть, он и раньше верил вовсе не в христианство. Живые, полные жизни люди — вот что всегда было предметом его веры.

О чем говорить с людьми, помышляющими только о смерти? К чему беседы с ними или совещания? Его уход будет отнюдь не изменой, а вполне естественным, закономерным поступком. Да, естественным, и значит, никто не имеет права упрекнуть его. Когда отстаиваешь себя у смерти, этой неборимой безусловности, — и измена и верность в равной мере оказываются проявлением подлинной жизни. Неужели вера в нашем мире, где все относительно, непременно приводит к этой мрачной безусловности — смерти? Пусть даже ценою предательства ему удастся сохранить жизнь, все равно, рано или поздно, смерть неизбежна... Смертны все — и праведники и подлецы. Эмосаку казалось, что его охватывает безумие. Жена и дети совсем перестали понимать его, да и ни с кем он здесь не чувствует близости. Чужой он здесь! Зато там, за степною крепостью, есть люди, способные понять его, — князь Наодзуми, Городзаэмон и другие...

В пятый день второй луны из крепости послали стрелу с письмом, в котором говорилось, что повстанцы отказываются от переговоров, от обмена посланиями: «Просим уволить нас от ваших мнимых забот...»

Но в восьмой день каратели вновь потребовали временно прекратить стрельбу, и из лагеря Хосокава к воротам Второго бастиона поднялся Сэхэй вместе с несчастной

маленькой Ман; ей было всего семь лет. Сэхэй принес письма от Марты и Регины. Писали они прежнев. «Хотя ранее вы написали, будто среди вас нет насильно обращенных, мы думаем, что это ложь... Говорят, что тех, кто пытался бежать из крепости, вы содержите под строгой охраной... Так вот, если этим людям дадут возможность свободно уйти, нам разрешат соединиться с вами, перейдя в замок...» Письма были явно подделаны, и заключенных, по-видимому, насильно принудили их подписать...

Как бы то ни было, семилетняя девочка в роли посланца потрясла Сиро.

— Ман, как поживает мама?..

— Ее связали веревкой.

— Вот как... Покушай, Ман, деточка! Чего тебе хочется — колобков, сластей, мандаринов?

Девочку окружили крестьяне, большей частью жители Ояно. Многие плакали.

— Святая Марця! Святой Франеск! — со слезами в голосе восклицала старуха о-Соно. Она громко молилась, перечисляя имена всех святых.

Муж Регины — Сатаро Ватапабэ — пришел к Эмосаку за бумагой и кистью.

— Хочу писать письмо...

Эмосаку подал ему кисть и бумагу. Сатаро устремил взгляд на камфарные деревья, покрытые молодой желтовато-зеленой листвой.

— Уже весна... — прошептал он. Кисть проворно забегала по бумаге.

«Дыхание весны коснулось гор, клубятся облака, мчатся в блаженную страну *парайсо*. Пусть окаменеют папи сердца, пусть ручьем льются слезы — будем считать их простой водою... Святая Марця, святой Яго, святой Игнасио, святой Мигель и все святые помогают мне написать это письмо. Я твердо верю, что мы непременно встретимся вновь в раю! Что бы ни свершилось, па все воля божья! Положись же па господа бога! На этом заканчиваю...»

Эмосаку с невольным удивлением глядел на него. Сатаро совсем еще молодой человек. Видно, начитанный. Почему же он писал письмо так просто и спокойно? Ведь жена его — в тюрьме. На лице ни тени грусти — одно смирение. Неужели он и вправду полагается па волю всевышнего?

Наступила пора расстаться. Заложники вновь должны были возвратиться назад, в темницу. Оставить их в кре-

пости нельзя — Регину и Марту ждала бы неминуемая и скорая казнь. Сиро приказал о-Кики подать небольшой ларец. Опустившись перед Маи на колени, он достал из ларца какую-то маленькую вещицу.

— Возьми это с собой. Зажми крепко в кулачок и постарайся, чтобы стражники не заметили...

На маленькой ладошке лежало золотое колечко и два черных шарика — плоды мукуродзи*.

— К этим шарикам прикрепляют птичьи перышки и подбрасывают лонаткой, когда играют в хагонга*. Если ты подкинешь их высоко, высоко, к самому небу, боженька обязательно бросит их тебе обратно и будет играть с тобой... А это колечко — на нем благословение апдзё-сама¹. Смотри не потеряй его, хорошенько зажми в ладошке и отдай маме...

— Хорошо...

Сиро, перекрестившись, смотрел вслед Сёхэю и Маи. Он не пошел провожать их к воротам. Эмосаку услышал, как Сиро прошептал: «Свершилось...»

Эмосаку не понял — что же свершилось?

Сотни людей, громко распевая молитвы, провожали узников к выходу. На обратном пути малютка Маи с удивлением разглядывала крестьянских ребят, которые беззастыдно играли и кричали что-то.

Люди были заняты проводами заложников, когда в том же Втором бастионе Тэскэ, чинивший пробоину в стене, внезапно растянулся по земле и прижался к ней ухом — он услышал нечто странное. Под землей глухо раздавались удары — они раздавались через необычно равные, правильные промежутки времени...

XLIII. Подкоп

— Подкоп! Подкоп! — завопил Тэскэ.

— Где подкоп? — откликнулся Рокудзо, с удивлением наблюдавший за товарищем. Подбежали испуганные Кинсаку и Собэй и тоже присели на землю рядом с Тэскэ.

Из лагеря Набэсима, по направлению ко Второму бастиону, рыли подземный ход.

¹ Апдзё-сама. — Апдзё — японизированное португальское «шпигел» (*apdo*).

Внезапно Рокудзо вскочил и кинулся бежать. Он перепугался насмерть. Надо было немедленно разыскать Дзэнъэмона Яма.

Под землей по-прежнему раздавались глухие, злоеющие удары — казалось, земля вот-вот рухнет под ногами.

Неужели земля может разверзнуться и вся их крепость провалится в пропасть? Во взгляде Кинсаку появилось веселое любопытство.

Подбежал Дзэнъэмон. Лег на землю, прислушался.

— Гм... Действительно, роют...

Дзэнъэмон вызвал Тюбэй Асидзука и Дзимбэй Масуда и распорядился соблюдать порядок и тишину, чтобы не пугать понапрасну детей и женщин.

— Вот, значит, до чего додумались, подкоп решили сделать?! Забавно! Ничего, Кинсаку, погоди, сейчас мы пощекочем этих кротов! — весело говорил он.

Однако подземные удары с каждой минутой слышались все отчетливей, и ничего веселого в этом никто не видел.

Дзэнъэмон держался бодро, но в глубине души был сильно встревожен. Что, если каратели ведут не одни, а множество подкопов — тогда крепостная стена может рухнуть. А что, если противник заложит туда порох?!

Дзэнъэмон уже приготовился к смерти. Вернее, он был готов к ней с первых же дней восстания. И если постоянно старался внушить людям, что здесь у них *вселенская республика*, то делал это, может быть, оттого, что мысль о республике, где все равны, нет ни высоких, ни низких и «все сущее — от одного корня», заставляла людей ясно осознать, что здесь, на этой земле, рай невозможен и нужно быть готовым к смерти... Неужели для того, чтобы остаться жить в веках, на страницах исторических хроник, *вселенская республика* непременно должна погибнуть? Неужели Христос, судимый Пилатом, должен был утвердить свою веру только ценой крестной муки?

Из-под земли доносились размеренные, глухие удары. Противник стремился подорвать и разрушить *вселенскую республику* в самом ее основании.

Прибежал Тюбэй Асидзука.

— Что, я слышал — подкоп?.. В самом деле...

Тюбэй был человеком здравого смысла. Очевидно, рассудил он, противник намерен заложить в подкоп соно и поджечь, чтобы уничтожить опорные сваи крепостной стены. Значит, надо залить подземный ход водой, а еще

лучше — печистотами. Хорошо еще — поджечь сосновую хвою: она сильно дымится, это тоже отличный способ. И он приказал Дзэпэмоу назначить людей для рытья встречного хода. Услышав, что карателей решено выкурить дымом и что в ход пойдут нечистоты, люди повеселели, заулыбались. К этому времени весть о подкопе разошлась по всей крепости.

Растянувшись плашмя, люди прикладывали уши к земле. Так было по всей крепости. А вскоре на Третьем бастионе к стене позвали Гэнэмона Оэ. Здесь велся подкоп от лагеря Хосокава — из-под земли явственно доносились глухие, грозящие бедой звуки.

Тюбай поспешил в Третий бастион. Сюда же явился и Дзэпэмон, уже отдавший необходимые распоряжения крестьянам, собравшимся у стены с мотыгами через плечо.

На участке Гэнэмона надо было принимать срочные меры. Удары здесь слышались совсем близко, гораздо ближе, чем во втором бастионе. Гэнэмон спустился в вырытый вдоль стены ров и, стоя, прижался ухом к земле. Крестьяне принялись старательно сгребать в кучи сосновую хвою, наполнять нечистотами бочки и ведра. Но голодные люди двигались вяло. Овощи в замке давно кончились — в пищу пошла трава, древесные почки. В Третьем бастионе, где скалы были несколько ниже, чем везде, женщины и дети по временам спускались к морю — собирали ракушки и водоросли.

Пришел Эмосаку. В Главном бастионе началось совещание, и Сиро с Дзимбэем поручили ему разузнать обстановку.

Новость о подкопе была очень важна, но сначала следовало решить, как быть с пищей. Рис был на исходе, и уже не раз голодные крестьяне грабили тех, у кого он еще оставался.

Терзаемые голодом, повстанцы с бессильной злобой смотрели на растущий день ото дня лагерь карателей. Все чаще раздавались требования отважиться на ночную вылазку, особенно в бастионе Амакуса. Две тысячи семьсот жителей островов Амакуса не успели захватить с собой достаточно риса. Их вожак Тадзима Хондо особенно настаивал на вылазке:

— Мы должны решиться на это не только ради того, чтобы перебить врагов и сжечь их лагерь... Детям и женщинам нужна пища, а заодно порох и пули добудем...

— Ты прав,— сказал ему Дзэнъэмон.— Но только погоди немного. Сделаем вылазку, вот тогда и покажешь себя, дружище!

...Сиро молча слушал, что говорили остальные вожди. Эмосаку, искоса поглядывая на него, удивлялся, как повзрослел Сиро за недолгое время. Эмосаку догадывался, что все эти дни юноша неотступно думает о судьбе матери и сестер. Лоб юноши избороздили глубокие морщины, щеки ввалились. Положение не позволяло ему говорить о своем горе. Но, верно, он не смыкает глаз, вспоминая жалкую фигурку маленькой Ман. Скорее всего, Сиро не решается говорить даже с отцом. Эмосаку словно видел, как этот юноша рвет все прежние узы, как на глазах возникает из него другой человек — опытный, зрелый муж. Теперь Сиро должен возвыситься над простыми человеческими чувствами, над обычными, простыми людьми, или пасть ниже их — ведь, в сущности, это одно и то же! Верующему облик Сиро, пожалуй, показался бы сейчас просветленным и исполненным благочестия. Историк увидел бы в нем живое воплощение связи между личностью и историей...

А Эмосаку, глядя на Сиро, почему-то слова сознавал себя слугой прежнего господина, князя Наодзуми Арима... Однажды он услышал, как после первого прихода Сёхэя в замок Сиро тихо сказал отцу: «А если и впрямь отпустить язычников?..» Однако тот что-то резко возразил ему, и Сиро, не договорив, умолк. Может быть, Сиро хотел сказать, что надо согласиться с требованиями Мацудайра и выпустить из замка буддистов? Может быть, он хотел сказать, что нельзя подозревать буддистов, принуждать их... Дзимбэй, конечно, пояснил ему, что это вызвало бы сомнения у христиан, и Сиро пришлось замолчать. И если Эмосаку прав, значит, здесь принимаются в расчет лишь военные соображения, а разум забыт, значит, обычные человеческие установления здесь вне закона...

Пусть все они — Сиро, его отец, Тюбэй Асидзука, Дзэнъэмон Яма, Гэнъэмон Оэ — и кто там еще — спешат покинуть сей мир, он, Эмосаку, возвращается к жизни. С теплым чувством думал он о Городзээмонэ, которого не видел долгие годы. Его тянул к себе тот ясный, реальный мир, где все было раз навсегда четко и ясно определено — место господина, его самураев, рядовых воинов и всех прочих... Говоря по правде, он так и не смог привыкнуть

к этим странным людям здесь, в крепости, о которых даже трудно сказать, кто они — крестьяне ли, самураи? Подобно тому как Сиро в эти минуты тосковал по матери и сестрам, так и Эмосаку всей душой тянулся к старому своему другу Городзэмону Арима.

Советание закончилось. Чтобы поднять дух повстанцев, решено было вечером раздать как можно больше вина и риса, устроить песни и пляски, шуметь и веселиться, а заодно хорошенько напугать противника. Ночную вылазку решили устроить дней через десять...

— Послушай, Эмосаку. — К художнику подошел Дзэнзэмон. Он улыбался, но глаза смотрели серьезно. — Ты уже подумал о свадьбе?

— О свадьбе?..

Дзэнзэмон засмеялся.

— Ну-ну, не сердись, я пошутил. Просто твою дочку о-Кикку хвалит народ по всей крепости... Ну, извини, извини... — говорил он смеясь.

— Что такое?! Да я ей строго-настрого прикажу...

— Полно, оставь ее!

— Нет, я скажу ей!

Все еще смеясь, Дзэнзэмон направился к воротам Главного бастиона.

— Не обижайся на него! — успокаивающе произнес Гэнзэмон. — Он пошутил. И потом — что ж тут плохого? Это был бы отличный брак! Разве что рановато...

— И ты тоже взялся шутить падо мной?!

— Да что ты, мастер! — Гэнзэмон засмеялся.

Но Эмосаку был серьезен. Лицо его омрачилось.

— Гэнзэмон, — сказал он, шагая рядом с ним вдоль каменной стены Главного бастиона, — Гэнзэмон! Я всем своим существом ощущаю близкую гибель. Неужели это неотвратно? Подумай, что станет с японским христианством, если все христиане Симабара и Амакуса погибнут, — все до единого человека, даже дети и женщины?

Гэнзэмон вскинул голову.

— Не тревожься об этом, мастер! — отчетливо проговорил он. — Господь наш Христос учит, что каждый человек подобен зерну *. Нас тут — сорок семь тысяч зерен. Может быть, немного меньше, но все же немало. Убить всех не удастся, будь в этом уверен. И потом, попытайся взглянуть на события чуть по-иному. Ведь нами движет не алчность, не гордыня. Вера, мысль, чувство — вот что

нами руководит. И пусть против нас сам сѣгун и все великое японское государство, пусть мы только простые крестьяне с мотыгами и серпами, но вера наша никогда не исчезнет бесследно. Вот ведь загадка, а, Эмосаку?

— Пожалуй...

Да в сравнении с ним Гэпъэмон и Дзэпъэмон — легкомысленные, беззаботные люди! А может быть, так — Эмосаку лишь тревожился о христианстве, а эти двое попросту верили в него?

Дзюдаю Курахати изнывал от скуки. Прежний его господин, князь Тадаюки Курода, — уже под стенами крепости. Дзюдаю заметил синий стяг с белой полосою посредице. Но, в отличие от Эмосаку, не ощутил при этом никакого волнения. Захмелев от вина, он подошел к бамбуковой изгороди, за которой находился барак заложников.

— Эй, пронира, как тебя звать-то? — обратился он к Скабэю Дородо, привязанному к сосне.

— Никак!

— Никак, говоришь? Выходит, ты безымянный? А не прикончить ли тебя, а? Разрублю пополам, и дело с концом. Ну что скажешь?

— Делай, как знаешь...

Скабэй Дородо уже принял решение. В крепости какая-то суета. Кажется, смутьяны собираются сегодня произвести вылазку. Во всяком случае, что бы ни ожидало его впереди — жизнь или смерть, — терпеть осталось недолго.

Освободиться от стягивавших руки веревок было для Скабэя проще простого, но он парочно не спешил с этим — в голове у него созрел новый замысел.

— Эй, Никак! Ну-ка, скажи, кто я, по-твоему?

— Почему мне знать?!

— Бывший ближний самурай князя Курода, Дзюдаю Курахати — вот я кто!

Скабэй замер. Похоже, смутьян говорил правду.

— Ну-ну!.. Ничего не скажешь, хорошим ты стал отребьем! Дрянь, а не человек. Подохнешь здесь, как пес!..

— Придержи язык, убью!.. А хоть бы и как пес — что тут плохого?

— Пойдемте домой! Ну, пойдемте, пожалуйста! — тревожно говорила Кума.

Чуть поодаль стояла изможденная о-Соно и пристально смотрела на Дзюдаю и его наложницу. Нет, не будет этому человеку спасения. Да и Кумэ — тоже. Она уже преданно прислуживает любовнику...

А кругом бешено плясали и горлачили повстанцы. Лишь две команды продолжали усердно и молча рыть подземный ход, и злоеющий стук из-под земли слышался им все яснее и яснее.

Сто двадцать тысяч карателей прислушивались к громким крикам, летевшим из мятежной крепости.

XLIV. Приближение весны

С утра и до вечера одиннадцатого дня второй лупы дул сильный ветер. Он сдул остатки зимы и принес с южных морей дыхание весны. Острова Амакуса скрылись из виду, подернутые туманной дымкой, море вскипело у берега белой пеной.

Вечером того же дня крестьяне из Третьего бастиона, рывшие подземный ход навстречу карателям, наконец увидели их. Вражеские землякопы пустились было наутек. Но повстанцы сделали подкоп с уклоном и теперь туда вылипли огромное количество нечистот, навалили сосновых веток и подожгли. Из отверстия валили густые клубы белого дыма, они низко стелились над землей, а сильный ветер подхватывал и разносил дым по крепости.

Утром двенадцатого дня землякопы встретились с противником и во Втором бастионе. Каратели стали палить в темноте из мушкетов. Тогда в подземный ход послалл Собэй и Кинсаку, однако во время перестрелки в темном, узком подкопе защитники замка оказались в невыгодном положении: они стояли спиной к свету.

Пуля пробила Собэю горло. Помочь ему было нельзя. Из открытой раны хлестала кровь. Казалось, он не дышал, а свистел, как флейта. Шевелил губами, пытаясь что-то сказать, но не смог.

— Собэй, послушай, Собэй! Не смей умирать, слышишь!.. Собэй, послушай!.. — звал его Кинсаку.

Но Собэй уже не дышал, флейта умолкла навеки. Только кровь все еще сочилась из горла, но вскоре и она остановилась. Собэй был мертв. Охотник в медвежьей шкуре,

всю жизнь не выпускавший из рук ружья, он погиб от ружейной пули.

Собэя положили на медвежью шкуру, которой он так дорожил, и прикрыли рогожей.

Бодрствуя, по обычаю, у тела покойника, Кипсаку с болью в сердце предавался воспоминаниям. Как-то раз, еще в самом начале осады, они разговорились. Кипсаку сказал тогда, что недолюбливает христиан, и бранил их за то, что они умирают, даже не пытаясь сопротивляться...

Собэй был родом из Фукаэ, и потому староста его деревни — Капэмон тоже провел ночь возле покойного. Пришли Рокудзо с Тэскэ. Был здесь и Дзэпэмон.

— Горло у него свистело, как флейта.

— Хотел сказать что-нибудь на прощанье.

— Ну что ж, зато проводят его друзья.

Ночное бдение кончилось, и крестьяне расходились по своим отрядам. Кипсаку услышал громкий шепот. «Господь бог, — шептал кто-то, — отвернулся от нас. Он не хочет защитить даже господина Спро...» Ну, нет, он, Кипсаку, умереть не собирается! Пусть он один уцелеет, стрелять в самураев и прочих господ он не перестанет и тогда. Христианство, вера... Все это хорошо, пока ты жив... а ему поможет не вера, а мушкет. Недаром же его прозвали Кипсаку «Попади в иглу». Он не смирится, не даст убить себя, как эти христиане... Эх, побольше бы мушкетов!.. «Мушкет для крестьянина — самое подходящее оружие...» — бормотал про себя Кипсаку, возвращаясь в свою хижину во Втором бастионе. Потеряв товарища, он снова чувствовал себя одиноким, словно охотник в горах.

Во всех уголках крепости люди чутко ловили каждое слово. И чем тише был шепот, тем настороженней они вслушивались. В полночь Эмосаку заметил огонек в окошке у Дзимбэй Масуда и осторожно приблизился к хижине. Там горела свеча. Обычно крестьяне для освещения употребляли раковины, наполненные маслом, но масло кончилось, и теперь почками в крепости было совершенно темно.

Подойдя ближе, Эмосаку прислушался. Кажется, Дзимбэй уговаривает Бернардо уйти из крепости!

— Если мы не решимся, святая вера может вовсе угаснуть в Японии...

Эмосаку напряг слух, стараясь уловить ответ Бернардо, но Дзимбэй понизил голос, и разобрать, о чем они говорили, не удалось.

Всякий раз, когда в крепости умирал кто-нибудь из буддистов, Бернардо звали отпевать умершего, и он, смущенно усмехаясь, шел читать сутры. О своем прошлом он не рассказывал ничего. Стыдился, наверное, что отрекся однажды от христианской веры... Но Эмосаку удивлял не Бернардо, а Дзимбэй. Художник никак не ожидал, что Дзимбэй может заговорить с Бернардо об этом...

Дзимбэй и все его товарищи были раньше вассалами Кониси, и он, Эмосаку, невольно резко отделял себя, бывшего самурая князя Арима, от этих горлопанов с Амакуса. «Только и умеют, что подстрекать мужиков!» — неodobрительно думал он. По его мнению, они были просто-напросто очень себе на уме. И теперь, когда в преддверии гибели, один из них заговорил вдруг о необходимости сбегать к веру, Эмосаку был изумлен. А впрочем, и Дзимбэй мог в крепости среди крестьян переменитьсь.

Дзимбэй и Бернардо вышли из хижинны.

— ...потому я и не хочу... — допелся голос Бернардо. — А что касается свиты господина Сирю, то раз на то его воля, что ж, пусть уходят... Только чтобы люди не видели...

— Разумеется.

Бернардо ушел, Дзимбэй вернулся в хижину.

Утром в бараке для заложников начался переполох. Исчез Скэбэй Дородо. Подозрение пало на Дзюдая Курахати, частенько приходившего подразнить лазутчика, но потом стало ясно, что Скэбэй убежал сам, потому что веревки были целы и ровными кольцами лежали на земле вокруг сосны.

Ослабев от голода, дозорные почвами засыпали, обхватив руками копьё. «Отчего они не бегут?» — не без удивления размышлял Скэбэй. Он почти сочувствовал этим мужикам, страдающим за новую веру. Однако понимал, что если бы им удалось пошатнуть власть сёгуна, то дело не обошлось бы одними стычками князей, как бывало прежде...

Выбравшись из бастиона Амакуса, Скэбэй, не торопясь, прошел вдоль наружных стен Главного, Второго и Третьего бастионов. Добравшись до одного из фортов Третьего бастиона, он остановился и с любопытством прислушался. Из-за бамбукового частокола лагеря Хосокава доносились тихие, приглушенные голоса.

— Быстрее! Да что ты копаешься, сказано тебе, торопись!

Ударил колокол, отбивавший время.

— Слышишь, смена стражи!.. Живо ступай!

Скэбэй едва удержался от смеха. Самурай из войска Хосокава приказывал четверке лазутчиков пробраться в крепость. Но те, присев на корточки, тряслись от страха. Скэбэй ничуть не жалел этих людей, напротив, ему было смешно: «Умирать никто не спешит, тем более когда имеешь дело с христианами, владеющими колдовством...» Самурай привнес две длинные веревки и привязал их к поясам лазутчиков.

— Если тебя убьют, так и быть, труп твой вытащим обратно и похороним...

— Хорошо, ваша милость.

Двое, наконец решившись, полезли к стене, волоча за собой веревки.

Скэбэй не обязан помогать им. Он не стал бы помогать этим лазутчикам, если бы даже среди них нашлись его земляки. Все равно в случае удачи заслугу приминут их князю Хосокава, а Скэбэй подчиняется Дзиндзабуро Мацудайра. Значит, его, Скэбэя, личные успехи никак отмечены не будут.

Но Дзиндзабуро Мацудайра — столичный начальник, а столица есть столица. (Скэбэй нес Мацудайра точные сведения: Танго Токи и других рокинов, слухи о которых приносили правительству столько беспокойства, в крепости нет.)

Два лазутчика вернулись обратно, разузнав лишь то, что было известно давно.

На рассвете в Третьем бастионе поднялся шум. Узнав, в чем дело, Эмосаку улыбнулся. Оказалось, что в крепость пробрались два лазутчика. Двое других, путаясь ногами в перевках, кубарем скатились со склона и скрылись за частоколом лагеря Хосокава.

После одиннадцатого дня второй луны, когда налетели ветры с южных морей, над крепостью каждый день шумели теплые ливни. Начинаясь настоящая весна. Вдали, над островами Амакуса, клубились облака. Люди жаловались на сонливость и вялость. Причиной этого была, наверное, весна, но еще более — нехватка еды.

Некоторые стрелки развлекались, подстреливая ястребов, круживших в небе, за что им крепко попадало. Жена

ицины и дети вылезали из рвов и, словно обезьяны, искали друг у друга вшей. Можно было подумать, что осажденные освободились от всех забот, между тем лица у них стали цвета сухой земли.

В последние дни Эмосаку то и дело взбирался на стену Главного бастиона и подолгу смотрел оттуда на боевой лагерь князя Наодзума Арима. Наконец-то он сообщил о своем решении господину. Если каратели начнут наступать в двадцать первый день второй луны, оп, Эмосаку, подожжет крепость и вместе со своим отрядом перейдет на их сторону. Из семисот его подчиненных пятьсот наверняка последуют за ним, в них оп уверен, — так писал Эмосаку в своем письме. Действительно ли он рассчитывал, что за ним пойдет большинство? Кто знает... Но медлить оп более не мог. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он отправил это письмо, и теперь не находил себе места от тревоги.

Укрепления карателей подошли к самой крепости. Рабочие, строившие линии заграждений, прикрывались мокрыми ватными одеялами — сверху, из замка, в них бросали горящие циновки, камни. В девятнадцатый день второй луны между защитниками Третьего бастиона и рабочими в стане Татибана даже вспыхнула перебранка.

— Эй, вы! Зачем камнями швыряетесь?

— Чего орете? Сами такие же мужики, как мы, а стараетесь для врагов наших!.. — закричал Наокити.

— Это-то верно. Думаете, нам самим не противно! Да только господа приказали... Мы знаем, вы не виноваты. Не бейте нас камнями...

И камни больше не падали.

— Эй, эй, — снова затеяли разговор снизу, — у вас, слышно, есть уже нечего, и живете вы в ямах. Безумные вы! Не упрямитесь, выходите! Если откроете ворота, вам простят всю годовую подать!

— Полно врать!

— Зачем вам врать, наши здесь тоже гибнут!

Ганьэмон что-то приказал находившимся у стены повстанцам. Снизу по-прежнему доносились гомон и крики.

— Весна пришла! Не успеете с севом, целый год голодать будете, слышите?

Один из повстанцев подбежал к Ганьэмону и подал ему кефаль. Ганьэмон поднял рыбу вверх, она еще билась.

— Смотрите, какую свежую рыбу мы едим!..

Когда о происшедшем рассказали Эмосаку, он испытал одновременно и досаду, и глубокую грусть.

Ответа от князя Наодзуми все не было.

В двадцать первый день второй луны в крепости с самого утра было шумно. Предстояла ночная вылазка. Тысяча четырехста бойцов под началом Тюбэй Асидзука должны были напасть на лагерь князя Курода, отряд в шестьсот человек — на лагерь Тэрадзава, тысяча человек — на лагерь Набэсима. Крестьяне прощались с женами и детьми. У каждого на лоб спадал деревянный крестик. Женщины и дети рыдали в голос. Все понимали: бой предстоял не на жизнь, а на смерть.

Вечером в Главном бастионе устроили прощальный ужин. Выпесли анямэ, разрисованное Эмосаку; атласное полотнище развеялось по ветру. Все были молчаливы. Люди осушали чашечки с вином, когда внезапно убежал один из повстанцев. В руках он держал стрелу. Эмосаку переменялся в лице. Обычно стрелу с письмом отдавали сначала ему, он первый читал послание и сообщал содержание остальным. Но в последнее время все порядки нарушились.

Стрелу принял Тюбэй Асидзука. Он прочел письмо и молча обвел взглядом присутствующих. Затем встал и подошел к Эмосаку.

— Эмосаку, а ведь ты замыслил измену... — тихо сказал он. — Спокойно, друзья, не волнуйтесь!..

Все так же негромко Тюбэй сообщил содержание письма. Это был ответ князя Арима. «...твое письмо получили мы с опозданием, надо договориться о новой дате...» Сиро не поднимал глаз. Эмосаку схватили и под охраной Тадэима Хопдо и великана Ивоскэ отвели в барак для заложников. Там его связали той же веревкой, которой незадолго перед тем был связан Сэбэй Дородо, и прикрутили к той же сосне. Жену и детей заключили в барак, где помещались заложники. Исключения не сделали даже для о-Кюку.

В два часа ночи началась вылазка. Но каратели успели подготовиться к ней. Крики и плач, целый день доносившиеся из крепости, раскрыли им намерения повстанцев. Опоясанные веревками, с деревянными крестами на лбу, крестьяне, как безумные, кололи и рубили копьями и мечами. Они потеряли семьдесят пять человек убитыми; ранено было двести семьдесят два... В темноте многие по-

страдали от рук своих же товарищей. Но главного достигнуть не удалось. Захватили всего только два ящика с порохом в лагере Тэрадзава.

В эту ночь тихо скончалась старуха о-Соно. Луна, мутно светившая сквозь туманную пелену, озаряла смерть старой женщины. Издали доносились крики и вопли сражавшихся.

Не вернулся из боя Дзюдаю Курахати. Рассказывали, что он неистово бился в стане бывшего своего господина, князя Тадаюки Курода. В войске Курода был убит старший самурай Кэнмоцу Нагаока. Кос-кто высказывал предположение, что они убили друг друга. Так ли оно было на самом деле, никто не знал. Не вернулся и Наокити.

XLV. По своей воле

В двадцать второй день второй луны Кацусигэ Мидзуно прибыл на земли Арима. Восемьдесятдвухлетний старик был облечен высоким доверием самого Иэмидзу, который поручил ему решение всех военных вопросов. Держался он бесцеремонно, даже грубо.

Свой дом в Фукуяма Кацусигэ покинул в самом начале февраля, но ехал нарочно не торопясь и добрался до боевого лагеря лишь двадцать второго. «Спешить некуда. Все равно без нас им замок нипочем не взять», — без обвиняков говорил он. С ним пришли пять тысяч воинов, а также сын Кацутоси и внук Кацусада.

Дождавшись прибытия Мидзуно, Мацудаёра собрал всех старших военачальников. Мидзуно со свитой участвовали в совете на особых правах. Князя рассаживались по местам чинно, но на душе у каждого было неспокойно. Мацукура и Тэрадзава, главные виновники смуты, робели в присутствии таких важных лиц, как Хосокава и Огасавара. А те держались падменно.

Отвесив Мидзуно поклон, Мацудаёра открыл совет.

— Позволю себе напомнить еще раз, — произнес он, — что в соответствии с указаниями, полученными при отъезде из Эдо, и впоследствии неоднократно подтвержденными письменно, через гонцов, прибывавших к нам из столицы, мы до сих пор и помыслить не смели о решительном штурме замка. Но вот прибыл наконец господин

Мидзуно. Если у кого-нибудь есть дельные предложения, прошу высказаться.

Заговорил Тода:

— Мы придвинулись вплотную к мятежной крепости и, конечно, кое-что уже можем сделать, но, соблюдая приказ, полученный свыше, полагаю, смутьянов следует взять измором. Подождем, пока они все не передохнут от голода. Мы распоролы живот одному из бежавших из крепости и убедились, что еды в крепости давно уже нет!

Молодой Сигэнори бросил на Тода быстрый взгляд и тотчас же вновь потупился. Он не верил своим ушам. С первых дней прибытия в лагерь Тода непрерывно требовал взять крепость штурмом. Не он ли подтолкнул Итакура к смерти? Когда же он успел так круто изменить свое мнение?

Все молчали, никто не решался заговорить. Присутствие старых, прославленных полководцев — Мидзуно и старого Татибана — скопывало уста.

— Каково будет ваше мнение по поводу предложения господина Тода? — с новым поклоном спросил Мацудаира.

— Ладно, — начал Мидзуно, — я скажу, а вы слушайте... Когда эти голодранцы только еще собрались в своей крепости и подняли бунт, вот когда следовало морить их голодом, а войска беречь. И это было бы только разумно — тогда! Но этого не сделали вовремя, потеряли множество воинов, и сам Итакура погиб... Скудоумные замыслы! Теперь, когда разбойникам нечего жрать, подобает ли храбрым самураям сидеть сложа руки и ждать, пока они сами передохнут? Сколько живу на свете, ни разу еще не слышал, чтобы на врага нападали, когда он силен, неся вслеческие потери, и отступали в сторонку, когда враг слабее, чтобы издали наблюдать, как он издохнет... Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить, как лучше без промедления овладеть крепостью!

Тода опустил голову. Зато Набэсима и Хосокава сидели с торжествующим видом.

Мацудаира пашелся мгновенно.

— Прошло уже более двадцати лет со времени Осаких кампаний, — сказал он. — Прежних прекрасных полководцев осталось немного. Можно сказать, — только вы, господин Мидзуно, да вы, князь Татибана... Плох правитель, умеющий править страной лишь только в мирное время и не в силах совладать со смутой. Так же плохо,

умея усмирять недовольных, но зная, как управлять государством в мирное время... Если все наши усилия положить только на то, чтобы всячески воздерживаться от сражения, к чему это приведет, случись в будущем новая смута? Беречь людей — качество, достойное государственного мужа, однако, памятуя о грядущих судьбах страны, надлежит нам последовать совету господина Мидзуно и овладеть крепостью. Всю ответственность я целиком беру на себя.

Не успел он договорить, как князя Хосокава и Набасима наперебой, опережая других, стали требовать поручить штурм Второго и Третьего бастионов именно им. А остальные войска пусть в это время воодушевляют их боевым кличем...

И Мацудайра и Тода — удивительное дело — тут же согласились с ними.

Внезапно князь Огасавара поднялся с места и молча вышел. Другие князья были тоже недовольны этим решением Мацудайра. Для чего, собственно, они ехали сюда, в такую даль?!

Снова заговорил Мидзуно. Он начал с рассказа о битве при Адзукидзака, когда ему было шестнадцать лет, потом перешел к штурму крепости Сува, добрался до битвы при Сэкигахара и Осацких кампаний и, наконец, сказал, что добиваться первенства в бою — весьма и весьма похвально, однако это лишено смысла, если остальные военачальники не двинутся с места, а войска их будут только громко кричать... Кто же здесь, позволено спросить, старший? Совет, на котором не чувствуется направляющей руки, — сведется к пустой болтовне. Исход войны решается не на словах, а в бою. И если князья не объединят свои помыслы, станут воевать вразброд, каждый по своему разумению, нового поражения не миновать...

— Мне нет нужды еще раз напоминать вам, что князь Идзу здесь главный начальник. Ему и решать. А меня, старика, прошу извинить — длинные речи мне держать трудно... Сейчас, с вашего позволения, я хотел бы удалиться к себе и отдохнуть... За меня останется мой сын Капутоси. Военачальник он неискусный, однако во время Осацких кампаний сражался с Матабэем Гото при Ямагоути, так что в военных делах кое-что, полагаю, смыслит.

После ухода Мидзуно порядок на совещании нарушился. Князь Курода был вне себя от ярости. У него были

давние счёты с Хосакава и Набэсима. По мнению князя Курода, оба князя просто сговорились за спиной остальных, чтобы присвоить себе все заслуги в этой войне. А между тем войско Курода понесло самые большие потери во время почной атаки мятежников. Убит его старший самурай Кэймоцу. А чем забавлялся в это время князь Хосакава?

Решительный штурм был назначен на раннее утро двадцать шестого дня второй луны. Каждый жаждал славы для себя и для своего войска. Только Тэрадзава и Мацудура сидели попурившись, они утратили все надежды. Молодой Сигэнори и гнев подступил к Мацудайра.

— Конечно, неизвестно, кто именно из смутьянов повинен в смерти отца, но ответ будут держать Сиро и Тюбэй Асидзука. Прошу предоставить мне место в первых рядах, когда мы будем наступать на их логово!

Мацудайра обещал подумать, но ясного ответа не дал. Мэцкэ, прибывшие в лагерь вместе с Итакура, а затем и вместе с Мацудайра, также добивались участия в бою, но ставить их было уже некуда. Сражение грозило превратиться во всеобщую свалку. Нельзя позволить, чтобы войны сражались друг против друга! Отношения Хосакава и Набэсима так обострились, что, того и гляди, мог случиться взрыв. Мацудайра всеми силами старался направить совещание в спокойное русло и в конце концов сумел заставить членов совета принять его приказ.

Приказ состоял из шестнадцати пунктов. Один удар колокола означает начало еды, бой барабана означает выступление, звуки раковин — начало штурма. Пароль и отзыв: «Страна». С кораблей Хосакава и Курода дается холостой залп. Авангард и арьергард соблюдают строгий порядок, войска арьергарда не пытаются обогнать авангард...

На этом военный совет закончился. Военачальники разошлись, каждый со своими мыслями, своими тревогами.

Облегченно вздохнув, Мацудайра пригласил к себе старшего мэцкэ Масасигэ Ипоуэ. Он рассказал ему о решении военного совета. Хотел было поговорить с Ипоуэ о прочих делах, чтобы немного отвлечься, но у того на лице застыло каменное выражение.

— Господня Мидзуно — полководец с великими заслугами, однако позволяет он себе слишком большие воль-

ности. Своим поведением он первый нарушает порядок ведения войны.

Мацудайра был изумлен, но пытался скрыть изумление.

— Вот как? — засмеялся он. — Да, пожалуй, старик держится независимо. Но ведь он покинул совет, оставив нам окончательное решение...

Мацудайра говорил очень невразумительно. «Вольности», о которых говорил Иноуэ, действительно были, и Мидзуо действительно нарушал установленные порядки.

Заговорили о другом.

— А все-таки, господин Мацудайра, как вы полагаете, отчего японские крестьяне и самураи так легко и бездумно приняли чужестранную веру?

— Веру?..

Вопрос был неожиданный, и Мацудайра задумался.

— Возьмите, например, Укон Такаума или Юкинага Коиси, или хотя бы Харунобу Арима... Чем это объяснить? И потом, как получается, что темные невежественные мужики по собственной воле, без всякого принуждения собираются вместе и сопротивляются столь упорно?

— Да, об этом и впрямь можно задуматься. Как только они принимают чужую веру, тотчас поддаются обману. Едва лишь усвоят эту ересь, становятся на редкость упорны. Истинны ради надо сказать, что жилось здешним крестьянам очень тяжело, и без какой-нибудь веры им, пожалуй, было бы еще хуже.

— Согласен. Это — одна из причин. — Иноуэ вдруг рассмеялся. — А ведь бесполезно было бы как следует изучить это их христианство!

Мацудайра внимательно посмотрел на него. Пройдет некоторое время, и Иноуэ станет во главе всей секретной службы. Он будет занят возвращением всех христиан в лоно буддизма, станет главным искоренителем всех религиозных ересей.

Старый Мидзуо ждал возвращения сына. К какому решению пришел совет? Сын сказал ему, что определен в резерв, но вовсе не собирается подчиниться, и пусть это называется нарушением воинского порядка или как-нибудь еще, он намерен биться в первых рядах. Отец и сын громко расхохотались.

В двадцать пятый день второй луны все время лил дождь. Закончив приготовления к битве, самураи шата-

лись по лавкам, раскинувшим навесы между боевыми стенами, пили, буянили.

Наступил двадцать шестой день. Дождь не прекращался, дул ветер, море стонало. Штурм отложили на двадцать восьмой день, а в двадцать седьмой — под началом рыцаря Тода состоялся еще один совет.

Скоро конец — это понимали все защитники крепости. Несмотря на дождь, обстрел усилился. Пули, со свистом летевшие с шести осадных башен на высоких холмах, загоняли повстанцев в укрытия. А у самих повстанцев пули и пороха уже почти не осталось. Кинсаку «Попади в иглу» повольно рассматривал выданные ему пули, изготовленные из обожженной глины.

— Да разве с этим что-нибудь сделаешь? — с досадой бормотал он, перекатывая на ладони рыжеватые шарики.

В последнее время каратели почти не стреляли свинцовыми пулями, которые годились для переплавки. Стреляли одними железными. Приходилось готовить пули из глины. Кинсаку огорчался еще и потому, что больше нельзя было, по любимой привычке, надкусывать пулю, прежде чем послать ее в цель.

Стремясь уберечься от выстрелов, люди постепенно покидали боевые позиции и прятались во рвах и укрытиях.

Да, близился конец. Вдруг прошел слух, будто на бастионе Амакуса съели человека. И кого съели? Того самого ростовщика Хикодзо, который недавно повесился на Сосновой горе...

Многие женщины, потерявшие мужей во время ночной вылазки двадцать первого дня второй луны, вместе с детьми бросались со скалы в море.

Еда вся вышла, ели траву, но и трава была на исходе. Некоторые, у кого еще были силы, ходили в Главный бастион и умоляли дать пищу детям и женщинам. Остальные неподвижно лежали во рвах и ямах, безучастно глядя в небо. И все-таки, за все время осады из крепости бежало не более двадцати человек — и христиан и буддистов. Некоторые украдкой переправили жеп и детей за стены крепости.

В двадцать пятый день второй луны под проливным дождем обсуждали вопрос о повторной ночной вылазке.

Свита Сиро стала вполонину меньше, но никто уже не обращал на это внимания.

— В крепости печего есть, боевые припасы кончаются...

— Нужна еще одна вылазка. Надо добыть еду нашим детям и женщинам...

Решено было выйти из крепости в три часа утра двадцать восьмого дня. Участвовать в вылазке определили пять тысяч человек в трех отрядах. В каждом отряде старший наденет белую одежду, остальные возьмут с собой по несколько белых флажков, чтобы обмануть противника: пусть думают, что их не пять тысяч, а гораздо больше. Оставшиеся должны собраться по сигналу барабана в Третьем бастионе — их поднимут на стену.

Наконец дождь прекратился. Люди сушили одежду. Ярко блестела молодая листва камфарных деревьев. Зацвела вишня.

В Третьем бастионе возле Гэнъэмона Оэ собрались Дзиэмон, староста Южной Арима, его младший брат Какудзо и Санкити, брат погибшего в ночной вылазке Наокити. Поглядывая на цветущие вишни, они толковали о Страшном суде.

— С вишен все началось, вишнями и окопчнется... Святая благодать!

— В самом деле...

— Цветущие вишни проводят нас всех в последнюю дорогу, в *парайсо*...

Удивительное дело — они не ощущали ни тоски, ни уныния.

— Как же это вышло, что Эмосаку Ямада нас предал?

— Не верил он никогда в нашего *дэуса*. И христианском стал, как видно, для того только, чтобы поглядеть на редкостные картины и самому научиться рисовать так же. Он ведь не то что наш брат, крестьянин, да и кто знает, чего он тогда хотел...

— Возможно, что и так.

— И потом, уж очень он крепко любил земного своего господина, князя Наодзуми Арима.

— На то он и самурай. Но когда Наодзуми отрекся от святой веры и отправился в Нобзока, Эмосаку не поехал за ним, остался в Кутиноцу.

— А мне с самого начала казалось, с Эмосаку что-то неладно.

— Отчего же, господин Гэнъэмон?

— Ведь это я ходил к нему просить, чтобы он разрисовал для нас атласное знамя. Он согласился, и надо сказать, сделал свою работу прекрасно!.. Чересчур прекрасно! Не от всего сердца, а как-то слишком искусно...

Подошел Дзэнъэмон. Он хотел попрощаться.

— Мы говорим об Эмосаку, — пояснил Гэпъэмон. — По моему, Эмосаку вообще был слишком искусен и ловок во всем. У него под пачалом находился отряд, он ведал почтовыми стрелами, заботился о подчиненных крестьянах, распределял еду — и все это так усердно, что лучше и не придумаешь... Еду он распределял до того умело и строго, что в его отряде и по сию пору нет голода, так что другие ходят к ним, просят поделиться...

— Ну, дальше.

— Чего ему не хватало — так это терпения. Ведь он художник — а царства небесного, что родилось в сердцах человеческих, рассмотреть не сумел. Терпения не хватило... Стоит увидеть и понять это, — и царство небесное предстанет перед твоим взором ясно, как на ладони... Я прав, Дзэнъэмон?

— Конечно. А иначе зачем бы нам восставать против всего великого японского государства? Конечно, прав!

— Незадолго до казни господина нашего Иисуса Христа подошла к нему женщина по имени Марья и щедро умастила его драгоценным маслом. Тогда один из учеников, разгневавшись, сказал: «Вот бесполезный поступок! Сколько бедняков можно было накормить на деньги, вырученные от продажи этого масла!» Но Христос прервал его и сказал: «Бедняки есть всегда и везде, вы должны помогать им, я же не вечно пребуду с вами... Вскоре я приму казнь на кресте и сделаю это не по чьему-либо наущению, а по своей воле, чтобы указать всем людям путь к спасению... Женщина эта потому и умастила меня драгоценным маслом, что уразумела это. В душе ее — вера живая...»

— И что же потом?

— Тот его ученик, который сердился, не видел в жизни ничего, кроме ежедневных забот, только и думал о делах житейских. Христос был ему бесконечно далек, как будто в другом мире... Люди часто помышляют только о насущном и близком. Но, когда в грядущих веках они станут рассказывать друг другу о нашем восстании, предательство Эмосаку только лучше оттенит благородство

оставшихся. Чтобы сохранилась память о нас, судьба припесла Эмосаку в жертву.

Дзэньэмон согласно кивал. Крестьяне же, толком не понимая, о чем тот говорит, тоже кивали, как бы желая показать, что полностью с ним согласны.

— Мы и есть то самое масло! — вдруг громко засмеялся Дзэньэмон. — Оно — кровь и плоть наша — щедро льется здесь, в крепости Хара!

На следующий день обстрел усилился и пришлось оставить бастионы.

XLVI. Прощание

Настушило утро. Весеннее море тихо плескалось о берег. Над заливом Ариака, над островом Юсима встало солнце. Крестьяне приветствовали восход хлопками в ладоши. Стародавний народный обычай вновь воскрес перед лицом смерти.

Всем повстанцам, находившимся в Главном, Втором и Третьем бастионах, было приказано покинуть бастионы и отойти в укрытия, оставив на стенах только дозорных. Это было необходимо для предстоящей ночной атаки. Нужно было подготовить оружие, дать отрядам точные указания. Из двенадцати тысяч боеспособных крестьян отобрали пять тысяч самых сильных и крепких. Если они будут разбиты, это — конец: вслед за их поражением неизбежно начнется штурм крепости.

Тэскэ и Рокудзо упростили взять их в ночную атаку. Оба получили по алебарде, а Тэскэ заткнул за пояс еще и пилу, чтобы отпилить ею голову Мондо Тага, виновнику гибели брата.

— Думаю я, сегодня все кончится... — сказал Рокудзо.

— Да ты что?!

— А что, я — ничего...

— Сегодня все только начинается!

— Как это — начинается? — Рокудзо удивился.

— До сих пор мы только и знали, что строить или подновлять дома, иначе сказать — были простыми плотниками.

— Ну и что?

— А сегодня мы поднялись стуленькой выше!

— Как это?

— Раз пришла пора умирать, — значит, ни пилы, ни

рубанок больше нам не пужны... Выходит, мы тоже теперь стали беззаботными, словно богачи...

Повстанцы прощались друг с другом. Рвы были переполнены — в них разместились люди, пришедшие из бастионов. Измученные, грязные, потерявшие облик человеческого, так что невозможно было отличить женщину от мужчины, они горевали и сокрушались в преддверии вечной разлуки. Вокруг Лотосового пруда поднялись к небу струйки дыма — варили последний ужин.

— Эй, речной Таро! Эй, речной Таро, выходи же к нам на подмогу! Принеси нам риса! — пронзительно кричала безумная.

В гладкой поверхности пруда отражалось ясное небо; кое-где уже показалась зелень кувшинок и молодых побегов лотоса. Старые корни давно вырвали и пустили в пищу.

Во втором бастионе, в глубоком рву, укрылось множество женщин с детьми. Крышей служили рогожи и ветки, насланные поверх толстых бревен, переброшенных через яму. Но листва с этих ветвей уже осыпалась, и из глубоких ям тянуло зловонием. Плакали голодные дети. Женщины пробирались к морю, собирали водоросли и совали в рот детям — другого способа утолить голод не оставалось. Многие молодые женщины упростили выдать им копыя — они научились здесь владеть ими.

В третьем бастионе спутники покойного Тэзмона Минайси сидели вокруг могильного холмика, осененного крестом.

О-Кийэ и Бунго пришли поклониться могиле старой о-Соно; не забыли они окропить водой и могилы Педро Дайхати и Хикодзо, похороненных рядом.

— Скоро мы тоже придем к вам, бабушка! Ждите нас! — шептала о-Кийэ.

— Скоро, скоро! — поддакивал Бунго. Он во всем был согласен с женой.

Подняв голову, они увидели, как придурковатый Ипоскэ вывел из барака для заложников Эмосаку, его жену и детей и потащил их.

На состоявшемся утром военном совете Бернардо отказали в просьбе участвовать вместе со всеми в ночной вылазке. Вожди восстания хотели уберечь Бернардо. Он

должен был скрыться из замка. Сам Бернардо не раз встречал тайных проповедников под видом нищих или странствующих монахов, однако у него душа не лежала к такой жизни. Ему было приказано замесить Эмосаку в Главном бастионе, а если вылазка сорвется, руководить обороной крепости во время штурма.

Военный совет закончился в десять часов утра.

— А как поступить с Эмосаку? — почти одновременно спросили Скээмон и Самбэй.

Гэйзэмон молчал. Хранил молчание и Дзэпзэмон Яма.

— Зарубить! — произнес Дзимбэй Масуда.

Сиро опустил глаза.

Не успел Иноскэ, облаченный в рогожу и самодельные доспехи из сковородок, притащить на веревке связанного Эмосаку с семьей, как вдруг откуда-то со стороны Второго бастиона долетел пронзительный детский крик.

— О-о-ой, мамочка!.. — явственно прокричал детский голос.

На мгновение вся крепость замерла, содрогнувшись от ужаса. То было начало штурма. Отвод людей с бастионов был роковой ошибкой. Каратели захватили повстанцев врасплох.

— Веди! — крикнул Дзимбэй Масуда.

Военный совет немедленно распустили; все бросились по местам.

— Прощай, Эмосаку! — произнес Гэйзэмон. Следом за ним повторил слова прощания и Дзэпзэмон Яма. Остальные молчали.

Сиро так и не поднял взгляда.

Иноскэ вывел Эмосаку с семьей на площадку, расположенную между Главным и Вторым бастионами.

Войска Набэсима и Мидзуно лавиной ринулись на Второй бастион, сметая на своем пути фашинпы и частокол, а следом за ними беспорядочной толпой, смеяв ряды, устремились отряды Огасавара, его сына Тадамаса и молодого Сигэнори Итакура. Вскрабавшись вверх по скалам, они перевалили через степу и ворвались в крепость. Князь Огасавара, взобравшись вслед за своими воинами на крепостную стену, взглянул вниз и был ошеломлен открывшимся ему зрелищем.

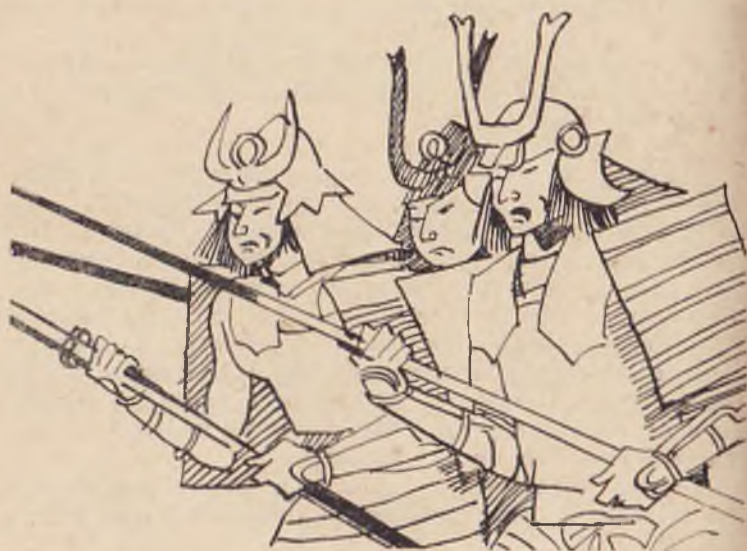
Войска ворвались в замок как раз на том участке, где находились рвы, служившие укрытием детям и женщинам.

Самураи тотчас же продвинулись вперед, всеми силами стремясь преодолеть высокую каменную ограду Главного бастиона. Но пехотинцы...

Густые столбы белого дыма от подоженных лачуг и хижины мешали смотреть. Когда дым наконец рассеялся, Огасавара не поверил своим глазам.

Воины уже прыгнули внутрь рвов, заполненных жемчужинами и детьми, кололи копьями и рубили мечами. Лилась кровь, в воздух влетали отрубленные детские головы, руки... Вот разрублена пополам какая-то женщина, заслонившая грудного ребенка. Воины с ног до головы были забрызганы кровью, но все продолжали рубить, колоть... Со дна ямы неслись страшные вопли, землю устилала обезображенные, искромсанные в куски трупы, а вопли, тонча их ногами, все еще убивали... Вот кто-то бросил вниз горящие циновки и доски. Огонь мгновенно перекинулся на сухие ветки, заменявшие крышу, и она, пылая, рухнула в ров. Послышались подрывные крики: «Сант... Яго-о-о!.. Даус!..» В яме бушевали дым и пламя, воздух наполнен был удушливым запахом горелого мяса.

Каратеди отрезали носы у трупов и запихивали в походную сумку в доказательство своих подвигов. Видно,



рассчитывали на то, что женский нос не отличить от мужского. А может быть, собирались после боя перепродать эти носы самураям?..

Князь Огасавара заметил воинов Хосокава. С какой же устрашающей быстротой они действуют! Ведь войско Хосокава должно было наступать на Третий бастион,— значит, они уже сделали свое дело и устремились сюда..

Иноскэ усадил Эмосаку, о-Тиё, Гонноскэ, Васаку и о-Кикю рядком возле стенки Главного бастиона. В руках у него был слегка изогнутый меч прекрасной работы. Меч этот достался ему во время ночной вылазки двадцать первого дня второй луны, когда он прикончил какого-то самурая и забрал его оружие.

Резким движением он выхватил меч из ножен. Дозорные, стоявшие на площадке, затаили дыхание. С о-Тиё и детей сняли веревки, только Эмосаку оставался по-прежнему связанным.

— Ну, скоты поганые, конец вам пришел! — Иноскэ взмахнул мечом. Глаза его налились кровью.

Этот придурковатый силач, причинявший немало хлопот своим землякам в Кутиноцу, тогда тем не менее не убивал людей. А ведь он добродушный, считали многие.

Дым уже вползал на площадку.

— Гляди же, Эмосаку!

Меч упал на плечо Гонноскэ, разрубив юношу наискось. Васаку повалился в кровавую лужу, но Иноскэ пивком ноги опрокинул его навзничь и вонзил меч в грудь.



Задев колесо Эмосаку, покати́лась отрубленная голова о-Кику, а следом за ней меч рассек плечо и грудь о-Тий. В этот миг люди, стоявшие на камеппой степе, отчаянно крича, стали прыгивать вниз. Многие падали замертво. За ними гнались самурай — с обнаженными мечами в руках, с боевыми стягами за спиной.

Толпа увлекла за собой Иноска. Иноска орал, что главного-то преступника, Эмосаку, он не успел прикончить, но никто не слушал его криков. Охваченные ужасом люди метались, ища спасения, они спотыкались об окровавленные трупы Васаку, Гонноска, о-Тий и о-Кику, скользили и оступались в крови. Кто-то толкнул Эмосаку, и он, связанный, упал в лужу крови — то была кровь его жены и детей. Кто-то из бежавших наступил ему на лицо. Потом на какое-то мгновение все внезапно стихло. Извиваясь, как червяк, Эмосаку приподнялся.

Побежали облаченные в тяжелые доспехи самурай, и снова пинок ноги свалил Эмосаку. Прямо перед его глазами валялась отрубленная голова о-Кику. Рядом в луже крови плавала книжка «Что надлежит знать христианину?» — должно быть, выпала из-за пазухи Васаку или Гонноска. Страницы медленно пабухали кровью... Так вот он каков, конец духовных исканий? Над землей низко стелются клубы черного и белого дыма. Сквозь дым движутся победители. Страшный, предсмертный вопль, какого никогда еще не приходилось слышать Эмосаку, дошел до него со стороны Соснового форта. Он снова приподнялся и вдруг услышал чей-то голос. Видеть он не мог — лицо и глаза заливала кровь, бившая фонтаном из головы и тела о-Кику.

— Э, да он связан... Кто такой? Эй, ты слышишь меня?

Эмосаку терял сознание.

— Кто такой? — Ну!.. — кричал голос.

Кричал самурай, не крестьянин.

— Я... я... мое имя — Эмосаку Ямада... бывший слуга князя Наодзуми Арима...

— Что? Слуга князя Наодзуми Арима?... Болтай, да не завирайся!..

— Правда... это правда... у меня есть доказательства... За воротом кимоно лежит письмо князя...

— Что такое?!

Грубая рука шарит за пазухой. Когда Эмосаку взяли



под стражу, кто-то из повстанцев с бранью сунул ему за пазуху письмо Арима — на, мол, получай, если так влюблен в своего князя!..

Самурай пробежал глазами письмо.

— Так, ясно! — услышал наконец Эмосаку.

XLVII. Кто расскажет об этом?

К вечеру с вершины Ундзэн задул резкий северный ветер. Пылали хижины во Втором и в Третьем бастионах, ветер подхватывал дым и уносил далеко в море, к самым островам Амакуса. Крестьяне сопротивлялись отчаянно, стойко держались до последней минуты. Всех постигла страшная судьба — юных и старых, мужчин и женщин.

Чтобы не мешали битве, детям и старикам заранее приказано было не выходить из хижин. Теперь эти хижины полыхали. Обезумевших, обожженных людей тут же убивали. Остальные невольно пятились обратно в огонь. Пощады не было никому. В поисках спасения метались потерявшие родителей дети — некоторые ребятишки цеплялись за ноги победителей-самураев, но те отбрасывали их линком и рубили. Горели хижины, построенные на дне глубоких рвов, оттуда вздымались языки пламени и клубы дыма. Женщины, старики, дети сами бросались в эти пылающие огнем ямы.

Другие кончали с собой, бросаясь со скалы в море. Был час прилива, светло-голубые волны, по-весеннему тихие, плавно набегали на берег.

Дым окутал весь замок, черно-белые клубы стелились над морем.

Князь Хосокова сдерживал большую часть своего войска, не позволяя воинам вступить в бой даже, когда воины Набэсима ворвались во Вторую башню, подожгли его и следом за ними в этот прорыв устремились войска всех остальных князей. Взобравшись на осадную башню, он напряженно следил за ходом сражения. Ему уже доложили, что один из его вассалов, Сада Нагаока, с отрядом прорвался за ограду Третьего бастиона. Самурай и рядовые воины рвались в бой. Только убедившись, что все остальные князья уже двинули свои войска, князь наконец дал приказ к наступлению. Третий бастион обороняли самые сильные, отборные отряды бунтовщиков; но сейчас они

отошли на выручку гарнизону Второго бастиона. Убедившись в этом, Хосокава наконец-то ослабил узду. Когда его войско, взломав ворота и преодолев стены Третьего бастиона, вместе с четырехтысячным отрядом Татибана хлынуло в крепость, битва превратилась в избиение.

Самураи построились, взяли копыя наперевес. Крестьяне сомкнулись в цепь, выставили копыя навстречу. Начался бой. Сближались и отходили ряды. Раз, другой, третий... Голодные, измученные, повстанцы были уже не в силах сражаться с прежним проворством. Их ряды расстроились, и сквозь бреши ринулась толпа стариков и детей, спасавшихся от огня.

Двадцать тысяч воинов Курода под началом самого князя, свирепого Тадаюки, ворвались в бастион Амакуса. За ними устремились воины Арима, Тэрадзава и множество рониннов, примкнувших к отрядам. Началась резня. Особо быстро стремительно действовали воины Хосокава. Не обращая внимания на малочисленные разрозненные отряды повстанцев, оставшиеся в тылу, они упорно продвигались к воротам, отделявшим Третий бастион от Второго, и вскоре, овладев воротами, проникли во Второй бастион.

Прочные стены, разделявшие бастионы, сослужили плохую службу повстанцам, когда битва, превратившись в настоящую свалку, завязалась внутри самой крепости. Крестьяне отступали к Главному бастиону. Тут уж им самим пришлось ломать ворота и разрушать стены. Самураи настигали их, рубили мечами, пронзали копьями. Они наступали отовсюду, со стороны Лotosового пруда, из ворот Третьего бастиона.

Часть Второго бастиона уже застилал дым — это воины Набэсима и Мидзуно, первыми захватившие форты, успели поджечь постройки. Теперь путь им преграждала высокая каменная стена Главного бастиона. Крестьяне и преследовавшие их самураи приближались к берегу Лotosового пруда. Хижины по берегам пруда горели. Пруд, заваленный трупами, покраснел от пролитой крови. По воде брели растерзанные, обожженные дети и женщины; увязая ногами в иле, раздвигая молодые побеги лotosов, они стремились подальше от берегов, туда, где поглубже.

Наступающие тоже несли потери; каждый десятый был убит или рабен. Передовые отряды Хосокава совсем выдохлись к тому времени, как достигли наконец Второго бастиона, но остальные, соперничая между собой в борьбе

за славу, обгоняли уставших и спешили вперед. Некоторые самураи присели передохнуть. Их оруженосцы и слуги отрезали для своих господ головы убитых повстанцев. Подходили все новые отряды Хосокава, они достигли наконец ворот Главного бастиона и начали карабкаться вверх.

Кинсаку «Попади в иглу» притаялся за стеной одного из фортов во Втором бастионе. Спрятавшись за бамбуковую фашину, Кинсаку стрелял попеременно из двух ружей — у него было теперь ружье его убитого друга Собэя Медвежьей Шкуры. Сейчас он остался совсем один, но все продолжал стрелять, почти в упор поражая врагов. Воины Набэсима и Мидзуно то и дело перепрыгивали через стену прямо над его головой.

Вдруг кто-то из самураев заметил, что, прыгая, воины подворачивают о фашину ноги, и прислонил к ней огромный щит. Теперь Кинсаку оказался за двойным укреплением.

— Ну, вот и все. Делать мне больше ничего... — пробормотал он и присел под щитом, поставив ружья между коленками. Размахивать мечом или колоть копьём — лет, это не для него. Этого он не умеет. Но что ж ему теперь делать? Рано или поздно враги начнут обыскивать крепость, чтобы добить уцелевших, и тогда его неминуемо обнаружат и убьют...

Что же ему делать — жить или умереть?

Впрочем, не все ли равно? Над головой по-прежнему с воинственными криками прыгали или съезжали на землю вражеские воины.

Внезапно прямо перед щитом остановился какой-то важный самурай. Может быть, сам Мацудаира, а может быть, его помощник Тода... Судя поговору, он был не из местных. Кинсаку догадался, что самураю подали походное сиденье и что он присел. Послышалась оживленная речь.

Кинсаку вдруг стало скучно. Сто двадцать пять тысяч воинов напали на тридцать семь тысяч крестьян. Это показалось бессмыслицей, огромной, страшной нелепостью... В чем же тут доблесть?

Послышались шаги.

— Мой отец... отец пал в бою... — произнес звонкий молодой голос. — Мне неизвестен его убийца, но все равно это Сиро, Сиро и его негодяи... Я прошу вас...

— А, господин Сигэнори Итакура? Мстить за отца похвальбо! Садакиё Ивая говорил мне...

— Да, да...

— Как же нам поступить? Может быть, вы присоединитесь к войнам Хосокава?

— Слушаюсь!..

«А ведь это Собэй подстрелил Итакура, — прислушиваясь к разговору, подумал Кинсаку. Да, он помнит точно — пулю послал Собэй. — Будь я убийцей Итакура, молодой Сигэпори имел бы право убить меня...»

Вот к Мацудайра бегут гонцы. Рассказывают, как идет резня. Больше, конечно, о собственных подвигах. Некоторые даже очевидцев приводят и тут же просят записать рассказы о своей храбрости и воинской доблести.

Вскоре перед щитом все стихло. Мацудайра расположился неподалеку, на небольшом холмике. И тут Кинсаку заметил нечто, настолько его поразившее, что он так и прильнул глазами к своей щелке и весь обратился в зренье. Какой-то самурай тащил на веревке пленника со связанными руками, с головы до ног залитого кровью.

— Ну-ну! — Он потянулся к мушкету. Но овладел собой и стиснул руками колени.

Связанный пленник был Эмосаку Ямада. Кинсаку, разумеется, знал о его предательстве и о тайных сношениях с врагом. Но известие это не произвело на него особого впечатления. Его, скорее, даже удивляло, что предателем оказался один Эмосаку.

Эмосаку приближался. Самурая, тащившему его на веревке, то и дело приходилось останавливаться и объяснять, кого и зачем он ведет. Самурай с гордостью подробно рассказывал каждому, в чем дело. С Эмосаку все еще не спяли веревки, он шагал с трудом, шатаясь из стороны в сторону — вот-вот рухнет на землю. Мокрая от крови одежда облепила грудь, живот, ноги. «Наверное, валялся, связанный, среди трупов...» — подумал Кинсаку.

Они подошли еще ближе. Волосы, лоб, все лицо Эмосаку залито кровью... Рука Кинсаку снова потянулась к ружью. И снова оп усилием воли заставил себя положить ружье на прежнее место.

Кинсаку вовсе не считал Эмосаку предателем. Ему даже представлялся вполне закономерным поступок Эмосаку. Что из того, что Эмосаку осел в деревне Кутиноцу и числился земледельцем? Ведь в прошлом он был подданным князя Наодзуми Арима, художником; он-то хорошо разбирался во всех этих христианских премудростях. Вот

и не захотел, паверное, умирать вместе с мужиками. Ну, а мужики — им правилось не столько само христианство, сколько все эти диковишные обряды и службы. Только потом они стали настоящими христианами...

Эмосаку был уже совсем близко. Видит он что-нибудь или нет? Пожалуй, видит, потому что обходит ямы и перешагивает через препятствия...

В целой крепости, где ярость помутила все взоры — и восставших, и их противников — самураев, — один лишь Кипсаку холодно и спокойно, не отрывая глаз, следил сквозь щель между цитом и фашинной за Эмосаку.

«Значит, он жив... Все равно подохнет когда-нибудь поганой смертью... Рожка у него такая...» — думал Кипсаку.

Все эти важные господа, прибывшие из Эдо, князья, самураи и их слуги будут и впредь преследовать и убивать христиан, и род человеческий прекратится здесь, в Симабара и Амакуса, после этой великой смуты, но они бессильны заставить людей молчать. Предание об этой крестьянской битве будет передаваться из уст в уста, и об оставшемся в живых Эмосаку станут, пожалуй, говорить больше, чем о тех, чьим уделом стала погибель. И чем шире будет разноситься молва, тем мучительнее будет ему смотреть людям в глаза.

Эмосаку прошел совсем рядом, перешагнув через разрушенные остатки степы и очутился за пределами замка.

— Позорной смертью... Позорной смертью... — бормотал про себя Кипсаку, провожая его глазами.

Смерть повстанцев, павших от рук самураев здесь, в этой крепости, он не считал позорной.

В дыму пожаров, среди криков и стопов, незаметно нагнувшись сумерки. Над головой Кипсаку снова послышался голос. На этот раз говорили громко, крикливо, паперемой. Кипсаку прислушался — судя по выговору, ему показалось, что это уроженцы Киото.

Это и в самом деле были купцы из Киото и Осака. Стоя на парапете крепостной стены, они паблюдали за резней в крепости.

— Да, здорово!

— Подумать только, ведь мужичье, а на что замахнулись...

— Ну и дела!

В толпе купцов и проституток стоял и Скэбэй Дородо, переодетый купцом.

— Глядите, глядите, побежал!..

— Ого, с одного удара!..

— Молодец!.. — вскрикивали зрители. Некоторые самурай парочко просили купцов стать очевидцами их подвигов; вытащив походную тушечницу, они заставляли купцов поднимать письменные свидетельства. Скэбэй хмурился. По поручению Дзиндзабуро Мацудайра он вел сейчас тайный сыск — нужно было выяснить, кто из купцов, получивших подряды, наживался наиболее бесстыдно. Он невозмутимо прислушивался к беседе, падкие до подобного рода зрелищ купцы были ему неприятны. Он прожил в крепости вместе с повстанцами более десяти дней и теперь не мог быть простым очевидцем.

— Когда-то, в прошлом, я почитывал христианские книги... Но сейчас все это устарело и никому не может быть интересно... — услышал Скэбэй чей-то голос и невольно насторожился.

«Кто там болтает, будто христианские догматы больше никого не интересуют?! Нет, интересуют, слишком даже интересуют. Ведь вот что из-за них творится! Сколько гибнет женщин и детей!»

— Как, как вы сказали, — никого не интересуют? — переспросил плешивый купец из Осака.

— Вот именно. Ведь, в сущности, чему учит христианство? Христиане презирают наш мир, считают его порочным, грязным, несправедливым. Но как же можно отвергать всю нашу действительность? Мыслимо ли твердить, что в мире нет правды — это в наши-то дни, когда под властью мудрого правительства в Эдо страна процветает и благоденствует в мире! Не то что раньше, во времена смут и междоусобиц!

— Еще бы!

— Жить теперь — одно удовольствие!..

— Да и зарабатывать можно неплохо...

— Верно, верно. В наше время отречься от мира, утверждать, что мир устроен несправедливо — нет уж, увольте, — с такими взглядами нельзя согласиться!..

— Как же понимать эту смуту — как повальную хворь, внезапно охватившую мужиков?

Скэбэю Дородо стало совсем не по себе.

А Кинсаку подумал, что говорившие, пожалуй, правы...

— Ну, а как вы считаете, сколько же это составит, в конечном итоге?

— Что именно?..

— Что именно? Как бы вам пояснить... — Наблюдая за резней, продолжавшейся по всей территории крепости, купцы принялись толковать о ценах на веревки, рогажи, шпагат, о расценках на кузнечные, плотницкие и земляные работы, совещались, как лучше обойти Суэцугу Хэдзо, наместника города Нагасаки, который ведал подрядами. Некоторые заигрывали с жещчинами, шутили со страствующими актерами.

Чуть в стороне от Скэбэя стоял Гонноскэ Юи, тоже переодетый купцом. И внимательно прислушивался к беседе. Да, времена менялись...

Наступил вечер. Со стороны Лотосового пруда все еще неслись крики. Там орудовали, кажется, воины Арима. Во втором и третьем бастионах не было слышно ни звука. Неужели там никого не осталось? Может быть, они все отступили к Лотосовому пруду?

Итак, что ж ему делать?

Надо дождаться ночи, решил Кинсаку. Он попытается проникнуть в подземный ход, который каратели вели к крепости. Если ему удастся выбраться за пределы крепости... Пожалуй, надо попробовать: ну, а если его заметят — что ж, тогда смерть. Стрелять ему больше нечем, — значит, долг свой он выполнил до конца и теперь совсем свободен.

Вот только непонятно, почему до сих пор слышится громкая ружейная перестрелка и к тому же где-то за стенами крепости...

— Ого, никак, это схлестнулись войска Курода и Набэсима?

— Да, кажется, они! Между ними ведь давние нелады... Вот и представился случай наконец свести счеты... — допелось до Кинсаку.

Огонь, который вели по Главному бастиону воины Курода, ранил нескольких солдат Набэсима, теснившихся во втором бастионе. Те принялись палить по войскам Курода. Потеряв до трехсот человек убитыми, воины Курода в беспорядке бросились назад в свой боевой лагерь.

Наступила ночь.

Мацудайра отдал приказ прекратить сражение. В овлаченных бастионах развели сторожевые костры, выставили дозорных; остальные вернулись в свои боевые станы. Только воины Хосокава, проникшие в овлаченный огнем Главный бастион, вынуждены были остаться там на ночь.

С наступлением темноты заняли хижину в бастионе Амакуса, огонь перекинулся на основную рощу. И роща и хижина превратились в огромный погребальный костер.

— Кто здесь? — тихо оклякнул Киясаку. Голос глухо отдался под низкими сводами.

Оба мушкета по-прежнему были с ним, только от глиняных пуль все равно мало толку, да еще в такой тьме...

— А ты-то сам кто? — услышал он наконец шепот.

В темноте, скорчившись сидели Сайскэ — староста Кюхама, и Дзипкити из Ариэ.

— Я — Киясаку из Миэ... — тихо ответил Киясаку. И засмеялся.

С двадцать восьмого дня второй луны и до второго дня третьей луны в крепости раздавались вопли и крики. Затем кричать перестали, умирали молча. И все эти четыре дня Киясаку и двое других неподвижно сидели и слушали эти вопли. От них нельзя было ни убежать, ни укрыться... Поведает ли кто-нибудь людям об этих воплях? Этого не дано было знать Киясаку.

КОММЕНТАРИИ

Историческая проза в Японии имеет тысячелетнюю традицию: от летописных сводов синкретического характера, исторических жизнеописаний до исторических хроник и иллюстрированных «рыцарских» (самурайских) повестей для народного чтения. Их авторами были официальные историографы и «частные» лица, выдающиеся писатели и просто добросовестные очевидцы. Многие исторические сочинения становились фактами отечественной литературы: историческая проза была полноправным литературным жанром. Различие между историографией и художественной прозой понимала еще великая писательница Японии Мураками-сиккibu, которая в «Повести о Гэндзи» (начало XI в.) писала: «Повести (мопогатаря) описывают вам все, что случилось на свете... начиная с самого века богов. Японские исторические анналы... касаются только одной стороны вещей...» Для нее — повесть историчнее, достовернее хроники, ибо передает суть, сердечное движение истории¹. Это было сказано в эпоху, когда писание исторических сочинений было серьезнейшим, государственной важности, делом. Японская литература в этом отношении ничем не отличалась от других литератур. Историческая проза служила интересам господствующих группировок или оппозиции. Так, в 60-х годах XVII века по воле одного из могущественных князей начала составляться 243-томная «История Великой Японии» (Дайппхонгэ), целью которой должно было стать доказательство исконного права японских императоров на реальную власть в стране; двенадцать военных диктаторов — сёгунов (см. предисловие) представлялись в ней узурпаторами божественной императорской власти. Не впадая в излишнюю модернизацию, можно сказать, что основательница классического японского романа Мураками-сиккibu десять столетий назад,

¹ См. Н. И. Копрод, Японская литература в образцах и очерках, Ленинград, 1927, стр. 222—223.

то есть тогда, когда было еще очень далеко до разделения науки истории и исторической прозы, «сформулировала» проблему соотношения истории и литературы.

Современная историческая проза возникла в Японии в конце прошлого века. (Тогда же или несколько ранее японцы познакомились в переводах с европейским историческим романом: в произведениях Вальтера Скотта, Дюма, Мериме, с «Капитанской дочкой» Пушкина. Однако дело не только во влиянии исторического романа, дело во влиянии европейской прозы вообще, техники европейского романа, коллоидий европейской исторической науки.)

Япония после незавершенной буржуазной революции 1867 года вступила на путь капиталистического развития. Уходила в прошлое феодальная старина. Интенсивное развитие, освоение Японией всего самого передового в экономике, естественных науках, стремительный рост промышленности, современной армии, империалистический захват чужих территорий — все это произошло на глазах первых поколений японских писателей за какие-нибудь тридцать—сорок лет конца XIX — начала XX века. Вместе с несомненными и абсолютными ценностями европейской культуры в страну пришли и сомнительные блага капиталистического гражданского «процветания». Рушился ископный уклад жизни. Куда идет страна? Какова судьба ее культуры, в которой столь причудливым и подчас болезненным образом перемешивается европейское и японское? Благо ли это для народа (ведь феодальные отношения в деревне в ходе революции 1867 года не были уничтожены, Япония оставалась монархией)? Отсюда новый интерес японской литературы к истории страны.

У истоков современной исторической прозы в Японии стоял выдающийся писатель Мори Огай (1866—1922). Историческая проза занимает значительную часть его литературного наследия. В основном исторические произведения Огай посвящены событиям двух последних столетий, предшествовавшим революции 1867 года. (Сюжет его повести «Куряма Дайдзэн» лег в основу одного из эпизодов романа Хотта «Из глубины бушующего моря».) Интерес Мори Огай именно к этой эпохе японской истории стал для японской исторической прозы традиционным. Немало произведений Огай посвящено военному дворянству Японии — самураям, жившим по законам знаменитого кодекса бусидо. Как теоретик исторического романа, Огай провозгласил два принципа подхода к истории в художественной литературе, и в своей деятельности исторического романиста воплотил оба; он создал исторические произведения, «отходящие от истории» и дававшие «историю как она есть». Лучшие произведения Огай в жанре исторической про-

зы до сих пор сохраняли высокое художественное значение независимо от этих принципов. Однако утомляемые принципы не были абстрактным домыслом. Еще при жизни Огай великий японский новеллист Акутагава (1892—1927) начал публиковать свои исторические рассказы (по терминологии Огай, — «отходящие от истории»). Именно Акутагава, хотя он и не ставил себе подобной цели, с потрясающей силой воссоздал живое трагическое прошлое японского народа. Акутагава и его школа обратились к прошлому в поисках драматической ситуации, мощного характера, стремясь освободить литературу от мертвечины натурализма. Исторические рассказы Акутагава не были бегством от действительности, они были проявлением скепсиса по отношению к ней, спором с ней. Акутагава любит показывать отвратительную или смешную изнанку широкоизвестных исторических событий, «благородных» поступков или «святых» деяний. Рассказы его, посвященные японским христианам, написаны с такой удивительной теплотой по отношению к японскому народу, что навсегда стали как бы камертоном подлинной исторической прозы в Японии. Глубокий знаток фольклора, старинного народного рассказа, Акутагава впервые по-настоящему раскрыл их значение для литературы как живительного источника искусства. (Интересно, что Акутагава принадлежит рассказ-миниатюра «Японская богородица», героиней которой — Эмосаку Ямада, один из главных действующих лиц романа Хотта.)

Многие крупнейшие писатели Японии отдали дань жанру исторического романа. Последним произведением Свмадакв Тессоа, одного из основателей новой японской литературы, был роман «Перед рассветом», на примере одной человеческой судьбы показывающий, в каких муках рождалась новая Япония конца XIX — начала XX века.

С наступлением фашизма в Японии некоторые писатели вынужденно обращались к исторической теме: честно писать о современности становилось невозможно. (В это же время создавались и казенно-патристические «исторические» романы).

Таким образом, обращение к теме, и сама тема, и некоторые черты подхода к ней в романе Эсиэ Хотта традиционны для японской литературы. И все же роман Хотта следует рассматривать в контексте именно послевоенной литературы. Эсиэ Хотта в начале своего творческого пути принадлежал к так называемой «послевоенной группе» (санго-ха). Входили в нее многие известные ныне писатели. Они были людьми разной одаренности, разной подчас творческой манеры, но объединяло их одно — «комплекс вины», они выражали в своих книгах стремление японской интеллигенции понять причины национальной трагедии, постигшей

Японию во второй мировой войне. Они создали правдивые, жестокие книги. Степень вины — это не просто слова. Писатели, сами участники войны, хотели понять и стонать своей собственной вины. Хотта вспоминал, что он был переведен из резервистов в действующую армию, но заболел и не попал тогда в ту роту, которая впоследствии целиком погибла на острове Сайпан — то есть он не разделил общей участи солдат. Так становятся попятными некоторые черты образа художника Эмосаку Ямада, некоторые его высказывания. В том-то и дело, что Хотта написал свой роман по из любви к старине, а делая попытку, на этот раз с помощью книги о прошлом, осознать настоящее. Народ, выступающий за свои права, не безликая масса, не забитые мужики, а смелые борцы — таковы герои романа. Интеллигенция и народ. Судьбы искусства. Искусство европейское и искусство японское. Правительство и народ. Армия и парод. Разве эти проблемы не актуальны для Японии сегодня?! Хотта остался верен духу и букве истории, он не погрешил против исторической правды. Тем убедительней большой и не случайный успех романа на его родине. Он печатался в популярном еженедельнике «Сюкан Асахи» и вышел отдельным изданием в 1961 году. На страницах журнала, предвзяв публикацию очередной группы глав книги, Хотта писал: «Не боясь ошибиться, я могу кратко сказать, что ценность жанра исторического романа состоит в том, что суть, природа исторических событий и сегодняшнего дня спорят между собой, противоречат друг другу, соревнуются, быть может, даже борются между собой».

Стр. 26. *Ронин*. — До начала XIV века так называли беглых крестьян. С XIV—XV веков ронин — самурай, потерявший своего сюзерена и лишившийся поэтому земельного надела или жалования рисом. Особенно много ронинов появилось в эпоху «воюющих княжеств» (1490—1600) и в годы Объединительных войн (см. предисловие), когда феодальные дома гибли так же быстро, как и возникали. В обстановке жестких сословных регламентаций самурай, теряя своего господина, как бы выламывался из социальной системы; не знаящие подчас никакого иного ремесла, кроме военного, они оказывались не у дел. Правда, судьбы их складывались по-разному. Одни пополняли ряды третьего сословия или становились учителями, врачами, учеными и т. д., другие, как это показано в романе Хотта, оседали на земле, превращаясь в крестьян, и тогда их называли «мужики-самурай» или в переводе романа — бывшие самурай. Как правило, ронины находились в оппозиции к властям и нередко оказывались по главе крестьянских выступлений.

Стр. 27. *Ни единого иероглифа, ни единой японской буквы...*— В японской письменности наряду с иероглифами, заимствованными из Китая, существует и фонетическая азбука.

Стр. 30. *Он старательно изучал манеру далеких заморских живописцев.*— На родине Эмосаку Ямада, в Кутшоцу, инспектор мезитских миссий на Востоке Алессандро Валиньяно открыл семинарию, в которой самураи изучали языки, европейское искусство, науки, ремесла и т. д.

Стр. 33. *Харунобу Арима (1567—1612)* — один из последних христианских князей Японии.

Стр. 34. *...прибавив против прежнего тринадцать тысяч коку риса.*— По земельной переписи, проведенной еще Хидэеси (см. комм. к стр. 313), размер владения определялся не его площадью, а количеством собираемого с него риса.

Стр. 35. *...призовет войско князя Симадаэу из Сацума...*— Клан Симадаэу — один из самых могущественных феодальных кланов Японии, с которым считался сам Иэясу; владел обширными землями на о. Кюсю. Первым вступил в сношения с европейцами, организовал у себя производство огнестрельного оружия.

Стр. 36. *Осацкие кампании.*— Зимняя — 1614 года и летняя — 1615 года военные кампании Токугава Иэясу, во время которых был разгромлен последний оплот сторонников Хидэеси — замок Осака (см. предисловие).

Стр. 39. *Кониси Юкинага Аугустино* (ум. в 1600 г.) и *Като Киёмаса* (1562—1611) — знаменитые полководцы, сподвижники Хидэеси, участники похода в Корею; Като Киёмаса был, кроме того, крупным фортификатором и архитектором, по его плану был построен знаменитый замок Нагоя.

Стр. 54. *Я бежал из монастыря Коясан.*— Монастырь Коясан, центр одной из крупнейших японских буддийских сект Сингон, расположен на горе Коясан близ Киото.

...например, Икко или Хокэ... — Икко и Хокэ (более известная под названием Итирэп — секта «солнечного лотоса») — крупные и влиятельные буддийские секты. Со времени проникновения буддизма (через Корею и Китай) в Японию возникло немало различных буддийских сект. В романе упоминаются еще такие крупные секты, как Дзэн и Дзёдо. Секты играли важную роль в политической жизни страны. Их монастыри обладали огромными земельными владениями и вооруженной силой. Порой буддийских монахов было трудно отличить от разбойников. С другой стороны, буддисты всегда и весьма умело приспосабливались к местным условиям. Буддийская проповедь уживалась и с исконной японской религией — синто, и с конфуцианством. Буддийское духовенство

использовало и недовольство крестьян властями. Нередко крестьянские выступления проходили под буддийскими лозунгами. В годы Объединительных войн секты представляли серьезную силу, противостоявшую объединению страны. Последнее явилось одной из причин допуска в Японию католических миссионеров.

Стр. 61. *«И малая искра может зажечь равнину...»* — слова из китайской летописи «Цаочжуань».

Стр. 62. *...ибо истонным японским верованиям...* — Имеется в виду синтоизм — традиционная религия японцев, в основе которой лежит культ предков.

Стр. 64. *Хакама* — широкие шаровары, сложенные у пояса складками.

Ямато Такару — имя легендарного основателя японского государства императора Дзимму.

Стр. 66 *...я парайсо, где цветут священные лотосы.* — Пример перенесения христианских и буддийских мотивов в сознании повозрастных крестьян. Лотос, воплощение высшей чистоты — один из важнейших элементов буддийской символики.

Есицуно и Ванкэй — любимые герои феодального эпоса. Воин Минамото Есицуно (1159—1189), будучи юношей, победил в бою монаха-разбойника Мусашибо Ванкэй, который стал после этого его верным вассалом.

...хризантемами и свастиками... — Хризантемы и свастики — популярные мотивы японского орнамента.

Стр. 68. *Как тебе известно, эта книга...* — Имеется в виду сочинение августинского монаха Фомы Кемнийского (1180—1271) «О подражании Христу» (*De Imitatione Christi*), написанное в первой четверти XV века и весьма популярное в средневековой Европе. Было переведено на японский язык и напечатано на латинице в Амакуса в 1596 году. Известно в Японии также под названием «Презрению к суете» (*Contemptu mundi*).

Стр. 75. *Но тут с легкой руки господина Тайко пошла «охота за мечами».* — Тайко — «отец кампаку» (кампаку — главный советник при императоре), титул, принятый Хидэёси в 1591 году, после того как он передал звание кампаку своему сыну. «Охота за мечами» (катапа-гари) — взятие оружия у крестьян, проведенное по указу Хидэёси.

Стр. 85. *Асигару* — здесь: воины, принадлежавшие к низшему самурайскому рангу.

Стр. 89. *...четырнадцатого года Канъэй* — то есть 1637 год.

Стр. 90. *Го* — игра, напоминающая шахи.

Стр. 92. *Кукебеккер Николас* — в 1633—1639 годах глава голландской фактории в Хирадо.

Хирадо — остров близ Кью и город того же названия. Голландская фактория на Хирадо была основана в 1609 году.

Стр. 96. *Миллого Мусаи* (1584—1645) — известный фехтовальщик своего времени, основатель боя двумя мечами; был и одаренным живописцем, работавшим под псевдонимом Итэн.

Стр. 101. *Присутствовали на нем глава Государственного совета Сакаи и члены Совета Абэ, Ни, Дои, Мацудайра.*— Государственный совет (родзю) — высший государственный орган при сёгунах Токугава. Состоял из четырех-пяти членов, находившихся в должности помесячно. В Совет входили крупнейшие князья, связанные с сёгуном родственными узам (например, Мацудайра) или бывшие вассалами Токугава еще до его прихода к власти и возвысившиеся благодаря им.

Стр. 102. *Хосина Масаяюки* (1609—1672) — князь, крупный государственный деятель. Был сыном сёгуна Иэада, братом Иэмцу, который перед смертью назначил его опекуном своего сына Иэцуна.

Стр. 105. *Послать надо было кого-нибудь из «Трех семейств».*— «Три семейства» (сапкэ) — боковые ветви дома Токугава (Овари, Ки и Мито), потомки трех сыновей Иэясу.

Господин, соблаговолите припомнить восстание буддистов Икко.— Секта Икко была весьма популярна среди низших слоев населения (см. комм. к стр. 54), ибо проповедовала доступность «спасения» для всех — достаточно только все время повторять имя Будды.

Стр. 128. *Комусо* — бродячие монахи, игравшие на флейте; принадлежали секте Фука, одному из ответвлений могущественной секты Дзэн. Носили глубокие соломенные шляпы — амгаса, скрывающие лицо, и пикто не имел права снять с них эту шляпу. Были весьма воинственны, из их рядов вербовались сыщики, лазутчики, соглядатаи.

Стр. 130. *«Дом мой домом молитвы наречется»* — слова пророка Исайи (Библия, Исайя, гл. 56, 7), приведенные Христом при изгнании торговцев из храма (Евангелие от Матфея, гл. 21, 13).

Клавичембало — итальянское название клавикордов.

Стр. 131. *Укита Хидэиэ* (1573—1655) — один из ближайших сподвижников Хидэеси. Был сослан Иэясу на отдаленный остров Хатидэй.

Ига — провинция на центральном Хонсю.

Стр. 132. *Санъиндо* — название группы провинций на юге о. Хонсю (по старому административному делению).

Стр. 137. *«Не отнимай у человека его стремлений».*— Луньей, глава Цзы-хавь, 25 (См.— Изречения Конфуция, учеников его и дру-

гих лиц. Перевод с китайского с примечаниями П. С. Попова, СПб. 1914).

Стр. 139. Книга *«Рассказы, подслушанные в Удзи»*.— («Удзюмонмогатари») создана в первой половине XII века, приписывается Минамото Такакуни. История о художнице Бесихидэ приведена в третьем свитке книги; сюжет ее был использован Анутагава в повелле «Муки ада».

Стр. 143. *А не вы ли это корабли посылали в заморские страны — Лусон покорять?* — Лусон — один из главных островов Филиппинского архипелага. В XVI—XVII веках японские купцы и пираты совершали дальние морские переходы с торговыми и колонизаторскими целями.

Стр. 167. *Южными варварами* в Японии называли европейцев (см. комм. к стр. 298).

Стр. 192. *Санъёдо* — название группы провинций на юго-западе о. Хонсю.

Стр. 196. *Я же не вечно пребуду с вами.*— Здесь Гэпъэмон Оэ пересказывает главу 26 Евангелия от Матфея (6—12). В Евангелии от Иоанна названо имя ученика, осудившего жонщицу, — Иуда.

Стр. 201. *Наму* — санскритское «ом» — слово торжественного обращения или благословения; употреблялось в начале буддийских молитв.

Стр. 202. *Да, никак, он топчет пшеницу!* — Крестьяне южных районов Японии приминают всходы посеянной осенью пшеницы для защиты злаков от холодов.

Стр. 203. *...им жаловали фамилию...*— В средние века крестьяне не имели фамилий. Если крестьянин отличался в бою, он мог получить меч и фамилию, то есть стать самураем.

...в непрерывных боях *«воюющих княжеств»*— см. комм. к стр. 26.

Стр. 211. *В 1600 году к побережью Бунога случайно пришло голландский корабль «Лифд».*— Боясь торгового и политического соперничества голландцев, португальские иезуиты донесли властям, что это прибыл пиратский корабль. Иезуит конфисковал «Лифд», а корабельные пушки использовал в битве при Сакпгахара.

Стр. 212. *«Закрытие страны»* (сакоку) — см. предисловие.

Стр. 213. *Новый год* в Японии — дата переходящая, празднуется в конце января — начале февраля.

Стр. 216. *Сёги* — игра, напоминающая шахматы.

Стр. 217. *...на того ангела, который спустился с небес к Христу на Масличной горе.*— В ночь перед предательством Иуды Христос гулял с учениками на Масличной (Елеонской) горе. Отойдя от учеников, Христос пал лицом на траву и стал молиться, чтобы

его миновала чаша страдания (моление о чаше). Тогда с небес спустился ангел и укрепил его дух (Евангелие от Луки, гл. 22, 41—43).

Стр. 218. *Тэнгу* (дословно: небесная собака) — японский леший, но поверью, у него длинный нос и птичья когти.

Стр. 222. *...и во всякую нечисть, вроде лисиц...* — Согласно японским поверьям, лисица может принимать различные образы и морочить людей.

Стр. 224. *«Да пребудет сутра Лотоса благого закона»* — начальные слова молитвы буддийской секты Нитирэн (см. комм. к стр. 54). Сутра Лотоса (Хокэкё, или, по-санскритски, Саддхарманашундарика-сутра) — одна из популярнейших священных книг буддизма.

Стр. 230. *Секта Дэвдо* — см. комм. к стр. 54.

Стр. 246. *«Завтра с седьмым ударом колокола...»* — то есть в четыре часа утра.

Стр. 247. *...по законам учения Иньян...* — Иньян — древнейшая космогоническая система китайцев. Учение о двух противоположных силах Инь и Ян, мужского и женского начала, воздействием которых объяснялись изменения в природе: свет и тьма, день и ночь, солнце и луна, положительное и отрицательное и т. д.

Стр. 256. *Каппа* — японский водяной, популярный персонаж японского фольклора.

...его еще обвинили во вятчочничестве... — Ияэсу узнал, что Харунобу Арима дал взятку одному из должностных лиц, чтобы получить обратно в свое владение крепость Исахая; Харунобу был сослан на северо-восток Хопсю, в провинцию Каи, а земли его были переданы его сыну, Наодазуми.

Стр. 261. *«Я приму эту муку так, словно уже покинут господом нашим».* — Ни в одном из четырех Евангелий этой фразы нет.

Стр. 283. *...ронины доставили ему немало хлопот.* — В 1651 году, воспользовавшись смертью сёгуна Иэмицу, ронины устроили заговор, одним из вождей заговора стал Юн Сёсэцу, содержавший в Эдо школу воинского искусства.

Стр. 290. *Сётоку Тайси* (574—622) — крупнейший государственный деятель Японии, способствовал распространению буддизма в стране.

Секта Фуко, секта Дзэн — см. комм. к стр. 54.

Стр. 292. *Догэн* (1200—1253) — основатель буддийской секты Со-то, одного из ответвлений секты Дзэн.

Синран (1173—1262) — основатель секты Икко.

Стр. 298. *Первым, нарушив запрет, к берегам Сацума подошел португальский корабль.* — Первыми европейцами в Японии были

португальцы. Они появились там между 1543 и 1545 годами. По одной версии, это были португальские моряки во главе с Антониу ди Мота, вследствие бури оказавшиеся у берегов южного Кюсю, по другой — это был Мендеш Пинту. В 1549 году в Японию прибыл Франсиск Ксавье, один из деятельнейших членов ордена Иисуса, за свои заслуги получивший от римского папы титул «Апостол Южной Индии». С ним прибыли в три крещеных японца.

Мацумаэ — старинное название о. Хоккайдо.

Сёгуны Асикага правили Японией с 1338 по 1573 год.

Стр. 311. *Что означает слово «восстание»?* — Рассуждения Тёмона о происхождении слова «восстание» (икки) строятся на том, что первый из иероглифов, составляющих это слово, означает «один», а второй — «зумысел», «намерение».

...подняла рогожные знамена. — Во время восстаний крестьяне поднимали знамена, сплетенные из рисовой соломы.

Тому назад лет полтораста мужики Ямасиро подняли восстание. — Восстание в Ямасиро началось в 1485 году (см. предисловие).

Стр. 313. *Бесконечно обмеряли поля...* — Имеется в виду земельный кадастр, осуществленный Хидэйси; крестьяне были прикреплены к своим наделам, был введен очень высокий налог и т. д. (см. комм. к стр. 34).

Стр. 332. *Хаори* — короткое верхнее кимоно, род накидки с гербами. Хаори вместе с хакама (см. комм. к стр. 64) составляли парадный костюм самурая.

Стр. 339. *Плоды мукуродаи* (*Sapindus mukorosi*) — мыльная ягода.

Хагоита — игра, напоминающая волап.

Стр. 343. Гэцзэмоп Оэ имеет в виду следующее изречение Христа: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна, гл. 12, 24).

В. С а н о в и ч